

Николай ПОЛОТНЯНКО

# СИМБИРИАДА

Трилогия<sup>1</sup>

Книга первая

## ГОСУДАРЬ НАМЕСТНИК

*Исторический роман*

Глава первая

– 1 –

Ночь была морозной и безветренной, сияла полная луна, окрашивая в бледно-фиолетовый цвет глубокие снега, по которым, ступая след в след, двигались две молчаливые тени. Это были волк и волчица, совершавшие еженощный обход своих владений в поисках добычи. В последнее время им не везло. Неудача постигла их и сегодня: сохатый, которого они захватили врасплох на ночной лёжке в редком осиннике, оказался молодым и полным сил, он, как пружина, вскочил на ноги и кинулся прочь. Волк бросился за ним следом, но сплосовал, бык удачно лягнул его тяжёлым копытом, и он кубарем отлетел в сторону, крепко ударившись при этом о дерево. Волчица было пошла за сохатым, но вскоре вернулась. Она приблизилась к волку, лизнула его в шею, и они продолжили свой неторопливый бег.

Оба зверя были в матёром возрасте и наизусть знали свои владения. С тех пор как их родители показали им тропу, которую они обегали каждую ночь, вокруг ничего не менялось. Но в прошлую весну волки со страхом обнаружили, что на берегу реки в несколько дней появились толпы людей, множество лошадей и телег. И это место сразу стало для них опасным и запретным. Люди принялись валить лес, стучать топорами, копать глубокий и длинный ров, который потянулся от их становища по обе стороны. Ров был так широк и глубок, что звери не могли преодолеть его прыжком, и препятствие приходилось оббегать, с каждым днём все дальше и дальше. На самом становище люди тоже работали, вырыли вокруг него ров, из вынутой земли взгромодили высокий и крутой вал, а наверху его устроили стену из толстых поставленных впритык друг к другу сосновых бревен.

Поздней осенью работы на рву прекратились, большая часть людей уехала, остались лишь те, кто жил за стеной в больших избах, из которых по временам шел дым, пахнувший лесным пожаром. Но волки — чуткие звери, кроме дровяного дыма они чувствовали и другие дразнящие запахи, которые им говорили, что там, за частоколом, есть добыча. Это возбуждало волков, они каждый день взбегали на высокий бугор над рекой и оттуда вглядывались и внюхивались в манящее их людское жильё.

Волки не изменили своей привычке и в этот предутренний час. Они вбежали на бугор и погрузились в волну долетающих до них запахов, из которых один заставил

<sup>1</sup>Под общим названием «Симбириада» «Невский проспект» начинается публикацию высокохудожественной историческо-эпической трилогии Николая Полотнянко из трех книг: «Государь наместник» (№11 НП) + «Атаман всея гулевой Руси» (№12 НП) + «Клад Емельяна Пугачева» (№13 НП).

судорожно сжаться пустые волчьи утробы. Это был тёплый овечий дух, он шёл из бревенчатой избы, что стояла сразу за крепостной стеной. Волки переглянулись и побежали с бугра вниз к реке.

Оставляя за собой полосу взрыхленного снега, они преодолели реку, выбрались на берег перед земляным валом. Волк остался внизу, а волчица пошла вперёд одна, в охоте на добычу она была сноровистей и ловчей своего напарника. Волчица, проскальзывая лапами, взобралась на вал и медленно побежала вдоль него, отыскивая проход. Брёвна стены были плотно подогнаны друг к другу, и щель отыскалась только в закрытых воротах, довольно узкая, но достаточная для того, чтобы зверь просунулся через нее, не встревожив дремавшего в своей будке сторожа-воротника.

В несколько прыжков волчица достигла приземистой овчарни. Запах близкой добычи привел зверя в исступление, где-то взбрыхнул пес, но волчица не обратила на него внимания, она запрыгнула на крышу и стала медленно проваливаться вниз между жердей, на которые была уложена солома.

В овчарне было полтора десятка овец, которые, прижавшись, друг к другу, лежали на соломенной подстилке, посапывая и вздыхая. Волчица упала на них и стала неистово рвать клыками всё подряд, что попадалось ей на пути, пока что-то острое и горячее не пронзило её насквозь. Это были двухрожковые вилы, которые держал в руках щуплый человек и яростно ругался. Калмык Урча, взятый казачьим разъездом в полон, был приставлен к овцам и жил вместе с ними в овчарне.

Волк раньше всех понял, что случилось, он повернулся, перебежал через реку, и достигнув бугра, хрипло и тоскливо завыл.

Продолжая ругаться, Урча выволок зверя за хвост на снег, и тут, наконец, вполошились крепостные собаки, здоровенные мордастые псы московской сторожевой породы, и начали бухать гулким лаем на всю округу. К Урче подбежали воротник и караульный стрелец.

— Что, нехристь, людей полошишь? — увидели волчицу, удивились. — Чем ты её?

Калмык молча указал на вилы и повёл караульчиков за собой в овчарню.

— Годи! Огонь принесу! — крикнул воротник и через несколько времени вернулся с горящим смольем. Они вошли в овчарню, четыре ярки были зарезаны, остальные жалась в угол.

Подошли ещё несколько стрельцов, обступили волчицу.

— Матёрая бирючиха! Кто её завалил?

— Урча. Она ему на башку свалилась сквозь крышу.

— Клыки-то! Такая может руку напрочь откусить.

— Повезло Урче, да и нам, ребята, повезло — будет у нас на обед каша с бараниной.

Воеводскую избу построили наспех из непросушенных брёвен, и она промёрзла, стены курчавились инеем, от пола несло холодом. Морока была с печью, мужики, приписанные к войску, устройство белых печей не знали, хотели сложить такую же, как и в своих курных избах, но воевода Хитрово запретил. Велел кликнуть среди стрельцов и казаков, знающих печное ремесло, и нашёлся один умелец, правда, не ахти какой, сам всего один раз печь с дымоходом клал под присмотром мастера.

— Начинай, стрелец! — решил воевода. — Не глотать же всю зиму дым в избе.

Стрелец сладил печь, не до кирпичей, а из речной глины. Мял и бил её до плотности мягкого дерева, укладывал за слоем слой в промежутки между двумя постановленными один в другой дощатыми коробами, умудрился трубу вывести наружу, и ничего получилось. Наложили в печь дрова, поднесли огонь, и загудело пламя, заприплясывало. Богдан Матвеевич дал стрельцу полтину, тот деньги взял, но не уходил, смотрел на воеводу тоскующим взглядом, внушая ему своё, заветное. Воевода понял, чего хочет стрелец, рассмеялся и ткнул его несильно кулаком в бороду.

— Ступай! Подойдешь на Рождество за лишней чаркой, а сейчас иди!

Печь, хотя и не дымила, но оказалась страсть как прожорливой. Стрелец, дежуривший в воеводской избе, подкладывал в неё дрова весь день, но к утру она выстывала и была холодной, как льдина. Устроивший возле неё свое ложе Богдан Матвеевич знал это лучше всех, к утру холод от печи проникал через овчину, которой он укрывался на ночь, и заставлял сначала ворочаться, а потом просыпаться и открывать глаза.

В комнате воеводы, которую для него выгородили досками в избе, было сумрачно. Лампадка на киоте едва всплескивала жёлтыми каплями огня, открывая взгляду голые бревенчатые стены и белое пятно покрытого изморозью небольшого оконца. Хитрово поёжился, представив, как холодно в избе, откинул овчину, беличье одеяло, поднялся и сунул голые ноги в мягкие с короткими голяшками валенки. Богдан Матвеевич был искренне верующим человеком и всякий день начинал с утренней молитвы:

— К тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав, — проговаривал он негромко, — прибегаю и на дела Твои подвигаюся милосердием Твоим, молюся тебе: помози мне

на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диявольского поспешения и спаси мя, и введи в царство Твоё вечное...

К воеводе вошёл с деревянной лоханью в руках для умывания его денщик, молодой парень Васятка. Он был дворовым холопом из калужской деревни Богдана Матвеевича и приближен им за весёлый нрав и сметливость.

Хитрово снял с себя спальную рубаху, умылся холодной водой и стал спешно одеваться. Хотя печь затопили, было зябко, и молодое сильное тело воеводы покрылось пупырышками. Он спешно надел шёлковые, затем суконные штаны, рубашку, зипун, натянул на ноги шерстяные, подбитые мехом чулки и высокие до колен сапоги. Васятка подал ему кафтан.

— Что нового? — спросил воевода.

— Урча волчицу вилами заporол. Она на него через крышу свалилась. Четырёх овец зарезала.

Хитрово недовольно поморщился. На зиму во вновь возведённой крепости осталось совсем мало скотины, ратным людям приходилось налегать на репу, капусту и овёс, мясное в котёл попадало по великим праздникам.

За перегородкой закрипели половицы, это проснулся дьяк Григорий Кунаков, имевший привычку весь день находиться на ногах, он и свою основную работу — письмо делал, стоя за конторкой, укреплённой в стену избы.

— Григорий Петрович, — сказал Хитрово, выходя из своей комнаты, — зарезанных овец определи под строгий караул.

— Уже распорядился, Богдан Матвеевич. Как почивал?

Кунаков был старым, по тогдашним понятиям, человеком, ему перевалило за пятьдесят лет, из которых около сорока он провел на государевой службе и не в тёплых и хлебных для мздоимцев московских приказах, а в полках на засечной черте, в государевых посылках в Литву и на Украину.

— Студёно, — Хитрово выдохнул клуб пара. — Распорядись, чтобы и ночью топили.

— Так пробовали. От этих истопников только шум да бряк, глаза не сомкнём.

— Как знаешь. Я в Москву отправляюсь, тебе всем распорядиться.

В избу окутанный клубами пара вошёл стрелец с большой вязанкой дров, бухнул их с плеча на пол, открыл печную заслонку.

— Тише ты, чёрт! — рявкнул на него дьяк, — стрелец недобро на него глянул, но смолчал. — Я тебе отписки для приказов приготовил, — сказал Кунаков, подходя к железному сундуку, где хранилась полковая казна и самые важные бумаги. — В Разрядный, Казанского дворца, готовы и росписи всего потребного для обустройства черты, — дьяк затейным ключом открыл замок немецкой работы, распахнул сундук, достал несколько свернутых в трубку грамот. — Вычти, Богдан Матвеевич, может, я что упустил.

— Вроде все было обговорено, хотя вычту, по прежней службе знаю, что государь может потребовать к себе отписку, если сочтёт нужным.

В избу вошел Васятка с корзиной, покрытой белым полотенцем, принёс из повара завтрак для воеводы и дьяка.

— Опять тёртый горох? — спросил Кунаков.

— Он самый, — ответил парень, выставляя на стол судок с кашей, несколько кусков вяленой сомятины и большой ржаной калач.

— Задушил ты меня, Васятка, горохом, — недовольно пробурчал дьяк. — Хотя бы стопку вина налил, горло смочить.

— Вино же под твоим доглядом, Григорий Петрович, — засмеялся Васятка. — Давай ключ от анбара, я мигом слетаю.

Воевода и дьяк были трезвенниками, хотя стали ими каждый по-своему. Хитрово сызмала понял пагубу винопития, а Кунаков своё отпил, и нутро не воспринимало хмельного.

— Ешьте горох, пока горячий, — сказал Васятка. — Казаки и стрельцы толокно трескают.

— А ты успел потрескаться?

— Я овсяную мучицу уважаю, особенно с маслом.

Служба стольником в ближнем к царю окружении не разбаловала Хитрово. Став полковым воеводой на границе с Диким полем, он легко перешёл к новому образу жизни, научился спать где придется, есть, что подадут с общей повара, и тем отличался от многих воевод, которые таскали за собой в походах многочисленную челядь и целый обоз с собственной, из вотчины, провизией. Такой простой образ жизни укреплял положение воеводы в мнении стрельцов и казаков.

После завтрака он ушёл к себе вычитывать отписки в приказы. Карсунско-Синбирской засечной черте, к возведению которой Хитрово приступил прошлой весной,

требовалось многое, в первую очередь работные люди. Население в Казанском уезде было малочисленным, ниже Тетюшей до Самары, кроме Усолья, не было ни одного поселения. После набега Железного Хромца, Тамерлана, опустошившего всё Поволжье, мордва и чувашки бежали за Суру, и эти ничейные земли предстояло обустроить и населять. Московскому государству стало тесно в своих пределах, пустых земель в коренной Руси не осталось, а нужно было служилым людям представлять поместные оклады, чтобы было кому служить в дворянском ополчении, составлявшем основную военную силу русского государства.

В прошлом году приведенных с собой людишек Богдану Матвеевичу едва достало на то, чтобы построить крепостицу Карсун и наметить другие острожки в направлении к Волге. И правильно писал дьяк Кунаков в приказ Казанского дворца, требуя людей, весна не за горами, нужно было продолжить строительство засечной черты и, главное, основать город на Синбирской горе. Решение о его строительстве было принято ещё в прошлом году, когда бояре приговорили, а государь Алексей Михайлович повелел: граду Синбирску быть!

Но не только дела засечной черты призывали Хитрово в Москву, а ещё очень важное личное дело, касающееся прорухи собственной чести. Государь пожаловал ему за керенскую, темниковскую и карсунскую службу давно заслуженный им чин окольного. Но это для всех ясное решение осложнялось действиями стольника Дубровского, который подал царю челобитную, что Хитрово дан чин не по месту, то есть с нарушением его, Дубровского, права быть в служебном производстве впереди Хитрово. Нерешительный Алексей Михайлович засомневался и приказал начать расследование. Родственники Дубровского грудью встали на его защиту, родственники Богдана Матвеевича встали на его сторону. Дело приобрело характер местнического скандала.

Хитрово получил неприятное для себя известие от своего родственника окольного Фёдора Ртищева и был сильно уязвлен выходкой Дубровского, которого почти не знал. Ртищев вместе с этой грамоткой прислал и разрешение от государя отбыть Хитрово на время в Москву, оставив за себя на карсунских делах дьяка Кунакова и товарища воеводы Бориса Приклонского.

Мысль о местническом деле привела воеводу в смутное беспокойство, и он вышел из своей комнаты с мрачным и задумчивым видом.

— Что-то не так, Богдан Матвеевич? — спросил Кунаков, по-своему поняв настроение воеводы.

— Всё так. Отписки составлены правильно, только будут ли люди к тому часу, когда мы на Синбирскую гору двинемся?

— Всё может быть. Государь укажет нижегородскому воеводе Долгорукому послать людей, а князь такой увалень, пока раскачается, пока турнет приставов людишек собирать по уезду, может, к морковкиному заговенью и поспеет.

— Ладно. Пойду пройдуся, надо напоследок на всё глянуть. Васятка, шубу!

Парень мигом накинул на плечи воеводе лисью шубу, покрытую тёмно-вишневым сукном, подал шапку и рукавицы.

Шагнув из полутёмной душной избы на крыльцо, Хитрово зажмурился от ослепившего его на миг яркого солнца. Жадно вдохнул свежий морозный воздух, прищурившись, посмотрел вокруг. Десятка полтора стрельцов широкими деревянными лопатами грузили пласты снега в большие кораба и волоком тащили их за ворота крепости. На башнях атемарские плотники стучали топорами, доделывая верхние венцы срубов. Щепки и стружки, насыщая воздух запахом свежей сосны, кружась, падали на снег.

К воеводе на потных заиндевелых лошадях подъехали два казака — сторожевой разъезд, вернувшийся из ночного дозора.

— Что, замёрзли, ребята?

— Студёно. В поле позёмка завивает, метель будет.

— Как там караульщики, не помёрзли? — спросил воевода о людях, которые всю зиму находились на сторожах, разбросанных по обе стороны от Карсуна вдоль засечной черты. Караульщики жили в землянках и в случае чего должны были подавать знак дымом, поджигая в специально установленных чанах смолу.

— А что им поделается? Живут себе, как медведи, в берлогах.

— Добро, — сказал Хитрово. — Ступайте отдыхать.

Казаки неторопливо двинулись к своей избе, где их ждали миска толокна, кружка кваса и старые недруги — клопы, которые, как их казаки ни вымораживали, не оставляли служивых в покое.

Богдан Матвеевич спустился с крыльца и, заметая полами длинной шубы снег, пошел по проходу между строениями. Васятка поспешал следом, отстав от своего господина на один шаг. Возле низкого, до пояса, сруба воевода остановился, услышав доносящиеся из него вопли. Это была земляная тюрьма.

— Отопри! — приказал Хитрово. Караульный стрелец загредел замком и засовом,

распахнул низкую дверь, из проема высунулся всклоченный и грязный узник.

— Воевода, милостивец! — возвопил он. — Нет мочи терпеть!

Это был казак, убивший своего товарища во время запрещенной азартной игры в зернь на деньги.

— Сиди и молчи! — строго сказал Хитрово. — Твои бумаги отосланы в Москву. Как там приговорят, так и будет. Стрелец затолкал узника в сруб и запер дверь. — Скажи сотнику, чтобы сводили его в баню, — молвил Хитрово караульному. — Он шелудьями оброс.

Воевода на границе имел неограниченную власть. Он разбираал все проступки и определял наказания. Это касалось всех преступлений, кроме убийств. Душегубов, получив от воеводы материалы следствия, судила бярская дума. К смерти за убийства на бытовой почве приговаривали редко, чаще убийц ссылали в Сибирь, в охотничьи ватаги, добывавшие пушного зверя.

— Студёно, чай, сейчас в яме, — пробормотал Васятка.

— А ты ему свои портки отдай, — усмехнулся Хитрово. — Убийство, Вася, смертный грех, за него платить надо.

Васятка был с этим согласен, однако он сочувствовал всем, кто страдает: не очерствел ещё душой, не ожесточился.

Хитрово толкнул калитку и вошёл на конный двор, где казаки вилами с возов метали привезённое с летних покосов сено. Запах сухой травы напоминал об июле, о неблизком ещё лете. Конюшни не было, казачьи лошади, неказистые и большеголовые, добытые в бою или за деньги у ногайцев, отличались неприхотливостью в содержании и выносливостью в походах. Полусотник подбежал к воеводе, и тот попенял ему за беспорядок и нечистоту.

— Будет сделано, воевода! — гаркнул казак, дыхнув на Хитрово чесночным смрадом.

— А это чьи одры? — указал Богдан Матвеевич на двух лошадей, чьи бока и крупы были облеплены засохшим навозом и соломой. — Шелепов давно не получали?

— Так это, — забормотал полусотник. — Хворают казаки, третий день лежат в лёжку.

— Чем хворают?

— Лихоманка бьёт. Отойдут, неровен час.

Богдан Матвеевич забеспокоился. Ни голод, ни набег страшны ему были, а внезапное моровое поветрие. Бывало, что чума или холера в считанные дни опустошала города, а в крепости, при скученности людей, любая зараза могла распространиться с быстротой молнии. За прошлые месяцы люди в Карсуне мерли, но не так быстро, дважды в месяц. За оградой на берегу реки крестами прирастало кладбище.

— Ерофеич смотрел? — спросил Хитрово про имевшегося в поселении травника и костоправа, взятого им из Атемара для лечебных услуг.

— Он и сейчас возле них. Даёт отвары травные, да мало помогает. Даст Бог, выживут.

— Поставь кого-нибудь за их конями приглядывать, — сказал воевода. — Безлошадные казаки не ратники.

— Сделаю, Богдан Матвеевич, — полусотник согнулся в поклоне.

Под рукой воеводы имелось две сотни стрельцов и полусотня казаков. Это была пятая часть из тех, что пришли с ним вместе прошлой весной на Карсунскую засечную черту. Остальных, женатых и старых, Хитрово отпустил после Покрова по домам, приказав явиться в Карсун за две недели до поздней в этом году Пасхи. Лишние едоки воеводе были не нужны, для несения караульной службы хватало и этих. Отправил осенью по своим избам и работных людей, числом более трёх тысяч. Весной князь Долгорукий, нижегородский воевода, обязан был представить на строительство черты пять тысяч крестьян, взяв с каждого пятого двора по одному человеку. Работники должны были прибыть со своими лопатами и кирками, с пятью сотнями телег, оснащенных коробами, с косами и вилами для заготовки сена.

Воеводский опыт подсказывал Богдану Матвеевичу, что явятся на засечную черту далеко не все. Дьяк Кунаков верно заметил: князь Долгорукий был любитель волокиты, да и сами крестьяншишки всегда непрочь увильнуть от государевой работы, хотя за неё им давали неплохие деньги — два-три рубля за лето. Правда, и работа была адова — рыть ров в три сажени глубиной, громоздить на русской стороне рва вал, укрепленный заостренными бревнами, валить деревья для устройства засеки, непроходимой для степняков. Дел на лето намечалось невпроворот, и Богдана Матвеевича отягчала нелегкая дума, справится ли он со всем, что на него навалилось.

— Чего ты на меня тарачишься? — спросил Хитрово своего спутника. — Или нашкодил где?

— Просьба у меня, — замялся Васятка.

— Так говори.

— Ты уедешь на Москву, Богдан Матвеевич, а мне разреши сходить с обозом в Казань?

— На кого же ты Кунакова оставишь? — Васятка Кунакова побаивался, тот был скор на кулачную расправу. — Добро! — решил Хитрово. — Иди в Казань, только не набедокурь там. Я дьяку скажу. Пойдем в кузню, глянем, как Захар слово держит.

Кузня находилась в незастроенном углу крепости, в стороне от других строений. Это была большая рубленая изба с навесом, под которым хранились коробка с древесным углем, полосы железа, нуждающиеся в ремонте лопаты, тележные оси, ободья колес, серпы, косы, а также дрова и несколько наждачных кругов. Отдельно поленицей были сложены бруски кричного сырого железа, добытого из болотной руды. Это железо привезли осенью из Засурья, где мордва его изготавливала с незапамятных времен. Захар, полковой кузнец, сказал, что это железо сразу в дело не годится, с ним нужно еще долго работать. Хитрово был любопытен и стал допытываться, как работать, что делать. Захар попытался объяснить, но на словах воевода ничего не понял. Тогда кузнец пригласил воеводу посмотреть, как это делается. За делами тот забыл о железе, а сегодня, когда перед отъездом стал подводить итоги сделанного на черте, вдруг вспомнил.

Широкая дверь в кузницу была распахнута настежь, и, подходя к ней, Хитрово увидел, как Захар держит клещами кусок раскаленного железа, а молотобоец бьет со всего размаху кувалдой по местам, которые Захар обозначает ударами своего молотка. Увидев воеводу, Захар не прекратил работу, а наоборот, стал еще чаще постукивать по раскаленному железу, мол, смотри, Богдан Матвеевич, как кузнечное дело делается. Молотобоец, вдогон за кузнецом, стал чаще бить кувалдой, подсобник, провинившийся стрелец, начал сильнее раскачивать кузнечные меха, и пламя на горне из охряного стало белого цвета.

Рядом с наковальной стояла закопченная бочка. Захар положил молоток, подхватил клещами поковку и сунул в воду. Раздался шип, из бочки поднялись клубы пара.

— Желаю здравствовать, воевода! — произнес кузнец, бросив поковку в ящик, где лежали несколько прокованных полос железа. Захар был сутул и долгорук, борода подстрижена коротко, смотрел исподлобья, но весело.

— Всё недосуг было глянуть, как ты железо настоящее из криц добываешь.

— Изволь, воевода, — Захар взял из горна раскаленную полосу и сунул в бочку. Подождав немного, вынул и стал счищать топором с бруска окалину, довольно крупные лепестки железа, которые бросил в воду. — Это начало дела, Петрушка, — сказал он молотобойцу. — Давай сжевай! — Петрушка поставил рядом с наковальной пустую бочку, подхватил другую, где остужали железо, и медленно вылил из неё воду в приготовленную посудину. — Вытряхивай! — приказал Захар. На земляной пол посыпались окалина, кусочки шлака и железные лепестки. Кузнец выбрал наиболее крупные из них и, взяв маленькие клещи, разложил на раскаленные угли небольшой горкой. — Качай!

Подсобник заработал мехами. Железо быстро нагревалось, меняя цвета от фиолетового до багрово-красного. Захар из большого совка досыпал мелких лепестков. Железо начало мягчать, стало ослепительно белым. Кузнец большими клещами подхватил спёкшиеся лепестки и бросил их на наковальню. От удара кувалдой посыпались искры, и воевода, чтобы оберечь глаза, отшатнулся в сторону. Кричные лепестки на наковальне превратились в бесформенный слиток. Захар, заметив, что он остыл, положил его на горн.

— Сейчас мы делаем уклад, — сказал он, вытирая с лица пот. — Его нужно раз десять проковать, а то и поболее, чтобы добиться нужной плотности.

Богдану Матвеевичу было ведомо, что такое уклад, но как его делают, он видел впервые.

— Занятно, — сказал он. — А здесь в Карсуне болотная руда имеется?

— Я по осени прошёлся вдоль Барыша, кое-где есть, но не так много.

Хитрово заинтересовался. Розыск руд был делом государственной важности, на Руси долгое время не могли открыть порядочное месторождение железной руды и наладить производство металла. Не было специалистов, а иноземцы предпочитали получать деньги и обретаться в Немецкой слободе и не спешили укреплять Московское государство.

— Как же ты руду отыскал? — спросил Хитрово.

— Очень просто, — Захар повернулся и взял в руку деревянный кол. — Вот этим самым и отыскал. Шёл по берегу и через каждые шагов двадцать втыкал в дёрн ошкуранный кол. Затем вынимал и острие пробовал на язык. Если кисло, значит, можно брать, сушить, обжигать, а потом в доменку.

— Так сразу разве можно понять на вкус, — недоверчиво сказал воевода, — что

есть руда?

— Конечно, не сразу, — усмехнулся Захар. — Не один кол излизать в труху надо, чтобы стать добрым рудознатцем.

— Понятно, — промолвил Хитрово. — Стало быть, дело это непростое.

— Очень непростое. Это посмотреть на гвоздь — ерунда, а чтобы его сделать, намаешься, если взять с его начала, с руды.

Хитрово задумался: для обустройства нового града на Синбирской горе понадобится много изделий из железа, где взять? Кузница одна, новые заводить времени нет. Кузнецы — люди посадские, вольные, их силком не заставишь ехать в синбирскую глухомань из Нижнего, Казани, тем паче из Москвы. Выход один — всё нужное заказывать в этих городах и везти сюда.

На горне поспела поковка, кузнец и молотобоец принялись проковывать её по второму разу, и Хитрово вышел наружу. Солнце стояло уже высоко, скоро Масляная неделя, за ней и до весны рукой подать. На жердочке под крышей избы затренькала, радуясь солнечному дню, синичка, да с такими коленцами, что Хитрово удивился, какая певунья!

— Мой возок готов?

— Вчера был готов, — ответил Васятка. — Будешь глядеть, господине?

— Нет. Пойдём лучше к плотникам на башню. Эж, как пластают, щепы навалили!

Воевода зашёл в башню, подобрав полы шубы, стал подниматься по крутой лестнице с этажа на этаж, в срубе было свежо, тонко пахло сосновой смолкой, ветерок, залетая в бойницы с реки, гонял по настилам мелкую стружку.

Старший плотник, завидев, что Хитрово зашел в башню, кинулся за ним следом, догнал его на последних ступенях.

— Добре, добре срубили, — сказал воевода, оглядывая окрестности из узкой прорези бойницы.

Вокруг на много вёрст простиралась засечная черта. Хотя снега засыпали рвы, но хорошо были видны частокол, завалы деревьев в лесу, где бурёломом прошла засека. На ближней стороже из землянки караульщика струился дымок, два стрельца тащили по льду Барыша плетёные ловушки — морды, чтобы опустить их в прорубь; на берег, скользя копытами, взбиралась лошадь, волоча за собой сани с большой бочкой, из которой плескалась вода.

— Когда остальные башни срубите?

— Почти готовы, осталось поднять, — ответил старший плотник. — Вон они, отсюда их как на ладони видеть.

Плотники по месту нахождения башни в стене рубили только первую клеть сруба, остальные рубили в стороне от стены, затем поднимали их наверх и устанавливали на место. Это позволяло увеличить скорость строительства, и множество опорных пунктов на засечной черте возникли за короткое время.

— Богдан Матвеевич, господин, — сказал Васятка, озабоченный предстоящим отъездом воеводы, — разреши уйти, мне надо всё подготовить для тебя в дорогу.

— Ступайте оба. Я здесь побуду.

Стуча сапогами по ступеням лестницы, старший плотник и Васятка отправились вниз. Хитрово поплотнее запахнул шубу и притулился возле бойницы, глядя в заснеженную даль. Сумрачно, неуютно было на душе у воеводы. Неизбежная пряха Дубровским на Москве перед очами царя и боярства отягчали его невесёлыми думами. Не любил он вступать в противоречия ни с кем — ни с высшими, ни с равней, опасное и тягостное это дело, но в этот раз уклониться не было возможности. За родовую честь нужно стоять, не жалея живота своего, поруха чести неизбежно отразится на нём самом, но что еще важнее — на родичах, тем более, что Богдан Матвеевич был старшим в роде и нес ответственность, по установленному тогда порядку, за всех. Стерпевшим поруху чести грозила опасность быть отодвинутыми навсегда с пути, который вёл к получению должностей, званий, новых денежных и земельных пожалований от государя.

Судить его спор с Дубровским будет молодой государь, возведённый на царство всего два года назад. Конечно, он примет во внимание и родословную, и заслуги перед отечеством противников, прислушается к мнению ближних людей. Хитрово при дворе хорошо знали, он был в родстве со Ртищевыми и Морозовыми, самыми близкими царю Алексею Михайловичу людьми.

Хитрово посмотрел на солнце и заторопился. Подойдя к конному двору, он увидел, как из него выехали сани, запряженные двумя лошадьми, гусем. На крыльце воеводской или съезжей избы стояли Кунаков и Приклонский. Хитрово коротко простился с ними и отправился в путь, сопровождаемый пятью казаками.

Вечером Богдан Матвеевич достиг Промзина Городища. Заночевал там и к концу следующего дня приехал в Алатырь, откуда начиналась государева ямская гоньба.

Перед Москвой, когда появились, сменяя друг друга, слободы и посады, дорога стала накатаннее и просторнее. Запряжённый двуконь воеводский возок то и дело обгонял санные обозы, везшие в столичный град на торжища туши скота, вороха битой птицы, рогожные кули с мукой, лубяные короба замороженной рыбы и много всякого другого товара. Москва была огромна и прожорлива и без особого разбору всасывала в себя всё, что производила Русь — от Астрахани до Архангельска, от Пскова до зауральских стран.

За год с лишком пограничной службы Хитрово успел поотвыкнуть от многолюдства. На засечной черте празднующихся людей не было, там все приставлены к делу: казак промышлял неприятеля на ногайской стороне, стрелец нёс караульную службу, присланные из верхних уездов работные люди рыли ров, валили засеку, рубили срубы острожных и засечных укреплений. Но Москве до этих забот не было никакого дела. Её пронирливый и хватистый на чужую копейку люд узнавал о другой, неизвестной ему России только тогда, когда на столицу наваливалась орда и рати многочисленных русских земель поспешали к ней на помощь.

Родовой дом Хитрово, большое, с поддесятины, подворье, застроенное избами и подсобными помещениями, находился неподалеку от Кремля, в Китай-городе, и был огорожен высокой кирпичной оградой. Богдан Матвеевич вылез из возка и перекрестился на образ Николы-угодника, находившийся над воротами под крышей. Скрипнула смотровая дверца, оттуда показалась борода воротника. Узнав хозяина, он сдавленно ойкнул, загремели замки и засовы, ворота распахнулись. Воротник и двое караульных уткнулись бородами, приветствуя хозяина, в грязный мартовский снег.

Хитрово ступил на деревянные мостки двора и осмотрелся. Вроде всё было в порядке, всё на месте: над поварней дымилась труба, готовилась еда для дворни, у конюшни конюх нагружал кормушку сеном, в другом конце возле людской мыльни баба развешивала выстиранное бельё на тонкие жерди. Появление хозяина вызвало среди дворовых холопов переполох. Те, кто находились близ дверей, попрятались, остальные повалились в снег. На крыльце хором появился ключник и юркнул обратно, известить о приезде Богдана Матвеевича его мать и супругу.

Хитрово сбросил на руки слуги шубу и поднялся по лестнице наверх, в горницу.

— С приездом, господин! — ключник поцеловал хозяйскую руку.

— Как управляешься, всё ли цело? — спросил Хитрово, строго глядя в глаза холопа.

— Слава Богу, все на месте, все живы-здоровы. Боярыня вот только прихварывает.

— Ладно. Поговорим после.

Известие о болезни матери не было для Хитрово новостью. Прасковья Алексеевна недужила последние несколько лет. У неё была нелегкая вдовья судьба: отец Богдана Матвеевича погиб вместе со своими двумя братьями, сражаясь с шайками малоросских казаков, наводнивших Русь во времена Смуты. Царь Михаил сохранил за вдовой полное владение калужским поместьем из-за ратных заслуг мужа, что было редкой в те времена милостью.

По бревенчатому переходу Хитрово прошёл в избу матери. Она его уже ждала, сидела на постели, опираясь на горку подушек. В горнице пахло лечебными травами, сквозь небольшое окно пробивалась полоска дневного света и освещала высохшие, обтянутые истонченной кожей руки матери. Богдан Матвеевич бережно обнял её и поцеловал в щеку.

— Какое счастье, сынок, что ты приехал, — тихо произнесла Прасковья Алексеевна, глядя на сына радостными глазами, в которых вспыхивали искорки слёз. — И не чаяла уже тебя увидеть.

Хитрово подвинул к постели одноместную скамеечку и сел рядом с матерью.

— Как я мог сам приехать? Государь вызвал, чтоб ехал немедленно.

Прасковья Алексеевна заволновалась.

— Что так? Или случилась беда?

— Не можно мне, матушка, входить в царское рассуждение. Он один всё ведает. Как наши родичи живут-здравствуют?

Род Хитрово был большим, многие из него числились при царском дворе стряпчими и стольниками, стояли друг за друга горой, что было необходимо в соперничестве с другими дворянскими родами.

— Мало я кого вижу, Богдан. Кому нужна я, старуха?

— Что, и брат Иван не бывает?

— Ты же знаешь службу стольника? В своём приказе днюет и ночует. Ко мне забежит, посидит чуток, да все на оконце поглядывает, торопится. Днесь заскакивал, винную ягоду на меду принес. Вон она в чаше. А ты надолго?

— На то есть царская воля, матушка, — сказал Хитрово, доставая из-за пазухи не-

большую икону. — Был по делам в Казани, заехал в Богородицкий монастырь. Архимандрит Паисий благословил тебя образом пресвятой Богородицы.

Прасковья Алексеевна с благоговением взяла в руки иконку и поцеловала

— Отблагодари отца архимандрита, Богдан, — сказала она, заметно повеселев. — На Москве наслышаны о подвигах его монастырской братии. Авось, мне их молитвы помогут. Боли у меня, порой спасу нет, все суставы выворачивает.

Хитрово ласково погладил руку матери, поправил одеяло.

— Я завтра буду у государя. Позволь испросить для тебя его иноземного лекаря?

— Нет, нет! Что ты! — Прасковья Алексеевна не на шутку испугалась — Эти немцы все лютераны и чернокожники! По всей Москве дома себе наставили. На Рождество патриарх вышел из собора, народ пал ниц, а двое стоят. Оказались немцы, в нашем русском платье. Нет, немецких лекарей не надо! — Хитрово промолчал, ему самому не нравилось чванливое поведение немцев в Москве, в которую их приглашали для создания войска иноземного строя. Большинство из них были хвастливы, задиристы, русских порядков не знали и не хотели знать, отчего случались драки между ними и москвичами. — Я ведь не одна здесь, — продолжала Прасковья Алексеевна. — Сноха каждый день у меня сидит, Хитрово приходят, твой наперсник Федя Ртищев бывает. Ты к нему съезди, Богдан. Он сейчас у государя в большой силе, — дверь в горницу отворилась и тут же захлопнулась. — Марьяна девка прибежала, — улыбнулась Прасковья Алексеевна. — Да и ты сам, наверно, заждался встречи. Иди к жене.

Хитрово поцеловал мать, вышел из горницы и по бревенчатому переходу проследовал в женину избу, в которой не был более года. Распахнул дверь и сразу попал в жаркие объятия. Мария обожгла его долгим горячим поцелуем, и он сам загорелся, подхватил жену на руки, закружил по горнице.

— Отпусти, задушишь, — пролепетала она. — Экий медведь! Неровён час, кто увидит наше баловство.

— Жена должна быть скромной на людях, а вдвоём как не побаловаться!

Но отпустил её и, отпустив на шаг, осмотрел всю целиком взыскующим взором и улыбнулся. Ему показалось, что за время разлуки жена еще более похорошела, раздобрела, но не в полноту, а приобрела спелую мягкость, её тело при движениях, несмотря на просторную одежду, зазывно играло и влекло к себе истосковавшегося мужа. Мария всё поняла и лукаво улыбнулась, довольная своей властью над супругом.

— Как Василиса? — спросил Хитрово. — Здорова ли?

— Она рядом, — сказала Мария и крикнула: — Дунька, приведи Василису!

Богдан Матвеевич с волнением ждал появления дочери. Их первый ребёнок, тоже девочка, умерла от оспенного поветрия несколько лет назад.

— Подойди к отцу, — Мария слегка подтолкнула Василису, которая уцепилась за подол её летника. Дочери было всего четыре года, и от отца она отвыкла, да и раньше видела его нечасто, почти всё время он был на службе во дворце.

Богдан Матвеевич взял дочь на вытянутые руки, вгляделся в настороженное личико: она обещала стать похожей на мать, такая же большеглазая, волосы с золотым отливом.

— Что, дочка, подзабыла отца?

— Нет. А почему от тебя дымом пахнет?

Хитрово рассмеялся, в дороге он ночевал в курных избах, и его одежда пропахла дымом от бездымоходных крестьянских печей.

— Я тебе, Вася, подарок привёз с черты. Казаки на Волге насобирали дивные камушки.

— А где они?

— В дорожной суме, чуть позже отдам.

— Она у нас умица, — сказала Мария. — Я вышиваю, она приглядывается, сама в руку иголку взяла.

Хитрово вздохнул и подумал, что не дает Бог ему наследника, девчонки не опора в старости, не продолжение рода, уйдут в чужую семью и, как в лесу, потеряются.

В двери горницы сунулся ключник:

— Господине! Иван Матвеевич приехал.

— Ах ты! — всплеснула руками жена. — Я же тебя, Богданушка, обедом не попотчевала!

— Прикажи подать в горницу, — сказал Хитрово, отпуская дочь. — Иди к матери, я ещё зайду к тебе.

Иван Хитрово был одним из первых по значению стольников на Москве, ведал многими делами в Разрядном приказе, доброжелатели сулили ему в будущем околичничество. Узнав о приезде брата, он поспешил его навестить, имея на это серьёзные причины.

Братья крепко обнялись, троекратно облобызались и сели друг против друга за сто-

лом на скамьи.

— Что зришь так? — спросил Богдан. — Сильно я изменился?

— Одно скажу, заматерел, мужем смотришься. И седина в бороде появилась. Что, не мёд полевая служба?

— Тебе ли не знать этого, Ваня? — сказал Богдан. — Разрядный приказ все засечные черты блюдёт, ему всё ведомо.

— Но твоей службы я не знаю, на черте наскоком был один раз недавно.

— Где же?

— На Белгородской черте, в Комарицком драгунском полку. Государь мыслит вести ещё двадцать-тридцать полков иноземного строя, драгунских, рейтарских, солдатских. Полк в Комарицах недавно испомещён, пять тысяч драгун, у каждого пятнадцать четвертей земли в трёх полях, налогов не платят. Прошлым летом крымцы, как ни пытались, через них не прошли.

— Это какую же прорву денег надо на строительство новых полков? — сказал Богдан. — Об этом думали?

— С соли будут брать. Указ уже огласили, небось, слышал. Борис Иванович Морозов с окольников Траханиотовым и дьяком Чистым затейку эту удумали. Соль сейчас в десять раз дороже, чем прежде.

— Это прямая дорога к бунту, — жёстко сказал Богдан. — По дороге в Москву я, хоть и быстро мчал, но многое слышал. Подошли рыбные обозы с Яика, на дворе конец марта, скоро отпустит, рыбу нужно солить. В Рязани торговые люди недовольны, в Коломне разграбили соляной склад.

— Вот я и мыслю, — сказал Иван. — Сейчас самое время надбавку на соль снизить наполовину. Люди бы возрадовались такому облегчению, утишились, а государевой казне прибыток изрядный.

— Правильно мыслишь, Иван! — рассмеялся Богдан. — А урезанной наполовину прибавки хватит на новые полки?

— Должно было бы хватить, но ведь растащат! На Москве открыто говорят, что Морозов главный казнохват, и дружки от него не отстают. У Морозова, пока он воспитателем молодого царя был, имелась одна захудалая деревенька, а сейчас поместья в Нижегородском уезде, близ Москвы. Откуда это всё? О больших пожалованиях государя неизвестно, да и не было их, значит, одно — в государевой мошне ловко шарит.

Последние слова Иван произнес почти шепотом, с оглядкой на слуг, которые принесли обед из поварни: калачи, пироги с разной начинкой, щи на сметках, гречневую кашу, овсяной кисель. Слуги достали из открытого шкафа чашки, ложки, протёрли их чистым полотенцем и поставили на стол, на другой стол поставили судки с горячим.

— Ступайте, — сказал хозяин. — Мы сами разберёмся.

Вина на столе не было, Богдан Хитрово избегал хмельного, справедливо полагая, что оно застит ум и черствит душу, и пил только тогда, когда не было возможности этого избежать, ведь не откажешь государю, если он пошлёт тебе со своего стола кубок. На пирах пили порой до безобразия, бахвалились количеством выпитого, нередки были случаи, когда, упившись, боярин засыпал под царским столом.

— Ты к матери заходил? — спросил Богдан.

— Плоха матушка. Твоему приезду радуется.

После обеда вымыли руки из рукомойника, вытряхнули из бород хлебные крошки, утёрлись полотенцем. Хозяин кликнул слуг, те быстро собрали посуду, подтёрли стол и ушли.

— Тебе, конечно, ведомо, Богдан, — сказал Иван, выковыривая из зубов остатки пищи, — для чего государь тебя истребовал к себе.

Богдан внимательно посмотрел на брата: начинался самый важный разговор.

— Я думаю, об этом вся Москва знает, — ответил он. — Ртищев отписал, что государь пожаловал мне околичество, а Юшка Дубровский ударил челом против меня, что он-де обойдён и в том поруха всему роду Дубровских.

— А нам не поруха, если Дубровские наперёд вылезут? — закипятился Иван. Наше дворянство старше ихнего. Их предки — крестьянники князей Пронских, а наш пращур мурза Едуган выехал из Орды к рязанскому князю Олегу ещё до Куликовской битвы, принял христианство и стал Андреем Хитрым, от него и пошли мы, алексинские и другие Хитрово. Об этом есть записи в церковных книгах. А как Рязанский удел отошёл к Москве, так и Хитрово выехали туда же и уже больше двух веков числятся по московскому дворянскому списку. И сейчас нас в этом списке восемь мужей.

В голосе брата слышалась кровная обида. Иван был горяч и мог при случае зашибить Дубровского, что делать не следовало. Сам Богдан был тоже возмущен челобитной о местничестве, но вида не показывал, он умел скрывать от других обуревавшие его чувства.

— Государь мои дела ведаёт, — сказал он. — За мной новый град Карсун, засечная

черта. У Дубровских были в роду полковые воеводы, но сейчас за ними ничего нет. Род захудал, измельчал. Положимся на волю государя.

— Попляшет у меня Юшка, — продолжал горячиться Иван. — Вот замнётся дело, придушу его в тёмном месте, как воробья!

— Остынь, Иван! Не стоит глупыми выходками тешить других. Всё решится в мою пользу, государь меня не оставит своей милостью.

— Хорошо бы так, — сказал младший Хитрово. — Шепчут государю наши супротивники. Слух есть, что государева тестя Милославского подрядили на это дело. А тот ведь круглый дурак, прости Господи! Нет, поеду к боярину Борису Ивановичу Морозову, ударю челом! Он ведь наш свойственник, пусть молвит царю слово.

Богдан взял из стоящей на столе чаши грецкий орех, расколол его серебряными щипцами. Протянул половину брату.

— Попотчуйся, Ваня, и охолонь. Морозов нам седьмая вода на киселе, помогать не станет. У него своих супротивников в думе полно. Не с руки ему вязаться в это дело.

— Слушай, Богдан, ударь челом Вяземскому, — продолжал гнуть своё Иван. — Старик тебя любит. Полковое воеводство в Темникове тебе через его хлопоты досталось.

— Погоди! — Богдан встал и вышел в другую комнату. Через некоторое время он вернулся с грамотой. — Вот слушай, что отписал мне в Темников Федор Ртищев: «... государь дозволяет тебе быть на Москве. О пре с Дубровским разговора не веди, поелику дело решено. Указано тебе представить государю свои розмыслы о будущем граде Синбирске...» — Хитрово бережно свернул в трубку письмо Ртищева и положил на стол. Иван молчал. В отличие от брата, он не отличался скородумием. — Федор ясно пишет, что мое дело решено, посему князя Андрея Вяземского беспокоить не следует.

— Смотри, Богдан, не промахнись, помни, что ты за весь род в ответе. Покачнёшься ты, мы повалимся. Ладно. Засиделся, мне нужно ещё в приказ поспеть, заботы с новыми полками невпроворот.

Иван вышел, а Богдан Матвеевич чуть помедлил, затем встал и приблизился к окну. Брат подбежал к коновязи, вырвал из рук помедлившего слуги поводья и вскочил на жеребца. Ворота распахнулись, и стольник направил жеребца прямо на шарашнувшихся в стороны прохожих.

Хитрово прошелся по горнице, затем открыл дверь и крикнул:

— Герасим, заходи! — в горницу опасливым шагом вошел ключник с листом бумаги в руке. — В порядке ли всё дома? — ключник развернул лист. — Ты что, Герасим, память потерял? — насмешливо спросил хозяин. — Ишь ты, на бумажке нацарапал. Ну-ка, дай мне её! — Хитрово быстрым взглядом просмотрел записи. — Начинай, а я буду сверяться, так ли говоришь, как записано.

Ключник начал перечислять, сколько всего истрачено денег на содержание дома за время отсутствия Хитрово. Трат было немного, почти всё доставлялось из вотчинных и поместных деревень: говядина, баранина, свинина, битая птица, мёд, хлеб, крупы, капуста, репа, свёкла, масло сливочное и конопляное, холсты, верёвки, даже берёзовые дрова и веники нескольких видов. Покупались на торге свечи, соль, перец, шафран, ткани, пуговицы, конская сбруя, посуда и другие, нужные в хозяйстве вещи. Ключник без ошибки всё перечислил и, заметив, что хозяин улыбнулся, облегчённо вздохнул.

— Беглые есть?

— От нас не бегут, — сказал ключник. — Я выполняю твое повеление, господине, кормлю, одеваю. Наша дворня живёт не в пример лучше соседской. У Собакиных двадцать холопей утекло той осенью, побежали, не испугавшись зимы.

— А у нас что, ангелы? — усмехнулся Хитрово. — Не воруют, по кружалам не шастают, табак не пьют?

— Не без того, — замявшись, ответил ключник. — Для таких у нас батоги имеются.

— И помогает?

— Дюже помогает. Встаёт поротый со скамьи и не успеет рубахой накрыться, как в ноги валится, благодарит за науку.

Хитрово усмехнулся, он знал, что у Герасима тяжёлая рука, и дворня перед ним трепетала.

— Каков приплод?

— Негусто, но есть, — отвечал ключник. — Бабы впусте не бывают. И меня Бог наградил седьмым сыном.

— Молодец, Герасим, — сказал хозяин и, достав из кошелька рубль, протянул ключнику. — Прими от меня за труды, — тот упал на колени и поцеловал барину руку. Хитрово крепко ухватил его за бороду, притянул к себе, беспощадно глянул в глаза.

— Сколько украл?

Герасим сдавленно забормотал:

— Чист я перед тобой, господине! Аки пёс, стерегу твое добро!

— Гляди! — оттолкнул от себя ключника. — Деньги на хозяйство выдаст госпожа.

Ключник юркнул за дверь, а Хитрово прошёл по горнице, выглянул в окно. Бревна мостков от ворот к избе обтаяли под солнцем, в луже плескался голубь.

«Надо быстрее ехать на черту, — подумал он, — пока не развезло пути. Как бы в грязь не утонуть. Завтра явлюсь перед государем и в дорогу».

Время дня Хитрово мог определить, не глядя на часы, и знал, что сейчас пополдень, москвичи залегли спать, кто на перине, кто на рогожке, всяк по своему достатку. Сам он после обеда избегал спать, потому что, разлежавшись, чувствовал себя разбитым, но скрывал это от чужих глаз, поскольку подобное поведение осуждалось общественным мнением. Послеобеденное время Хитрово отдавал чтению богословских книг, иногда, если удавалось купить хорошую иноземную книгу, читал по-латыни или по-польски. Языки он перенял у пленного шведа, который жил в их усадьбе в Григоровке. Знание языков он углубил в семье Ртищевых, где воспитывался вместе с сыном своей родной тётки Федором, с которым его сблизило увлечение книжной премудростью. Сейчас Федор Ртищев входил в кружок ближних к царю людей, с которыми благочестивый Алексей Михайлович обсуждал, как оздоровить церковный быт, исправить богослужебные книги по древним рукописям, отвратить народ от владевших им пережитков суеверия и язычества. Сам Хитрово не входил в кружок «ревнителей благочестия», но близко знал его участников: окольного Ртищева, царского духовника Вонифатьева и архимандрита Новоспасского монастыря Никона, которому судьба уготовила в недалеком будущем быть патриархом.

«Поеду к Фёдору», — решил Хитрово и крикнул:

— Герасим! Оседлай Буяна!

Фёдор Ртищев жил на соседней улице, но обычай не позволял дворянину ходить пешком на людях, чтобы не умалить родовую честь.

Жеребец косил на подходившего к нему Хитрово лиловым глазом, выгибал шею, но хозяин не дал ему потачки, запрыгнул в седло и сжал острыми стремями бока. Буян резко прыгнул вперед, но получил плеткой между ушей и успокоился, узнал хозяина. Неторопливо по мокрому снегу Хитрово доехал до дома Ртищева, оставил жеребца открывшему ворота холопу и прошел к крыльцу. Хоромы были построены по-иноземному, в два этажа из кирпича, Хитрово поднялся на крыльцо, его встретил дворецкий и привел к хозяину.

— Заходи, Богдан! — радостно воскликнул Ртищев и поспешил навстречу брату. Они обнялись и расцеловались. В комнате, кроме них, находились ещё двое: протопоп Казанского собора Иван Неронов и священник в залапанной и забрызганной грязью рясе, судя по всему, явившийся из какого-нибудь деревенского прихода.

— Отца Ивана ты знаешь, — сказал Ртищев. — А это отец Аввакум из Лопатиц, его воевода сшиб с места, вот он и прибежал на Москву.

Аввакум был невысок ростом, сухощав и порывист в движениях — полная противоположность статному и величавому Ивану Неронову. Он цепко и оценивающе посмотрел на Хитрово и продолжил прерванное появлением гостя повествование:

— По мале времени, у вдовы воевода отнял дочь, и я молил возвратить сиротину матери, так он воздвиг на меня бурю, его люди у церкви меня чуть не задавили. Долго лежал без памяти, но ожил Божьим мановением. Воевода отступился от девицы, но вскоре пришёл в церковь, бил и волочил меня за ноги по земле в ризах. Потом прибежал ко мне в дом, бил меня и от руки отгрыз персты, как пес! Когда я стал захлебываться кровью, то отпустил руку, а я, завернув руку платом, пошёл к вечерне. После службы опять наскочил на меня с двумя малыми пищальями, на полке порох пыхнул, а пищаль не стрелила. Он меня лает, а я ему говорю: «Благодать в устах твоих, Иван Родионович, да будет!» Посём двор у меня отнял, а меня выбил, всего ограбил, и на дорогу хлеба не дал.

Бесхитростный и честный рассказ Аввакума сильно взволновал впечатлительного Федора Ртищева.

— Какой срам на Руси творится, а ведь скоро семьсот лет как она знает истинного Бога! — горячо произнес он. — Страшно сказать, но за это время Русь мало очеловечилась! Если воевода такое в церкви позволяет, то что делается в приказной избе, где он полноправный владыка!

— Нестроение на Руси от смуты пошло, — промолвил бархатным баритоном Иван Неронов. — Так замутились все, и лучшие люди, и крестьяне, и сволочь, что до сих пор мрак не осядет в душах. Нужно время, спокойствие и лучшее строительство церковной жизни. На отца Аввакума свой гнев взгромоздил не только воевода, но и иереи. Унимал баб и попов от блудни.

Хитрово повествование Аввакума не удивило, он знал и более ужасное, но сам поп его заинтересовал и приглянулся своим незлобивым отношением ко всему, что с ним произошло. Он не причитал, не заламывал в горе руки, не вымогал к себе сочувствия, лопатицкий беглец просто и искренне поведал, что с ним произошло, а судить об этом

предоставил другим. Помочь Аввакуму Хитрово мог только одним, деньгами.

— Благодарствую, господине, — отказался Аввакум. — Слава Богу, у меня всё в достатке.

— Не обижай дающего, Петрович, — сказал Неронов. — Богдан Матвеевич не милостыню подаёт, а жертвует.

Аввакум ещё не пообтерся на Москве и был стеснителен в отношениях с лучшими людьми. Поблагодарил Хитрово, взял деньги и сел на скамью. В нём отсутствовали навязчивость и искательность, часто свойственные беднякам.

— Твое дело я молвлю государю, — сказал Ртищев. — Где ты остановился? Мой дом для тебя открыт.

— Он не один, а с женой и малым дитём прибежал, — сказал Неронов. — Крыша над головой у него есть, при Казанском соборе. А нам пора к службе поспеть.

Ртищев проводил священников на крыльцо, смотрел им вслед, пока за ними не закрылись ворота.

— Я рад тебе, Богдан! — сказал он, входя в горницу. — Год или более того не виделись, как ты? Рассказывай!

— Известное дело — пограничная служба. Городок Карсун заложил, в нём крепость, вал по обе стороны повели до Синбирска и Инсара.

— Трудно было после московской жизни?

Хитрово знал, что Ртищев мечтает о большом самостоятельном деле, но государь не отпускал его от себя ни на шаг. Назревали серьёзные перемены в церковной жизни, и умный, ведающий в богословских вопросах Ртищев был ему необходим в качестве первого советника и собеседника.

— Для меня черта стала новым делом, — сказал Хитрово. — Государь мне многое доверил, а справился ли я, не знаю.

— Что ж, не один ты из ближних к царю людей этой думой занят, — улыбнулся Ртищев. — Государь сегодня спрашивал о тебе.

— Как он обо мне мыслит? — помедлив и заметно волнуясь, спросил Хитрово.

— Не смущай меня, Богдан, — ответил Ртищев. — Мое правило — не выносить ничего из дворца. Государь это знает, и лишиться его благорасположения я не хочу. Вот о своей задумке могу рассказать.

Хитрово понял, что ясного ответа не получит и упрекнул себя за то, что слишком быстро в пограничной глухомани отвык от придворных обычаев. Здесь, при дворе, каждый стоял за себя и если помогал другому, то так, чтобы его не задела даже случайная немилость царя. А государев гнев непредсказуем, как землетрясение.

— На какую задумку ты, Федор, решился? — спросил он, скрывая неудовлетворение.

— Мыслю я учредить школу, в которой бы наши братья, учёные монахи из Киева, обучали языкам, греческому, наукам словесным до риторики и философии. Наши епископы, не говоря о простых иереях, плохо образованны, не знают богословия, путаются в самых ясных понятиях. А Русь в настоящее время оплот православия, наши угнетенные турками братья с надеждой взирают на Москву, чая если не скорого освобождения от ига, то духовной поддержки. Тем временем в нашем богослужении имеются серьёзные расхождения с тем, как понимают православие греки, сербы, болгары. Все это необходимо устранить, а для этой работы нужны образованные правщики книг, просвещённые иерархи, способные проводить политику Москвы в зарубежье. Государь мыслит осадить хана в его поползновениях. Русь должна быть полновластной в своих южных пределах и на Слободской Украине.

Хитрово были ведомы замыслы царя и государевой думы об укрощении крымского хана и повороте русской внешней политики с западного направления на юг, в сторону Дикого поля. В его понимании, Русь представлялась ему избой, у которой не было одной стены, это было Дикое поле, и через него постоянно вторгались крымцы и ногаи, увлакивая людей, скот и имущество.

— В Заволжье усилились калмыки, — сказал он. — Постоянно нападают на русские поселения. Сейчас с башкирами сцепились, воюют друг друга. Черта нам поможет отгородиться от них, но она дорога и людей много забирает.

— Другого пути нет, — задумчиво произнес Ртищев. — Казна пуста, новый соляной налог государь указал, скрепя сердце. Но в мыслях у него есть и другое — собрать земский собор, принять новое Уложение, которым навечно прикрепить крестьян и посадских людей к тяглу. Будут отменены урочные годы и крестьянам запрещён выход от владельцев.

— Давно пора! — воскликнул обрадованный известием Хитрово. — Надобно приравнять крестьянишек к кабыльным холопам. Сейчас в бегах по стране, тягла не исполняются, денег взять не с кого, казна пуста!

Ртищев подошел к полкам, где у него стояли книги, и взял большой лист бумаги.

— Я прошлым летом разговаривал с английским купцом Самуэльсом, не по торговым делам, а пытал его о тамошних порядках. Всё у них не по-нашему устроено, но самое любопытное, что там крестьяне уже триста лет свободны. Триста лет! А мы только надумали запретить им выход. Я вот записал, сколько доходов получает английская казна, в десять раз больше, чем наша.

— Там крестьяне владеют землей?

— Нет, нанимают её на срок у лордов.

— Эх! — усмехнулся Хитрово. — Им бы наши заботы. У них крестьяншки от безземелья в Америку утекают, а у нас земли немеряно, наш мужик землю нанимать не будет, уйдёт, куда ему вздумается, и найдёт себе пашню. На Руси мужика надо держать в кулаке.

— Да, все у них не как у нас, — согласился Ртищев. — У них основная прибыль в казну от торговли, а мы своих купцов гостиной и суконной сотен в дым разорили. На днях они челобитную государю подали, что вконец исхудали и обнищали. Всем памятна судьба гостя Надеи Светешникова, который ссужал Михаила Фёдоровича на десятки тысяч рублей и был выставлен на правёж за недоимку.

На дворе стало смеркаться. Перехватив взгляд Хитрово, брошенный на окно, Ртищев спохватился:

— Извини, Богдан, я тебя совсем заговорил. Экий я невежа, гость в доме, а стол пустой!

— Мне пора домой, — сказал Хитрово, поднимаясь с лавки. — Я с дороги, родных ещё толком не видел.

— Поцелуй за меня своих, — говорил Ртищев, провожая двоюродного брата на крыльцо. — Я редко у них бываю, но ты знаешь царскую службу. Приходи во дворец завтра, как обычно, после утрени.

Хитрово въехал в своё подворье и сразу учуял запах дымка: протопленная господская баня ждала хозяина. На поварню с двумя ведрами молока шла баба, в огороженном жердями загоне толпились телята, споро расседланный конюхом Буян хрумкал овсом, матёрый бык, привязанный цепью к вкопанному в землю столбу, наклонив рога, рыл снег передними копытами и крутил хвостом. На всем подворье ощущалось присутствие порядка, довольствия и покоя.

Хитрово соскучился по своей домово́й бане. Он любил попариться, повалиться на полке под огнедышащими ударами берёзового или дубового веника. В Карсуне ему приходилось париться в общей бане, она была слишком просторной, построенная из дубовых брёвен, и всё в ней было не то, что своя баня, которая для всякого русского человека — начало и конец земного пути, в ней его купают после рождения и обмывают после кончины.

Встретивший хозяина на крыльце Герасим сказал, что баня готова и госпожа уже там. В предбаннике Мария на лавке раскладывала бельё, своё и мужнино, рядом лежали гребни, редкий и частый, два мыла, жидкое и твёрдое, купленные у казанских торговцев.

### — 3 —

Москва просыпалась рано, ударили, спугнув городских ворон, колокола сорока сороков стольных церквей и соборов к утрени, проснулся государь в своём дворце, проснулись бояре, служилые и прочие люди, и всяк поспешил восславить Господа за то, что даровал он православному миру новый светлый день.

Хитрово встретил утро в крестовой комнате, стоя на коленях перед образами. Рядом с ним молилась жена. Стоя на коленях позади хозяев, творили молитву ближние слуги. В комнате было душно, зыбко трепетали огоньки лампад, но никто не спешил выйти вон, молились долго и истово.

После утренней молитвы Хитрово поднялся в комнату, где хранилась парадная, для выхода во дворец, одежда. На исподнее он надел красную шёлковую рубашку и пристегнул к ней вышитый золотом и унизанный жемчугом воротник, затем короткие до колен суконные штаны, шерстяные чулки и красные из персидского сафьяна сапоги, подпоясался дорогим в золотых бляхах и пластинах прадедовским поясом и застегнул его на крючки. Первой верхней одеждой был тафтяной зипун без рукавов; второй — кафтан с длинными до колен рукавами из красного сукна с жёлтыми нашивками на груди. Поверх всего Хитрово надел шубу до пят из чёрнобурых лисиц, крытую красным английским сукном. Довершала одеяние остроконечная шапка из куницы.

Выбрав из нескольких палок одну с набалдашником из слоновой кости, Хитрово вышел на крыльцо, возле которого конюх держал под уздцы Буяна. Жеребец для парадного выезда был убран богато и нарядно, уздечка, седло, стремена украшены серебряными бляхами, на копытах привешаны колокольчики, а к луке седла, обитого крас-

ным сафьяном, прикреплены маленькие литавры. Хитрово, отягченный одеяниями, влез в седло, взял в руки короткий бич с рукояткой из татарской жимолости, ударил им в литавры, и жеребец, приплясывая, вынес его со двора.

Несмотря на ранний час, на улице было людно. Москвичи спешили на торг, широко раскинувшийся возле Кремля на Красной площади. В основном это были простолюдины, мелкие торговцы и малоденежные покупатели, поспешавшие приобрести какую-нибудь еду или одежду, пока продавцы не установят дневную цену, которую позднее сбить будет трудно. Среди толпы виднелись всадники, это служивые люди дворянского звания направлялись в приказы или на царский двор. Чем ближе к Кремлю, тем больше нищих; они, не страшась бичей, бросались под ноги лошадей и вопили:

— Подай мне и зарежь меня! Подай мне и убей меня!

Несколько нищих бросились к Хитрово с ужасным криком, обнажая беззубые, изъязвлённые рты, он ударил их несколько раз бичом, и они с воем откатились прочь. И никто не обратил на это внимания, люди шли мимо, каждый занятый своим делом.

Перед Фроловскими воротами было попросторней, здесь стояли стрельцы, охранявшие Кремль, перед рвом находилась большая пушка, горкой лежали ядра, горел костёр. Лед во рву подтаял, и из него отвратно пахло гнилью. Проезжая через мостик к воротам, Хитрово мельком глянул вниз и увидел вмерзший в лед, наполовину исколеванный воронами лошадиный труп. Хитрово сплюнул через плечо и стремянами послал жеребца в ворота.

Площадь перед государевым дворцом была заполнена людьми. Здесь находились стрельцы охранявшего царя Стремянного приказа, стряпчие и стольники, их место было не во дворце, а не далее царского крыльца, где они и толпились, ожидая, что кого-нибудь выкликнут и дадут поручение, которое их выделит и отличит от других искателей государевой милости.

Хитрово провел возле крыльца, сначала стряпчим, затем площадным стольником почти десять лет, пока не выдвинулся в комнатные стольники, то есть был допущен в комнату, где царь вёл прием ближних бояр, и пробыл им пять лет, до назначения полковым воеводой. Многие здесь его помнили и знали; когда он въехал на царский двор, к нему подбежали несколько стряпчих, уважительно поздоровались и подхватили под уздцы коня.

Возле коновязи стояли несколько десятков лошадей в парадном убранстве, некоторые лучшие люди приехали к государю еще затемно, первенствуя друг перед другом в предстании перед очами царя. Хитрово отряхнулся, поправил пояс и, обходя конские шевяки, степенно двинулся к крыльцу. Царская служня, стряпчие и стольники расступались перед ним, давая дорогу. Краем уха Хитрово улавливал шепотки: его пря с Дубровским была свежей придворной новостью и на все лады обсуждалась.

Царское крыльцо было очень большим, на него вели несколько боковых и один центральный вход, по которому Хитрово поднялся к дверям. Для многих право зайти в них было самой заветной мечтой, многие, состарившись на службе при дворе, так этого права и не получили, его давал сам государь, а добиться его расположения без влиятельных родственников и покровителей было невозможно. Хитрово это прекрасно знал. Он, имея в родстве и свойстве Ртищевых и Морозовых, много лет протоптался в зной и стужу на царском дворе под открытым небом, улучая случай войти в дворцовую дверь. Много за это время он перетерпел ругани и тычков от комнатных стольников, пока, наконец, не получил право переступать царский порог.

По бокам двери стояли два рослых стремянных стрельца, Хитрово перекрестился на образ Георгия Победоносца над входом и вошел в царские сени. Это было просторное тускло освещённое помещение, где прохаживались, стояли и вели беседы лучшие люди: бояре и окольные, думные дворяне и думные дьяки. Многие храбрецы, попадая сюда в первый раз, робели от великолепия убранства царских сеней, вида сановных людей и ощущения, что где-то рядом находится царь. Подобное чувство когда-то испытал и сам Хитрово, но со временем пребывание возле государя вошло у него в обычай, стольник «при крюке» выработал сноровку обходиться, не раздражая их, с первыми лицами государства, что во все времена считалось трудным и смертельно опасным делом.

Федор Ртищев был уже здесь. Он и царский духовник Стефан Вонифатьев подошли к Хитрово.

— Что не весел, Богдан? — спросил Ртищев. — Сейчас у государя боярин Морозов. Следующим выкликнут тебя.

— От местнических челобитных одна докука царю, — сказал Вонифатьев. — Добро бы местничались одни Трубецкие да Шереметьевы, так эта зараза захватила даже подьячих в приказах. Строчат друг на друга челобитные.

— А твой недрог давно уже здесь, — усмехнулся Ртищев. — Затемно примчался.

— Я что-то его не помню, — сказал Хитрово. — Где он?

— А вон с царским тестем Милославским толкует, — кивнул Ртищев. — Забавно смотреть: один долгий, как осолоп, другой, как копёшка. Милославский на посулы го-  
разд.

Вонифатьева занимала своя печаль, и он, продолжая прерванный разговор с Ртищевым, задумчиво произнёс:

— Ты, Федор, не в укор будет сказано, молод, горяч. Я отдаю архимандриту Никону должное — он боголюбив, многознающ, но есть в нём изъянец, греховный для пастыря. Я не ревную государя к Никону, упаси Бог! Но Алексей Михайлович не видит в нём опасности для себя, вот беда неминуемая!

— И что за изъянец в архимандрите? — заинтересовался Ртищев.

— Неведомо ему смирение, — горестно вздохнул Вонифатьев. — Зело гордыней обуюн.

Ртищев от этих слов задумался и смутился. Никон брал всё большую власть над молодым царем, и доброжелатели сулили архимандриту митрополичью кафедру в Новгороде.

Царский тесть Милославский не отличался чувством такта, от Дубровского он на-  
правился к Хитрово.

— Будь здоров, Богдан! — во весь голос сказал он, похлопывая Хитрово по плечу. — Каков стал — полковой воевода! А еще недавно стольничал на крюке, двери открывал!

— Будь здоров, боярин! — ответил Хитрово, сгибаясь в глубоком поклоне. — Желая твоей милости здравствовать многие лета.

— Как там волжская граница? — Милославский любил обнаруживать заботу о государственных интересах. — Как там, калмыки и ногаи не докучают?

— Граница тверда, боярин! Подпираем её, твоими молитвами!

Вокруг зашущукались, запересмеивались: укол Хитрово не прошёл незамеченным. Но Милославский не смутился, опять похлопал Хитрово по плечу и пошел дальше.

По боярам и окольным, столпившимся возле царской комнаты, прошло движение, дверь распахнулась, и появился боярин Борис Иванович Морозов. Он был явно не в духе, чело нахмуренное, взор неприветливый. Милославский попытался заговорить с зятем, но тот мрачно глянул на тестя и прошёл, стуча палкой по полу, мимо.

Стольник «на крюке» высунулся из комнаты и зычно, перекрывая шум, возгласил:

— Полковой воевода Богдан Матвеевич Хитрово! Тебя призывает великий государь!

Все враз обернулись на того, кто удостоился редкой милости — разговора с глазу на глаз с царём. Хитрово приосанился и неторопливо прошёл в царскую комнату.

Алексей Михайлович сидел в кресле и пальцами правой руки постукивал по столу. Тишайший царь был явно раздосадован.

Хитрово опустился на колени и уткнулся лбом в пол.

— Желая здравствовать, великий государь!

— Поднимись, Богдан, — промолвил Алексей Михайлович. — Я рад тебя видеть. Подойди ближе.

Хитрово поднялся с колен, сделал шаг вперёд и остановился.

— Я уже не раз пожалел, что отпустил тебя на границу, — сказал государь. — Мысль у меня была поставить тебя на приказ здесь, в Москве. Но мне насоветовали другое — как-де он проявит себя на службе в поле. Советники!..

Алексей Михайлович умолк и явно над чем-то задумался. Хитрово, улучив момент, внимательно посмотрел на него и отметил, что молодой царь за последний год заметно возмужал. «Недавняя женитьба, — подумал Богдан Матвеевич, — пошла ему явно на пользу».

— Советники, — повторил государь, — могут такое наподсказать, что потом волосы дыбом от их советов! Мой дядька Морозов убедил меня поднять налог на соль. Сейчас Москву завалили челобитными. Пишут из Астрахани, де, нечем солить на учугах рыбу, а та, что посолена, будет втридорога. Пишут из Ярославля, Рыбинска, Новгорода, в Москве, что ни день, хватают подстрекателей к бунту. Что делать? Ждать, когда толпа явится в Кремль?.. Морозов мне говорит, что отменять налог никак не можно, в Швеции заказаны пищажи для новых полков иноземного строя, деньги нужны на жалованье стрельцам, рейтарам, солдатам... Гость Строганов в челобитной советует сократить налог на соль на две трети, чтобы утишить народ. Морозов против. Сейчас только мне доказывал, что он прав. А ты как, Богдан, мыслишь?..

— Затраты на вооружение полков можно сократить, если наладить его изготовление у нас, — сказал Хитрово. — Но деньги потребны на возведение черты, испомещение на ней крестьян, казаков.

— Сколько людишек мыслишь поместить этим летом? — спросил Алексей Михайлович.

— Вместе с Синбирском, до тысячи душ.

Государь задумался.

— Дорогонько выходит. Ежели на каждого дать по пяти рублей, значит пять тысяч. Сказывают, там большие рыбные ловли, продай их. Челобитная есть от ярославских торговых людей. Не прошдеши, деньги тебе будут нужны, а я много дать не могу. Как мыслишь Синбирск строить?

— Прошлой осенью, великий государь, я разведаль сие место, — сказал Хитрово. — Над Волгой саженой на сто поднимается великая гора. В полутора верстах от нее течёт другая рука — Свяга. На горе и близ неё спелый сосновый бор, годный на строительство. Город мыслю поставить о шести башнях, две, Казанская и Крымская, проездные, стены на тарахах, со стороны Волги частокол, остальные рубленные.

— А что со всех сторон не сруб? — спросил государь.

— Тяжело земле будет, с горы к Волге оползни случаются. Работные люди потребны, великий государь. Строить надо Синбирск, и черта только начата. Сейчас у меня на Карсуне всего две сотни стрельцов и полусотня казаков.

— Князю Петру Долгорукому отписано в Нижегород нарядить на черту и град Синбирск до пяти тысяч работных людей, взяв с каждого пятого двора по одному крестьянину или бобылю. Если замешкается, будет в ответе! Ты отпиши мне, если что.

Алексей Михайлович встал с кресла, сделал несколько шагов по комнате, остановился, прислушался. Из сеней порывами доносился легкий шумок.

— Слышь, шумят, колобродят каждый о своём, — язвительно произнес Алексей Михайлович. — Нигде от них спасу нет. Я уже приказал двери войлоком обить и сафьяном обшить, всё равно слышно. Тут как-то Федя Ртищев принёс мне свой переклад с фряжского учёного мужа Маккиавели, «Государь» называется. Умно писано: всяк государь одинок, как сирота. Если и можно с кем по душам поговорить, то только с Богом, а среди человек собеседника государю нет. Всяк из людишек норовит вырвать у царя что-нибудь для себя, — Алексей Михайлович сел в кресло, посмотрел на примолкшего Хитрово, улыбнулся и громко вымолвил, обращаясь к комнатному стольнику, который немым истуканом стоял возле двери: — Степан, кликни дьяка Волюшанинова! — дьяк резво вошел в комнату и привычно ткнулся лбом в пол. — Указ готов? — спросил Алексей Михайлович.

— Готов, великий государь!

— Тогда иди и объяви для всех с крыльца. И ты, Богдан, ступай!

Хитрово нагнулся к милостиво протянутой царской руке и, жарко дыхнув, поцеловал потную ладонь Алексея Михайловича.

Выйдя из царской комнаты, дьяк Волюшанинов преобразился, стал выше ростом, могучее статью, свиток с царской грамотой, который он нёс на вытянутых руках, заставил бояр окольничих и думных дворян отшатнуться к стенам и освободить дорогу государеву глашатаю. Следом за Волюшаниновым шёл слегка остолбеневший от происходящего Хитрово, а за ними двигались лучшие люди. Их появление смело с крыльца площадных стольников и стряпчих. Дьяк развернул начало грамоты и громко стал выкрикивать:

— Божьей милостью царь и великий князь Алексей Михайлович, всея России самодержец, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Лифляндский, Удорский, Обдорский, Кондинский и государь и обладатель повелел за многия труды, за Керенскую службу, за городовое и засечное строительство, да за Карсунскую службу и засечное строительство пожаловать полкового воеводу и стольника Богдана Матвеевича Хитрово в окольничие и дать ему восемьдесят рублей и триста четей земли в каждом поле в Царевом Сенчурске! А тебе, страднику, — провозгласил дьяк вырывавшемуся из рук стреляющих стрельцов Дубровскому, — ни в какой чести не быть, за облыжные наветы великий государь велел тебя послать в тюрьму!

Вскинувшегo было Дубровского джиге стрельцы замяли и поволокли прочь от царского крыльца.

Стоявшие на крыльце лучшие люди стали возвращаться в переднюю, скоро должно было начаться заседание думы. Расталкивая стольников, к Хитрово протиснулся брат Иван.

— Наша взяла! — горячо воскликнул он, стискивая Богдана в своих объятиях. — Иди, брат, скоро государь выйдет. Сразу возвращайся домой, я всех своих оповещу. Ох, и пир сегодня закатят Хитрово!

В палате, где должно было начаться думское собрание, царил обстановка важной серьёзности. Сначала бояре заняли свои места на лавках возле стены, и ближе всех к трону — князья Черкасские, Воротынские, Трубецкие. За боярами степенно заняли свои места окольничие, за ними — думные дворяне и дьяки.

Хитрово вошёл в палату, и все устремили на него взгляды. Одни смотрели на него, как на выскочку, худую кость, случаем вошедшего в милость царю. Другие, это были думные дворяне, которым окольниковство вряд ли светило, злобясь, ему завидовали. Единственным, кто обрадовался Хитрову, был Федор Ртищев. С ним рядом и сел на парчовую лавку новый окольниковый.

Двери палаты отворились и, бережно ступая, в неё вошел государь, а за ним, отстав на полшага, следовал дворецкий боярин Морозов. Все поднялись и поприветствовали царя земным поклоном. Он сел в кресло в углу палаты и зорко оглядел собравшихся.

— Все ли на месте? — спросил Алексей Михайлович. Опоздавших, тем более отсутствующих, он строго наказывал.

По думе прошелестел легкий шорох, все завозились, запереглядывались. Думные дьяки, которым садиться не полагалось, вытянув шеи, начали пересчитывать думцев по головам.

— Нет князя Григория Ромодановского, — возвестил дьяк Гавренев.

Алексей Михайлович нахмурился: Ромодановский, при многих достоинствах, был склонен к своевольству, пора бы его осадить, но самому делать это не хотелось, и он выжидательно посмотрел на Морозова.

— Может, приставов к нему на дом послать? — предложил дворецкий. Посылка приставов на дом была предупреждением о возможной и скорой опале.

Государь задумался, готовясь вынести приговор, но двери распахнулись, и появился весьма взволнованный князь Ромодановский.

— Не изволь гневаться, великий государь! — воскликнул он, совершив земной поклон. — Добрая весть от воеводы Плещеева из Путивля! — и подал грамоту Алексею Михайловичу.

Царь развернул свиток с начала, но читать не стал и приказал Волюшанинову:

— Огласи, дьяк!

— ...послал гетман коронной Николай Потоцкий в Запороги на самовольных казаков запорожских черкас, на казацкого гетмана Хмельницкого сына своего Степана, а с ним послал польских ратных людей и реестровых казаков полем тысяч с пять, да рекою Днепром в чолнах реестровых же казаков с тысяч пять же. И как-де, государь, те польские ратные люди пришли с гетманским сыном со Степаном к урочищу к Жёлтым Водам, и тех-де, государь, польских ратных людей у Жёлтых Вод самовольные казаки, сложась вместе с татарами, всех побили, а и иных и в полон поймали, а гетманского сына Потоцкого взяли в полон жива...

Новость приятно поразила всех, государь каменно восседавший на своём месте, эрзал в кресле, думные люди заволновались, даже старый князь Черкасский, обычно спавший, уткнувшись бородой в набалдашник своей палки, открыл глаза и приложил к уху ладошку. Известие о казацком восстании на Украине и смычке с ним крымских татар говорило, что всегдашним злодеям Руси этим летом будет не до набегов на русскую землю. Была и еще одна, пожалуй, главная значимость, происходящего на Украине: после смуты поляки удерживали за собой Смоленск и многие исконно русские земли. Их необходимо было отвоевать, и восстание, при благоприятном для казаков развитии, могло бы сильно помочь этому делу, над которым государь и дума мыслили давно. Царь православной Руси с затаённым гневом взирал на то, как его единоверцев преследуют на Украине польские католики и униаты, и все православные патриархи постоянно внушали ему, что этому нужно положить конец.

— Как мыслите, бояре? — спросил Алексей Михайлович.

Боярский ряд, ближний к государю, притих, многие из них были глупы и неграмотны, в думе заседали не по уму, а по праву высокородности. Князь Черкасский опять уткнулся бородой в свою палку и смежил очи. Шереметьев и Трубецкой опустили очи долу, боярин Морозов усмешливо смотрел на них и не спешил высказаться. Наконец, поднялся князь Вяземский, старый вояка, поседевший в битвах с крымцами на засечной черте.

— Великий государь! — молвил он. — Все наши беды от поляков, терзавших Русь во времена смуты. От их козней и нестроение на Руси началось. Слава Богу, мы сейчас не те, что были тридцать лет назад. Казацкий бунтишка на Украине — это знак того, что пришла ляхам пора рассчитаться за смуту, за издевательство над православной верой. Я мыслю, великий государь, надо воевать Смоленск!

Алексею Михайловичу решительность боярина пришлась по душе, он одобрительно посмотрел на него и спросил:

— А нашей мочи достанет воевать ляхов?

— Русская земля силами и богатством не оскудела, — твёрдо произнёс князь Вяземский. — Нужно собрать земский собор, как это бывало, великий государь, при твоём родителе великом государе Михаиле Федоровиче, и взять воинских людей и деньги со всей земли.

Государю предложение боярина пришлось не по душе. Ещё три года назад, когда его, природного царя, на земском соборе утверждали на царство, те, кого он был вправе казнить и миловать, Алексей Михайлович дал себе слово отказаться от соборов навсегда, и если собирать их, то по крайней нужде. Сейчас, по его мнению, скликать служилых и земских людей нужды не было.

— Не надо торопиться, — возразил Вяземскому князь Барятинский. — Мы будем воевать Смоленск, а хан ударит нам в спину. Если воевать с ляхами, то на черте должна стоять рать, способная дать отпор татарам. Нужно помедлить, выждать. Казачишки сегодня с ляхами воюют, а завтра? Киевский староста Иеремия Вишневецкий бывалый воин. Казакам супротив него не устоять. Прошлым летом Кураш-мурза набежал на Белгород, отбили его с великим для татар уроном, потому что там Большой полк стоял и стоит. А если он будет под Смоленском? Что тогда? Татары прорвут черту и через день будут на Оке.

Своими здравыми предостережениями Барятинский охладил думцев. Желающих ему возразить не находилось.

— Решение воевать Смоленск здоровое, но не ко времени, — подытожил мнения боярин Морозов. — У нас мало денег, казна пуста, налог на соль только начал собираться. Нужно копить силы. Великий государь повелел закупить тридцать тысяч мушкетов в Швеции. Это потребует времени. Нужно присмотреться, как у казаков пойдут дела.

— Нечего годить! — снова вскочил князь Вяземский. — Сколько не жди, а без войны Смоленск не взять!

Морозов усмехнулся и ядовито вымолвил:

— Князю не терпится свои деревеньки возвратить из-под ляхов.

Сам Борис Иванович покупал поместья подальше от границ государства.

— Мои деревеньки родовые, — побледнел от гнева князь Вяземский. — А твои, боярин, неведомо как нажитые!

Морозов покраснел и покрылся испариной. Обычно сдержанный и медоточивый, он вышел из себя:

— Смотри, князь, много о тебе мне ведомо! И как беглых людишек у себя укрываешь, и твои гулящие люди в Коломне мятеж учинили у соляного амбара!

— А ты, боярин, погоди! Как бы тебе от соляного налога самому солоно не пришлось!

Государь изволил не допустить, чтобы супротивники принялись сторяча лаять родственников друг друга, хотя был доволен, что князь Вяземский дал укорот Морозову, взявшему в последнее время слишком большую волю.

— Охолоньте, бояре! — нахмурясь, молвил он громким голосом. — Смоленск ещё далеко, так неча идти друг на друга приступом! Дело требует тщательного размысла. Без войны с ляхами не обойтись, но сейчас ещё не время. Будем копить силы.

Ртищев и Хитрово не вступали в прения. Первый был молод и по характеру не лежал к делам воинским, второй ещё не смог в полной мере осушить значения, которое ему дало околичество, пока Хитрово испытывал восторг и прение от высоты своего нового положения при царском дворе.

К государю, воспользовавшись случаем, стали подходить бояре, за ними околичие и думные дворяне с челобитными. Один отпрашивался в отпуск по личным делам, другому потребовалось отправиться в какой-нибудь монастырь для поклонения и молитв по данному им обету, третьи подносили государю калачи, так являли себя именники.

— Тебе надо, Богдан, предстать перед государыней, — сказал Ртищев.

— Как её здоровье?

— Весела, улыбочива, — Ртищев пожал плечами. — Неведомо мне, как живут в царском тереме. Государь увлёкся челобитчиками, сейчас можно удалиться, — они вышли на крыльцо. Площадных стольников перед царским дворцом стало меньше: кто-то был послан с поручением, а кто-то, наскучив стоять, ушёл восвояси. — Ты иди к царице сейчас же, — сказал Ртищев. — Скоро она отправится к обедне.

Ответить Хитрово не успел, мимо него, едва не задев плечом, прошёл рослый дворянин и посмотрел на околичие зло и беспощадно.

— Кто это? — вскинулся, затрепетав от негодования, Хитрово.

— Не вскипай! — остановил его Ртищев. — Это младший брат Дубровского. Злит-ся, бедняга, от порухи родовой честишки. Ступай к государыне.

Если царя ежедневно могли видеть многие лучшие люди, то доступ к царице был строго ограничен. Она, окружённая толпой служанок, монахинь и верховых боярынь, вела затворническую жизнь, покидая свой терем на время важнейших церковных богослужений. Среди близких к царице людей была Анна Петровна Хитрово, тётка Богдана Матвеевича, постоянно жившая при государыне.

Хитрово решил не гнушаться родственными связями и, пройдя мимо двух стремен-

ных стрельцов, которые стояли с алебардами на плечах на царицыном крыльце, вошёл в переднюю. Дежурная служанка встала навстречу окольному и поклонилась.

— Что желает господин?

— Позови государыню боярыню Анну Петровну Хитрово.

Служанка ушла в покои, а Богдан Матвеевич с любопытством осмотрелся. Мужским духом здесь и не пахло. Кругом вышивка, занавесочки, половички, на подоконниках стрельчатых окон герань, бальзамин, ванька-мокрый.

Анна Петровна появилась одетая в летник из черевчатого атласа, на шее у неё была чёрная тесьма, вышитая золотом и унизанная жемчугом, в ушах тяжёлые золотые серьги с алмазами, на руках драгоценные кольца. Тётка была известная всей Москве гордячка, она не проявила никаких заметных чувств к племяннику и выжидающе на него смотрела.

— Будь здорова, тётушка, — поклонился Хитрово. — Мне бы надо предстать перед государыней.

— Знаю, ты получил окольного, — сказала Анна Петровна. — Следуй за мной.

Всего три месяца назад Русь отпраздновала царскую свадьбу. Алексей Михайлович, не без помощи Морозова, был влюблён в жену по уши, и молодые жили душа в душу. Свою ненаглядную Машеньку государь баловал как мог — дарил богатые украшения и различные заморские диковинки. Последним его подарком был немецкий театр механических заводных кукол. Получив его, царица только им и занималась. В свободное от молитв время, накручивала ключиком пружину и смотрела, как на сцене оживают галантные кавалеры, напыщенные дамы и скачут на лошадаках рыцари. Она была так увлечена игрой, что хотя и посмотрела на Хитрово, но не заметила.

— Это новый окольный, государыня, — сказала Анна Петровна. — Богдан Матвеевич Хитрово.

Мария Ильинична оторвалась от забавы и недовольно взглянула на гостя. Она уже вполне усвоила самовластные повадки в обращении с подданными.

— Ты кем служишь?

— Полковой воевода, государыня, на засечной черте, — ответил Хитрово, ничуть не смущенный строгостью царицы: Милославские всегда отличались спесивостью.

Мария Ильинична задумалась, что бы ещё сказать окольному, но ничего не выдумала и отвернулась к своей забаве. Анна Петровна потянула племянника за рукав.

В Кремле от Успенского собора к Спасским воротам стояли громадные хоромы приказов, ведавших всеми направлениями жизни государства. Окольный шёл мимо них к царскому крыльцу, где должен был встретиться с Ртищевым, предложившим ему съездить в Андреевский монастырь на Воробьёвых горах.

Возле приказов было суетно и людно: челобитчики, ходатаи по земским и городским делам, служилые люди всяких чинов и званий, приказные служители, торговые люди, инородцы с окраинных земель и чужеземцы в странных одеждах — все они искали удовлетворения своих просьб и чаяний и всё время находились в движении, уже тогда приказные люди отсылали челобитчиков от одного стола к другому, доводя их до умопомрачения.

— Богдан Матвеевич, годи! — окликнул Хитрово с крыльца челобитного приказа дьяк Гвоздев. — На тебя челобитная явлена от крестьянишек.

Окольный с нужными приказными людьми не чинился, они всегда могли пригодиться. Он поднялся на крыльцо, и дьяк провёл его через большую палату, где трудились с перьями в руках два десятка подьячих, в свою комнату.

— Из какой деревни челобитная? — спросил Хитрово.

— Из Квашенки, — ответил Гвоздев и достал из груды свитков на столе нужную бумагу.

— Так... челом великому государю, что владеет нами Хитрово без дач и держит за собой сильно и правит всякие доходов с нас беспощадно...

— Государю челобитную доносили? — перебил окольный.

Дьяк осклабился.

— Самолично ему вычитывал. Государь повелел отдать челобитную без подписи.

Вот прими.

Выйдя из приказа, Хитрово порвал бумагу в клочья и пустил по ветру. Андреевский монастырь, который Фёдор Ртищев построил на Воробьёвых горах своим иждивением, был открыт всего месяц назад. В нём, кроме небольшого числа монахов из русских, находились иноземцы: ученые монахи из Греции, Сербии, Болгарии и Украины, которых, по поручению Алексея Михайловича, Ртищев привлек для исправления ошибок в богослужебных книгах. А в них всяких искажений и неточностей накопилось предостаточно, что мешало русской церкви занять первенствующее положение в православном мире, на которое она справедливо претендовала в виду большего, по сравнению с другими церквями, числа верующих и мощи Русского государства.

Ртищев и Хитрово гнали своих коней во всю прыть и поспели к началу обеденной службы. Приняв благословение от игумена, они вошли в церковь, где уже собралась монастырская братия, справщики и переписчики книг. Церковь была невелика, но, стараниями Ртищева, богато изукрашена. Некоторые иконы для нее написал славный изуграф Ушаков, над иконостасом работали лучшие резчики по дереву, священные сосуды, паникадила были выполнены из серебра. Началась служба, и душа Хитрово покинула бrenную землю и устремилась к горним пределам.

Богдан Матвеевич был искренне верующим человеком с большими знаниями церковных обрядов, святых книг и святоотеческих обычаев. Как и Ртищев, он с шестилетнего возраста начал проходить курс древнерусского образования, или словесного учения. По заведенному порядку его сначала посадили за букварь с титлами, заповедями и кратким катехизисом. Через год ему стало доступно чтение часовника, затем псалтыри, «Деяния апостолов». Затем Хитрово изучил нотную богослужебную книгу Октоих. К десяти годам он мог бойко прочесть в церкви часы и не без успеха петь с дьячком на клиросе по крюковым нотам стихир и каноны. Ему было хорошо ведом чин церковного богослужения и все претензии, которые он вызывал у иноземных православных людей. Хитрово впоследствии изучил латынь, прочёл много немецких книг, но ни на гран не пошатнулся в вере. Она была ограничительным стержнем его существования во все дни его жизни.

После обедни игумен повел Хитрово и Ртищева по монастырю. Он был небольшим, но уютным. Кроме церкви во имя Святого Андрея Первозванного, в нём строился ещё один храм, тоже деревянный из соснового бруса. Монашеские кельи были населены, над поварней и мьельней вился печной дымок. Монахи после службы принялись за прерванную работу, довершивали бревенчатую городьбу вокруг обители. Невдалеке от скотного двора и конюшни артель мирских плотников строила огромную бревенчатую избу с двумя выходами — в монастырь и за городьбу.

— А это что за изба? — спросил Хитрово игумена.

— Фёдора Михайловича человеколюбивая задумка, — ответил монах, пряча в густой бороде лукавую усмешку, которую Хитрово успел заметить.

Он повернулся к Ртищеву и вопрошающе на того посмотрел.

— Убережь хочу хоть малую толику народа от злосчастной гибели, — сказал Ртищев. — Горе меня мучает, что народ гибнет почём зря, когда напѣтс до беспамятства и падает прямо в снег и грязь возле кружал. Каждый день к Земскому приказу свозят трупы замёрзших или утонувших в грязи. Вот и замыслил я сотворить службишку из десятка людей, кои подбирали бы на улицах упившихся и привозили сюда. И больных обезноживших сюда бы свозили. Государь мою затейку одобрил.

— Тут десятком возов не обойтись, сотни мало, — сказал Хитрово, немало удивлённый поступком Ртищева. — А на Масленицу и тыщи не достанет.

— Знаю, что мало, — сказал первый русский благотворитель. — Это начало. Другие достаточные человеколюбцы помогут.

— Ой ли! — усомнился Хитрово. — Государь Иван Васильевич, будь он не к ночи помянут, говаривал: народ что трава — чем его крепче топчешь, тем он гуще растѣт.

— Нам, слава Богу, выпало жить при Алексее Михайловиче, — сказал Ртищев. — Такой государь — великое счастье для подданных.

Для справщиков и переписчиков богослужебных книг была построена отдельная изба с большими светлыми кельями, где они работали и жили. В основном это были киевские монахи, хорошо знающие старогреческий язык. Их появление в Москве вызвало среди обывателей враждебные толки, русские люди страшились латинской заразы, им были ещё памятны польские бесчинства во времена Смуты. Отторжение киевляне вызвали и среди образованных русских. Недавно на Ртищева в Благовещенском соборе плохие слова говорил служка Лучка Голосов: «Вот учится Ртищев у киевлян греческой грамоте, а в той грамоте еретичество и есть. Я у киевских старцев учиться не хочу, старцы они недобрые, я в них добра не нашѣл и доброго учения у них нет». Кто-то донѣс об этом разговоре государю, тот намерился учредить над Лучкой розыск с пристрастием, но уступил Ртищеву, который ни на каких обидчиков зла не держал.

В кельях, где жили иноземные монахи, приятно пахло свежим сосновым брусом. Справщики книг и переписчики работали за высокими конторками. Перед каждым пишущим стояли медные чернильницы с красными и чёрными чернилами, в глиняных горшках топорщились гусиные перья для письма.

Богдан Матвеевич заглянул через плечо справщика и увидел, что он подчеркнул то место в чине богослужения, где указывалось, что хождение при крещении вокруг купели нужно совершать посолонь, то есть по движению солнца, что противоречило греческим правилам. Греки ходили против движения солнца. Справщик найденное разночтение записал на отдельный лист бумаги.

— Государь и патриарх указали сделать перечень противоречий между нашими

и греческими книгами, — сказал Ртищев. — А что дальше, будет решать церковный собор.

— И много разночтений явлено? — спросил Хитрово.

— Разночтений не так и много, но беда в том, что нужно исправлять книги, которые имеются в каждом захудалом приходе. У нас народ верит книге, как иконе, и кто знает, к чему приведут исправления текстов. Надо было заниматься этим до построения книгопечатен, но царь Иван Васильевич другим увлёкся — сводил под корень лучшие боярские роды.

— Ты опасешься, что возникнут раздоры? — напрямик спросил Хитрово.

— Если правду молвить, то страшусь, — задумчиво произнес Ртищев. — Вчера ты видел лопатицкого изгнанника попа Аввакума. Он из тех, кто не уступит из того, во что верует, ни единого аза. Умрёт, но не уступит. И таких много, готовых пострадать за веру.

Они пришли в другую келью, в третью, везде шла работа, шуршали страницы фолиантов божественной мудрости, скрипели перья.

«Что же здесь готовится для Руси? — размышлял Хитрово. — Чем аукнется эта кропотливая работа? Доброе ли дело затеяно?»

Игумен ненавязчиво напомнил о себе, сказав, что сейчас самое время посетить монастырскую трапезную. Хитрово спохватился: сегодня предстоит малое пирование, только для родных, в честь полученного им окольниковства.

— Времени нет, отче, — сказал он. — Нас родичи ждут.

— 4 —

Утром следующего дня Богдан Матвеевич проснулся с несвежей головой. Вчера пирование затянулось до глубокой ночи, гости, братья, племянники и сродники Хитрово радостно отмечали в своём кругу окольниковство старшего рода. Его успех укрепил их в уверенности, что со временем и они достигнут высоких чинов на поприще государевой службы. Иван Матвеевич не скрывал, что метит в окольниковичие, для других виделось место стольника в каком-нибудь приказе или воеводство в богатом торговом городе. С чашами в руках Хитрово многократно славил великого государя, произнося каждый раз его полный титул и стоя навтыяжку. Много раз пили за нового окольниковичего, за Фёдора Ртищева, который способствовал возвышению своего двоюродного брата.

В доме Богдана Матвеевича уже не блюли старорусского обычая выставлять жену хозяина к дверям для поцелуев гостей. Мария Ивановна поприветствовала всех до начала пирования и затем ушла в поварню, откуда руководила доставкой в парадную горницу печёного, варёного, жареного, хмельного и прохладительного. Слуги, которых по пути неприметно сопровождал ключник Герасим, на подносах, в судках и корзинах доставляли на пиршественный стол всё необходимое, повинувшись приказам хозяйки. Парень, взятый в подносчики из конюхов, пытался утаить пирог со стерляжьей визигой, но был немедленно разоблачен ключником и получил здоровенную оплеуху. Другой по дороге упал и уронил поднос с печеньем и тут же был наказан. Но эта сторона пира была неведома гостям, они веселились, что означало есть и пить без всякой меры, сколько в кого влезет.

На Богдана Матвеевича пьяное кружение родственников навевало скуку, но даже наемкнуть на то, что пора, мол, дорогие гости и честь знать, было нельзя, родня бы смертельно обиделась. Выручил его своим простодушным поступком Ртищев. Он встал с чашей в руках и сказал, что благодарит за угощение, но ему нужно в царский дворец. Обычно самые важные гости уходили последними, хозяева удерживали их изо всех сил, а тут окольниковичий и друг Алексея Михайловича ушёл поперед всех. Нечего делать, за Ртищевым скоренько ушли остальные, а Богдан Матвеевич вздохнул и, с трудом раздевшись, упал на широкую скамью.

Проснувшись, он умылся из рукомойника, взял ножницы и подправил бороду. Стукнула дверь, вошёл Герасим, поставил на стол блюдо. Богдан Матвеевич жестом руки отправил ключника вон, сел за стол и взял ложку. Герасим хорошо знал привычку хозяина — поправлять голову похмельным блюдом, ядрёной и острой смесью из ломтиков баранины, смешанных с мелко искрошенными огурцами, огуречным расолом, уксусом и перцем. Съев несколько ложек похмельного, Хитрово почувствовал, как всё его тело покрылось острыми пупырышками озноба. Это означало, что похмельное подействовало и скоро появится привычная лёгкость в теле и ясность в голове.

— Герасим! — крикнул Хитрово. — Что хозяйка?

— Изволит быть у себя, — сказал, всунув голову в дверь, ключник.

— Оседлай Буяна!

Последний день в Москве Богдан Матвеевич собирался провести в служебных хлопотах. Нужно было решить в приказах несколько важных вопросов о строитель-

стве засечной черты и нового города, доложить царю о своём отъезде и проститься с Ртищевым.

Подтаявший снег за ночь не подмёрз, копыта жеребца проваливались в снежную жижу и подскальзывались на бревенчатом настиле мостовой. На выезде из Китай-города в лицо Хитрово ударил порыв сильного ветра, он нагнул голову к гриве коня и хлестанул его плетью. Нищих на Красной площади меньше не стало, но холодный ветер заставлял их жаться за лавками, лабазами и рогожными кулями торговых рядов. Из Фроловских ворот выехал изрядно снаряженный возок, похожий на нарядную избушку: патриарх, отслужив утреню в Благовещенском соборе в присутствии Алексея Михайловича, отправился отдышаться на своё подворье.

Стрельцы в продуваемом проеме Фроловских ворот вскинулись было на всадника, посмеявшегося заехать в Кремль, что было строжайше запрещено, но, узнав окольного, опустили алебарды. На дворцовой площади, как и во всякий день, толпились стряпчие и стольники. Хитрово оставил жеребца у коновязи и медленно пошёл вдоль палат государевых приказов.

Приказ Казанского дворца занимал здание с двух этажами на каменной подклети с небольшими окнами, забранными крепкими решетками. Из подклети доносился разноголосый гомон, в нём содержались узники, обвиненные по делам этого приказа. При неспешке московского судопроизводства многие из них находились в подвале по несколько лет, и там тощали, вшивели и мёрли, не дождавшись решения своего дела. Большое крыльцо приказа было прикрито дощатым навесом. Люди расступились перед окольным, и он прошёл в громадную комнату, где над управлением Казанского уезда и волжского Низа трудились десятка три приказных людей. За этой комнатой была другая, столь же большая, за ней третья и, пройдя, наконец, семь комнат, Богдан Матвеевич проник во владения начальника приказа князя Андрея Вяземского.

Хитрово был многим обязан старому князю, тот всегда отличал его среди прочих стольников и насовещивал ехать на полковое воеводство в Темников. Мысль Вяземского была проста и здрава: «Ты, — сказал он, — во дворце много не вышаркаешь. Дело тебе нужно, Богдан, мужское, воинское. По нему тебе и цена будет. Хватит тебе шаркать взад-вперёд царской дверью да крюк накидывать. Взлетай выше!»

Вяземский стоял за большим столом, заваленном свитками грамот, и читал одну из них. На поклон и здравие Хитрово он не ответил, а стукнул кулаком по столу и заорал:

— Федька, чёрт! Поди сюда! — дверь соседней комнаты отворилась, и оттуда вышел подьячий Фёдор Ерзыев, известный всей Москве пронырливый приказной выжига. — Ты что, сукин сын, на меня опалу великого государя навлечь вздумал! — вскричал князь. — Откуда взялась по приказу недоимка?

Подьячего ругань князя не смутила, он даже бровью не повёл и без запинки ответил:

— Недоимки расписаны. Есть поручные записи должников. А долги образовались из-за дороговизны соли. В Астрахани солить рыбу нечем.

— Ну вот, опять эта соль! — пробурчал Вяземский. — Ладно. Брысь отсюда! — он повернулся к Хитрово. — Садись, Богдан! В ногах правды нет, — Вяземский выглядел усталым, под глазами мешки, взгляд потухший. — Укатали сивку крутые горки, — со вздохом молвил князь. — Вчера, после стычки с Морозовым, упал великому государю в ноги, умолил отставить меня от службы. С четырнадцати лет государям служу, пора и честь знать. Устарел я, стал негоден. Морозов со своей братией, Плещеевым и Чистым, опутали всех тенётами, сил нет на это глядеть.

Вяземский замолчал и мыслью ушёл в себя. Может быть, вспомнил, как подростком отбивался от крымцев за частоколом Гуляй-города под Белгородом, а татары, страховитые в своих вывороченных шерстью наружу тулупах, пёрли со всех сторон на пеший стрелецкий приказ с диким визгом и засыпали русских горящими стрелами. Много раз князь видел смерть, много раз она заглядывала ему в очи, чтобы он не разучился говорить правду всякому человеку, даже великому государю. Вчера в думе он поступил так же. Его не услышали. Оставалось одно — уйти самому, не дожидаясь, пока тебе подставят подножку.

— Уезжаешь? — утверждающе спросил Вяземский. — И правильно делаешь. Я в твои годы Москвы избегал, тускло здесь, маятно. В Москве ты ещё будешь... Ты, я думаю, за деньгами пришел? Федька! Принеси опись расходов Сибирской черты! — Ерзыев подал боярину требуемую бумагу. Тот нацепил на переносье оловянные очки и молвил: — Великий государь указал дать на черту и новый град три тысячи сто пятьдесят рублей. Думаю, в самый раз, потом у тебя свои прибитки найдутся. Пашенным крестьянишкам выдашь по пяти рублей на домовое строение. Указано государем, что первым делом поставить в новом граде, сразу после церкви, кабак, чтобы прибиток в казну шёл.

— Деньги я могу получить тотчас? — спросил Хитрово.

— Какой пряткий! — усмехнулся Вяземский. — Велено выдать тебе тысячу рублей.

— А остальные деньги?

— Эх, Богдан! Да откуда мне ведомо? На Приказе Большой казны Морозов сидит. От него всё зависит. Великий государь указал дать одно, Морозов махом на две трети урезал. А спроси его, он скажет, что копейка счёт любит. Мол, посмотрю, как окольный Хитрово распорядится с тысячью рублей, тогда и решу, давать или не давать ему другую тысячу. Ну, как, берёшь казну?

— А что делать? Беру!

— Федька! Неси казну и кликни пристава! — Вяземский встал с кресла, сделал несколько шагов по комнате. Луч солнца из окошка осветил князя, и Хитрово поразился желтизне его лица. — К тебе кто дьяком поставлен?

— Григорий Кунаков, — ответил Хитрово.

— Добрый дьяк. На черте бывал, дела ведаёт, — в комнату вошли Ерзыев и пристав. В руках у подьячего была кожаная сума. — Вот, получи, — сказал Вяземский. — Тысяча рублей. Печать цела. Федька, возьми с окольного поручную запись, — Хитрово осмотрел печать, оттиск был ровным и ненарушенным. Дал расписку в получении денег. — Возьми двух стрельцов, — сказал князь пристава. — И доставь суму окольному на дом. Ведаешь где?.. Тогда с Богом! — Вяземский налил в малую чашу из кувшина настой чаги и медленно выпил. — Хитрый ты, Богдан! — улыбнулся он. — Не торопись уходить, хочешь всё проведать. Любопытного для тебя у меня ничего нет, разве что князь Василий Петрович Шереметьев скоро будет поставлен воеводой на Казань.

— Слыханное ли дело? — удивился Хитрово. — Шереметьев не ездил дальше своих подмосковных деревень. Сколько себя помню, он всегда на государевом дворе жил.

— Надоел он великому государю своими повадками. Но главное — сын облаынился, бороду сбрил. Алексей Михайлович, как узрел его блудодейный облик, так плюнул с досады. Патриарх встал на дыбы, даром что недужен. Прокляну, грозит, идолово отродье! — засечная черта и новый град Синбирск входили в Казанский уезд, и Хитрово не понравилось, что воеводой назначен Шереметьев. Вяземский понял огорчение окольного и утешил: — Не горюй, Богдан! Князь будет выезжать из Москвы полгода. Пока до Казани доберётся, ты успеешь Синбирск поставить. Шереметьев дела не ведаёт, докучать тебе не будет. Для него Казань — ссылка, станет из неё покаянные челобитные слать, пока государь не помилует. Тем временем и сын бороду отпустит.

— Благодарствую тебя, Андрей Петрович, за отеческое попечение обо мне, хилом, — с чувством сказал Хитрово, поднимаясь со стула. — Век буду благодарен!

Слова окольного растрогали Вяземского, он был стар и чувствителен.

— Ступай, Богдан! Доброго тебе пути!

Выйдя из приказа, Хитрово с удовлетворением обнаружил, что похолодало, мокрый снег затвердел, и в ближайшие дни оттепель вряд ли случится. Это обещало спокойное возвращение по санному пути в Карсун, где он замыслил остановиться до начала похода к Синбирской горе, переждать весеннюю распутицу, собрать под своей рукой всех нужных для исполнения задуманного дела служилых и работных людей.

Поразмыслив над тем, что ему необходимо ещё сделать, Хитрово направился к крыльцу Поместного приказа, который ведал распределением поместий для служилых людей. С началом строительства засечной черты от Инсара до будущего Синбирска у государства появилось много свободной земли, защищённой от набегов степняков, и её стали распределять между дворянами, нуждающимися в поместьях. Хитрово как полковой воевода, ответственный за всё, что происходит в огромном крае, должен был знать о поместном испомещении служилых людей на новых землях.

Начальника Поместного приказа не было на месте, его замещал дьяк Орланов, поседельный на поместных делах.

— Государь многих жалует землицей по Волге. Жалованные грамоты берут, оклад получают исправно, но переезжать на новые места не спешат.

— Отчего же так? — спросил Хитрово. — Места спокойные, черта строится.

— А кто о сём ведаёт? — рассудительно заметил Орланов. — Всем памятно, как десять лет назад калмыки налетели на Самару, пожгли и разбили деревеньки в округе. А что, всё стало тихо?

Хитрово промолчал, ему было ведомо, что калмыки и башкиры нет-нет да и наскочат на новоселов, сожгут строения, утащат за собой на аркане парня или девку.

— Мне из твоего приказа отписывали, что поместные дачи должны получить иноземцы. Как с ними?

Дьяк вышел в соседнюю комнату, где хранились копии жалованных грамот, и вскоре вернулся со свитком.

— Дадено полоцким шляхтичам по сто пятьдесят четвертей в трёх полях. Жалован-

ные грамоты они взяли.

— Что за люди? — спросил Хитрово. — Добрые?

— Православные русские. За ляхами житья им не стало. Волокли их в унию, вот и ушли на Русь.

— Ты их видел? Как они?

— Мужики в силе, у каждого жена, дети. Видится, что не голь перекатная. Им бы крестьянишек, да у тебя ведь безлюдно.

— С этим у нас недостаток, — улыбнулся Хитрово. — Я сам каждого, кто попадётся в Диком поле, на черту ставлю. А что шляхта на поместья не спешит?

— Тепла ждуг и ледохода. Как реки вскроются, так и отправятся, — ответил Орланов.

Поместный приказ был, пожалуй, главным для служилых людей среди других приказов, он давал средства для жизни верхнему слою общества — дворянам. И этот государственный организм в своей работе не имел передышек. С темна до темна в окнах приказа горел свет, подьячие скрипели перьями, ежедневно в него обращались десятки челобитчиков по самым разным и болезненным поводам. Просили новых поместий, выставляя боевые заслуги и полученные в сражениях раны. Частым мотивом просьб было то, что крестьянишки исхудали или разбежались и теперь у дворянина нет мочи нести государеву службу. Самыми жалкими просителями были вдовы и дети погибших или умерших служилых людей. По закону за ними оставалась половина поместья, но бывало, что они его лишались совсем. Челобитные подавались в Поместный приказ, и дальше их, по докладу, разрешал сам великий государь. Много здесь случалось неправд, приказные смотрели на каждого челобитчика, как на дойную корову или, на худой конец, как на козу, от которых можно попользоваться посулом, так тогда именовалась взятка, эта неистребимая родовая зараза русского чиновничества. Одного подьячего за взятый посул, разложив на земле прямо у приказа, били нещадно батогами, а другой под вопли истязуемого совал за пазуху полученные от челобитчика деньги.

В Кремле у Хитрово оставалось самое важное дело: известить царя о своем отъезде на черту и получить от него последние наставления. Сегодня дума не заседала, все дела решались в приказах, но бояре, окольные и думные дворяне толпились в царской передней, всяк со своим умыслом: одни просто лишний раз показаться на глаза государю, другие решить какие-то свои нужды или посодействовать родственнику. В царском дворце нужно было жить, как тогда говорили, каждый день, чтобы не упустить чего-нибудь важного.

Из конат Алексея Михайловича вышел ближний боярин Морозов, улыбаясь во всю тронутую подпалинами рыжины бороду. Разговор с царем получился, не то что вчера, тёплый и доверительный. Царь Алексей не держал долго гнева на людей, обидев кого-нибудь, он спешил помириться и осыпал подарками. Сегодня он ни с того, ни с сего пожаловал своему воспитателю — дядьке доходы с одной подмосковной волости.

— Богдан Матвеевич! — сказал Морозов, подходя к окольному. — Как здрав?

— Челом, боярин, — ответил Хитрово. — Живу, слава Богу!

— Ты у Вяземского был? Я выделил тебе казну на черту. Князь прижимист, держи ухо востро!

— Только что получил тысячу рублей, — ответил Хитрово.

— Тысячу? — удивился Морозов. — Там много больше.

— Я дал поручную запись на тысячу рублей.

— На первое время тебе хватит, а там ещё получишь, — сказал Морозов. — Ты не забывай, мы ведь с тобой свойственники. Чем могу — помогу.

Боярин, улыбаясь, смотрел на Хитрово, но в его глазах вспыхивали острые льдинки. Богдан Матвеевич не стал ломать голову над тем, кто сплутал: Вяземский или Морозов в разговоре с ним. Хитрово видел при дворе и не такое. Здесь каждый поспешал обнести другого сплетней или наветом. Тем и жили, иногда даже очень долго и счастливо.

Государь Алексей Михайлович встретил Хитрово милостиво, он был одет по-домашнему — в лазоревое цвета летник из китайского шёлка, красные сафьяновые ичиги. Алмазы на нашейном золотом кресте вспыхивали и переливались солнечными бризгами.

— Моей Марии Ильиничне понравился твой вчерашний поклон, — улыбаясь, молвил он. — Сказала, что ты не утомил её, поклонился и вышел вон. Иные, как попадают к царице, так норовят измучить её лестью, а то и просьбишками.

— Государыня милостива ко мне, — сказал Хитрово и поясно поклонился.

Царь лукаво посмотрел на него и спросил:

— Ну, и какво быть окольным? Там возле крыльца, — государь указал рукой в окно, — вон сколько толпится стольников. Все тшятся взлететь, да крылья далеко не у всех вырастают. Мыслью, что я в тебе, Богдан, не ошибся.

Хитрово упал на колени и коснулся лбом яркого персидского ковра.

— Великий государь! Все мои помыслы — служить тебе, не щадя живота своего!

— Встань, Богдан, — молвил государь. — Верю, что не ошибся в тебе. Большие дела предстоят, и для них нужны новые люди, такие, кто свободен от воспоминаний времён лжецарей и Смуты.

Слова царя были Богдану Матвеевичу вполне понятны. Алексей Михайлович венчался на царство шестнадцатилетним юношей, и сильные люди — Морозов, Хованский связали его клятвенным обязательством за любые преступления людей вельможных родов не казнить смертью, а только ссылать в заточение. Эта клятва, данная царём Алексеем, так же как и его отцом Михаилом, была для него всегда тягостным напоминанием о допущенном слабодушии.

— Я не в силах долго гневаться на Бориса Ивановича, — сказал царь. — Мой дядька, как себя помню, он всегда рядом. На него жалуются. Сегодня не успел от утрени выйти, суют под нос ворох челобитных. Обложили соль по совету Морозова, а что из этого выйдет, не ведаю, — Алексей Михайлович замолчал и потупился. Любимый кот царя прыгнул ему на колени и заурчал. — У тебя недалеко от нового града Синбирска соляные промыслы в Надеином Усолье. Виноват я перед Надеей Светешниковым, не доглядел, умер гость на правеже. Сейчас промыслами его сын владеет. Ты проведай его дела в Усолье. И отпиши, что он желает.

— Сделаю, великий государь, — сказал Хитрово.

— Град строй, но и другие дела не упускай. Смотри за ясачными людьми, что-то худо от них куньи меха идут. Пользуйся моим указом: кто из язычников примет православие, тот на пять лет свободен от ясачной подати. Но ни татар, ни чуваш к нашей вере не тесни.

— Просьбишка у меня, великий государь, — сказал Хитрово. — На соборную церковь в Синбирске добрый пастырь нужен.

Эти слова пришлось Алексею Михайловичу по душе. Он был истовым христианином и назубок знал церковную службу, так что даже вмешивался в исполнение обрядов, если они неправильно проводились. А такое случалось даже в присутствии царя.

— Скажу Ивану Неронову, чтобы подобрал попа из своего окружения, — сказал государь. — Вчера он мне представил лопатицкого Аввакума, которого с места воевода вышиб.

— Я его видел у Ртищева.

— Как он тебе показался? — заинтересовался Алексей Михайлович. — Может, на Синбирск годится?

Возможность иметь рядом с собой иерея бунташного нрава не вдохновила окольничего.

— Сей протопоп дерзок с начальными людьми. Опасаюсь, как бы он на границе не учинил смуту.

— Ужели он на такое способен? — удивился Алексей Михайлович.

— Тебе ведомо, великий государь, что люди на черте не по своей воле нарушают предписанные церковью обряды. Аввакум в вере неистов, вся опасность в этом.

— Добро, — сказал Алексей Михайлович, чуток поразмыслив. — Неронов даст тебе покладистого иерея. А мне Аввакум своей неистовостью пришёлся по сердцу. Он прав — Богу служить абы как нельзя. У нас много чего негожего накопилось в церкви. Федя Ртищев свой монастырь показал?

— Вчера там был, великий государь, — ответил Хитрово. — Подвигу подобно, как скоро поставлен монастырь.

— С нетерпением жду, когда справщики завершат работу. Книги нужно исправлять, — Алексей Михайлович с улыбкой посмотрел на окольничего: — Говори свои нужды.

— Великий государь, — с жаром произнес Хитрово. — Я премного вознесен твоей милостью! Дозволь завтра отбыть на черту!

— Поезжай с Богом! Я на тебя в полной надежде. Знай, что скоро ты мне будешь нужен на Москве.

В царских сенях бояр и думных дворян не поубавилось. Одни прохаживались взад-вперед, опираясь на палки, другие, разбившись на кучки, беседовали, некоторые, усевшись на лавки вдоль стен, дремали, коротая время до обедни.

Хитрово увлек за собой Ртищев.

— Ты это должен видеть, — сказал он. — Я сейчас от Неронова, он отправился в Троицкий храм на Никитинках. Там закончил настенную роспись Симон Ушаков. Её ещё никто не видел.

Храм находился в Китай-городе. Путь к нему лежал мимо усадьбы Хитрово. Богдан Матвеевич, проезжая возле дома, пообещал себе, что остаток дня проведёт с родными.

Храм во имя Святой Троицы был невелик, но уютен и весьма хорошо освещен све-

том, падающим из высоко расположенных окон. Редкой особенностью этой церкви были стеновые росписи, выполненные в несколько слоёв уже известным в Москве изуграфом Ушаковым со своими учениками, над которыми они трудились несколько лет.

Слух об окончании работ в первую очередь достиг кружка «ревнителей благочестия», и почти все они поспешили увидеть творения славного изуграфа первыми из москвичей. Вонифатьев, Неронов, Ртищев, Аввакум и еще несколько неизвестных Хитрово священников в молчании созерцали, пожалуй, главную в храме роспись Ушакова «Брак в Кане Галилейской». Сам изуграф молча стоял в стороне от зрителей и заметно волновался, зная, что от мнения близких к государю людей зависит многое.

Богдан Матвеевич обладал природным художественным чутьем и сразу определил, что эта роспись отличается по манере исполнения от сложившихся в русской иконописи канонов попыткой приблизиться к западной живописи, которую русское православие весьма не одобряло — за обмирщение библейских сюжетов. В другое время работа Ушакова не встретила бы понимания и, скорее всего, была бы уничтожена, но наступала пора церковного обновления, начатая самим государем, и мнение о «Браке в Кане Галилейской» было одобрительным. Сначала духовник государя Стефан Вонифатьев, затем Иван Неронов поздравили изуграфа с успехом, затем Ртищев и Хитрово присоединились к мнению протопопов. Ушаков похвалами был премного доволен, покраснел от волнения и беспомощно улыбался.

— А ты, Аввакум, что скуксился? Не по нраву? — спросил Неронов у беглого попа, который неодобрительно оглядывал роспись.

— Духа святого не чую, — ответил Аввакум.

Все присутствующие смутились, по сути дела, лопатицкий поп отказал изуграфу в боговдохновении, без которого создание иконы просто немислимо. На Ушакова приговор Аввакума произвёл самое гнетущее впечатление, он подавленно молчал, ужав голову в плечи.

— А ты, Никифор, что скажешь? — обратился Аввакум к стоящему рядом с ним молодому человеку в короткой, чуть ниже колен, шубе, из-под которой выглядывал подол рясы и забрызганные грязью сапоги.

— Судить рано, ведь храм не освящён, — робким тенорком произнёс Никифор, смиренно опустив очи долу.

Аввакум хотел что-то сказать, но сдержался и, раздраженно махнув рукой, пошёл к выходу.

— Не бери во внимание, что сгоряча наговорил Аввакум, — утешающее сказал Неронов изуграфу.

Но Ушакова слова благовещенского протопопа мало утешили, он невольно для себя почувствовал сомнение в своей работе и смотрел на неё без былой радости.

— Тяжёлый человек Аввакум, — произнес Стефан Вонифатьев. — Ему бы только выскочить, ужалить, а всегда ли он прав?

Все разошлись по храму, осматривая другие росписи.

— А это чей поп? — спросил, подойдя к Неронову, Хитрово и указал на Никифора.

— У меня при соборе живёт. Из Нижегородского уезда. Тот же случай, что и с Аввакумом, не угоден стал сильным людям, обличал блудню, понуждал к покаянию.

— И что, он место ищет?

— Много на него хулы наклепали. Сейчас по указу патриарха над ним учинен розыск.

— Жаль разумного попа, — сказал Хитрово. — Розыск кого угодно сведёт со свету.

Иван Неронов всегда искал случая помочь своим подопечным безместным священникам.

— Богдан Матвеевич, возьми отца Никифора к себе на черту, здесь он в ябедах уютен. Кого тебе из Казанской митрополии пришлют, ты не ведаешь, а Никифор добрый поп, и учён, и терпелив, — назначением священников ведали церковные власти, но мнение окольного и полкового воеводы значило очень многое. — Позвать Никифора? — спросил Неронов, которому не терпелось закончить дело.

— Зачем? — отказался Хитрово. — На черте и встретимся. Моё слово за Никифора можешь передать кому следует.

Отец Никифор не ведал, что в это время решается его судьба. Он медленно двигался от одной росписи к другой, до глубины души поражённый увиденным. Ему, посадскому священнику из нижегородской глухомани, всё в этом храме казалось преисполненным истинного благолепия. Его даже пришлось окликать, когда протопопы, закончив смотрины, собрались уезжать.

Хитрово и Ртищев сели на своих коней и не спеша поехали по улице.

— Как прощание с государем? — спросил Ртищев.

— И в мыслях не держал, что великий государь будет так милостив. Добро, что зав-

тра уезжаю.

— Что так? — удивился Ртищев.

— Милость царя одному у многих вызывает злобу. Дубровские косоротятся, да и другие, кого я обошёл околичничеством, премного недовольны.

— Без этого не обойтись, — пожал плечами Ртищев. — Мне завидуют, что я у царя в милости, так я при царском дворе вырос, меня дитём туда привели.

У дома Хитрово они расстались. Богдан Матвеевич заехал во двор, отдал коня конюху и прошёл на половину жены. Она ждала его и с надеждой спросила:

— Ты сегодня будешь дома?

Он посмотрел на неё и улыбнулся:

— Вроде все дела завершил. Как дочь?

— Вчера о тебе весь день жужжала, как пчёлка.

Окно в горнице заметно дрогнуло от близкого удара церковного колокола. Звонили к обедне, звонили по всей Москве.

— Собирайся, пора, — сказал Хитрово. — Я буду у себя.

В это время дня суетная жизнь на подворье околичнического, как и во всей Москве, останавливалась, все, кто только имел силы двигаться, спешили к ближайшим от них храмам, которых в городе было бесчисленное множество. Купцы и другие торговые люди прекращали торговлю, ремесленники откладывали в сторону рабочие инструменты, нищие торопились на паперти собирать милостыню. Сам великий государь Алексей Михайлович, в сопровождении бояр, выходил из дворца и шёл в один из кремлёвских соборов. Вся святая Русь молилась и была единодушна в своей вере в Бога.

Хитрово шли, как этого требовал обычай, к храму пешком. Люди их узнавали и кланялись до земли, здесь на улице они были лучшими людьми, и всяк это понимал. Но неравенство пропадало, когда молящиеся переступали порог храма. И околичничий, и площадной нищий становились на время службы друг другу равны перед лицом всеведущего Бога.

После обедни Богдан Матвеевич поднялся к себе отдохнуть. Три дня в Москве промелькнули для него одним мигмом, и он, лёжа на скамье, застланной азиатским ковром, вспоминал то, что за последние дни с ним случилось. Своей несомненной удачей он считал, что приехал в Москву в спокойное время, ничто не отвлекало государя от взвешенного решения в его местническом деле.

Ключник Герасим знал, что во время отдыха хозяин не имеет привычки спать, и тихонько стукнул в дверь.

— Входи, — негромко сказал Хитрово.

— Господин, там до тебя служилые люди пришли, одеты не совсем по-нашему.

— Скажи, пусть ждут во дворе. Поддай сапоги!

Хитрово подошел к окошку, перед крыльцом стояли несколько человек, одетых по-польски, в жупанах, шароварах, с кривыми саблями, заткнутыми за широкие кушаки. Он надел шубу, шапку и степенно вышел на крыльцо. Увидев околичнического, посетители поклонились, затем вперёд выступил осанистый человек в алом жупане.

— Здравья тебе и твоему дому, околичничий! — важно провозгласил он. — Мы полоцкие шляхтичи, природные дворяне, что поступили на службу великому государю Алексею Михайловичу. Я — Максим Палецкий, а это шляхтичи Гаврила Степанов, Василий Удалов, Сергей Лайков. Великий государь пожаловал нам земли в Казанском уезде, в Диком поле. Проведали мы, что это перед чертой, которую твоя милость строит с прошлого года. Мы тех мест не знаем и крепко надеемся на твою помощь и защиту.

Хитрово внимательно осмотрел шляхтичей, все мужи в силе и, судя по одежде и оружию, небедные. Кроме земли, государь пожаловал им денежное содержание: по десяти копеек в день на каждого и по три копейки на каждого члена семьи.

— Мне о вас ведомо, — сказал Богдан Матвеевич. — Я слышал, что до места вы будете добираться водой. Предъявите в Казани воеводе жалованные грамоты. Он нарядит с вами своего дворянина и откащика земли подьячего. Вижу, вы люди добрые, но как без крестьянишек думаете устроиться?

— Великий государь помыслил об этом, — сказал Максим Палецкий. — Отписал нам своих дворцовых, кому десять дворов, кому восемь. Мы не пустыми едем, добро и пожитки имеются. Одна у нас дума, не налетят ли калмыки или башкиры? Обнадёжь нас подмогой, околичничий!

Хитрово задумался. Строго говоря, он не в ответе за Заволжье, куда испомещались шляхтичи, но и оставить их без присмотра было нельзя.

— Добро! — сказал он. — Пущу на лето сотню казаков за Волгу проводить степь. Но вы и сами живите сторожко, не устраивайтесь вразброд, держитесь друг друга. А казаков я pošлю.

Будущие заволжские помещики поблагодарили околичнического, простились с ним и пошли со двора. Хитрово задумчиво смотрел им в след, удивляясь бесстрашию этих

людей, сменивших устроенный полоцкий край на Дикое поле. «Видимо, допекли их ксендзы и униатские попы, — подумал он. — Своя вера сильнее собственной земли».

Богдан Матвеевич вернулся в горницу, призвал к себе Герасима и долго внушал ему, что надлежит сделать по хозяйству. Надо было вступать во владение Царевым Сенчурском, пожалованным ему царём. С этим медлить было нельзя, крестьянишки, прослышав, что из дворцовых они попали в поместные, могли разбрестись кто куда. Нужно было немедленно подыскать им твёрдого приказчика, и Хитрово приказал перевести в новую деревню приказчика из Квашенки, откуда была подана на него челобитная государю, пусть на новом месте проявит свой нрав, даст почувствовать твёрдую руку нового хозяина.

Самому Герасиму Хитрово приказал побывать в родовом имении в Григоровке, его беспокоило, что доходы от него были за прошлый год меньше обычного, и он велел взыскать недоимки с задолжавших крестьянишек, если не уговорами, так батогами и отъёмом имущества, а будет приказчик виноват, то бить его нещадно и разжаловать в обычные холопы.

Сказав всё это, Богдан Матвеевич оглядел стены горницы, в которой он поучал ключника, и распорядился избу, где он жил, развалить и на её месте возвести каменный терем о двух этажах на подклети, как у Ртищева, окольному подобало жить шире, чем стольнику. Кирпичи отпускал Дворцовый приказ по одному рублю за тысячу штук, в том же приказе имелись градодельные мастера, искусные в строительстве каменных хором.

После указа Герасиму Богдан Матвеевич переоделся в домашнее платье и пошёл на половину жены, где пробыл весь вечер, играя с дочкой и беседа с супругой. Никто их не беспокоил, это были редко выпадающие им часы семейного счастья, которые быстро проходят, но запоминаются на всю жизнь.

## Глава вторая

– 1 –

Весна 1648 года в Поволжье выдалась ранней и дружной. Перед днём благовещенья пресвятой Богородицы с Дикого поля подули тёплые ветры, небо очистилось от тяжёлых мурьих туч, и по-летнему горячее солнце пролило на Карсун и его заснеженные окрестности долгожаемое людьми, зверями и птицами благодатное всеоживляющее тепло. Потемневшие сугробы скукоживались, прятались по тёмным местам, где до них не дотягивались солнечные лучи, из-под их снеговой корки начинали, пульсируя, пробиваться ручейки, к вечеру собирающиеся в большие потоки, которые с возвышенных мест устремлялись в низины и буераки.

По ночам ещё крепко подмораживало, к утру подтаявший снег покрывался стеклянной коркой хрупкого наста. В остроге среди казаков и стрельцов было немало охотников, и они стали поговаривать, что сейчас самая пора устраивать травлю на лосей, которых острый наст, ранящий ноги зверю, заставляет отстаиваться в укрытиях. С дозволения своего полусотника молодые казаки на лыжах обошли ближайшие места, но лосей не нашли. Но в тот же день с дальней сторожи, что находилась в пяти верстах от Карсуна, явился караульщик.

Хитрово и дьяк Кунаков стояли на крыльце съезжей избы, когда к ним в ноги ткнулся чумазый мужик в прожжённой во многих местах шубе.

— Кто таков? — спросил воевода.

— Еремейка Хренов! На дальней стороже зимую. Заприметил я следы лосиные нынче, побрёл следом. В полуверсте от сторожи, в леске стоят быки, коровы и телята, — Хитрово вопрошающе посмотрел на Кунакова, он не понял, к чему это известие. — В здешних местах гогают зверя по насту, пока он не изрежет до большой крови ноги и не рухнет, — объяснил бывалый дьяк.

— Что ж, — сказал Хитрово. — Если найдутся охотники на такую забаву, то пусть пробегутся, а то за зиму на лавках залежались. Васятка, кликни сотника Агапова! — казачьего начальника воеводский посыльщик нашёл на конном дворе, где тот спал, завернувшись в тулуп, на соломе, подставив лицо молодому весеннему солнцу. — Солному из бороды повытряхни, — сказал воевода, когда Агапов, помаргивая красноватыми глазами, предстал перед ним. — Караульщик с дальней сторожи прибёг, говорит, недалеко лосей приметил.

С сотника дрёму как рукой сняло, его взгляд приобрёл осмысленное выражение.

— Седни ввечеру надо выезжать, чтобы спозаранку обложить стадо. Они с утра задрёманные, не враз учуют. Скликать ловцов?

— Может, и мне с ними пойти? — спросил воевода Кунакова. — Как мыслишь?

— Стоит ли, Богдан Матвеевич? Не господская это забава бежать взапуски с лосем

по талому снегу.

— Добро, — сказал Хитрово. — Раз дьяк мне воли не даёт, поезжай, Агапов, старшим, и чтоб там без баловства!

Говорили о гоньбе лося по ледяному насту многие, но дошло до дела, и желающих оказалось всего четверо — один алатырский стрелец и три казака, все молодые, здоровые парни, только Агапову было лет под тридцать. Он всем распорядился, дал караульщику лошадь и отправил его на сторожу, высматривать, останутся лоси на месте или уйдут и как далеко. Еремейка должен был известить обо всём вечером, а пока занялись лыжами — снегоступами, которые в остроге имелись для караульных и охотничьих нужд. Сотник из них выбрал те, что пошире, с подбивкой по низу лосиной шкурой, проверил немудрящие крепления и, где они были негожи, указал подправить.

Сёмке Ротову надо было идти за парой гвоздей в кузню, с неохотой он пошёл и встретил того, кого больно было видеть — брата, которого вывели из ямы острожной тюрьмы. Фёдка Ротов, убийца своего товарища за игру в «зернь», всё ещё не дождался думского приговора. Его открыли из тюрьмы, чтобы он убрал за собой, а то в яме стало жить невпродых, так она завоняла. Фёдка деревянной лопатой соскребал свои шевяки со дна ямы и выносил их наружу. Увидев Сёмку, он бросил лопату и кинулся к нему со всех ног.

— Сёмка, брат! — со слезами в голосе вскрикнул он. — Эх, брат! Сколько дней тебя не вижу, куда ты запропал?

— С обозом в Казань ходил, только вернулся.

— Эх, брат! Я столько всего передумал, — горько сказал Фёдка. — Скоро тепло, волей пахнет. Ты подойди ко мне, как стемнеет.

— Не могу, — Сёмка потрянул лыжей. — На охоту иду.

— За лосями, — догадался Фёдка. — Ты смотри, не кидайся на него сразу, как он рухнет. Помнишь, дядю Прохора бык зашиб? В нём силы немерено. Вроде замертво рухнул, а потом как вспрыгнул и копытом дядю Прохора в грудь!.. Тогда завтра приходи!

— Добро, как вернусь, зайду, — пообещал Сёмка и пошёл далё. В кузне Захар откопал в ворохе старья две маленькие железные щепки, загнул и расплющил их на широком конце, и получились гвозди. Тут же Сёмка подбил к лыжне край отставшей от лыжи шкуры и поблагодарил кузнеца.

— Словами сыт не будешь, — сказал Захар. — Жду с добычей, хотя не верю, что такой малец, как ты, с быком совладеет.

— Я не первый раз иду, дядя Захар, — обиделся Сёмка.

— А в какой?

— С отцом ходил.

— Тогда слов нет, сразу видно, что ты в этом деле знахарь!

Кузнец повернулся к наковальне и легонько стукнул по ней молотком, призывая к работе молотобойца, а Сёмка направился к избе, где жили казаки. Задумался над горькой братовой судьбой и чуть не выперся к съезжей избе, где на крыльце по-прежнему стоял воевода. Юркнул Сёмка в сторону и пошёл другим путем. Хоть и молод был, но понимал, что нечего начальнику на глаза лишний раз попадаться.

Богдана Матвеевича в избу не тянуло, душно там, сырым дымом пованивает. А на дворе свежо, дышится просторно, небо синее, белые тучи на нём поигрывают. Карсунское сидение изрядно надоело воеводе, прискучил почти медвежий уклад жизни, хотелось вольного движения, но пока за ограду и носа не высунешь, кругом снега, хотя уже изрядно изъеденные дневным солнцем и ночным морозом.

Последние дни Хитрово в основном был занят писаниной. Направлял грамоты в Казань, Нижегород о доставке работных людей не позже как к дню Святой Троицы, писал в Разрядный приказ, требуя пищалей и затинных орудий для Карсунского острога и Синбирской крепости, направил гонца в Темников, чтобы отобрали среди мордвы сотни три крепких лесорубов и, не глядя на распутицу, направили их в Карсун с топорами и трёхмесячным запасом сухарей, толокна и соли. Этих мужиков воевода мыслил отправить сразу же по прибытии на Синбирскую гору валить лес и разделять на брёвна для возведения ограды и самонужнейших изб — воеводской, поварни и пороховой казны.

У ворот громко крикнул воротник, бревенчатые створы закрипели, кто-то явился в Карсун. «Видать, чужой, — подумал воевода. — Может, вестник?» Недалече слышался шум, и караульщики вывели к крыльцу съезжей простолюдина в овчинной шубе. Приезжий в землю поклонился воеводе, затем вытащил из-за пазухи свиток грамоты.

— Кто таков будешь? — спросил Богдан Матвеевич.

— Прохор Першин, боярин, — отвечал приезжий. — Остальное в грамоте прописано.

Хитрово сорвал со свитка печать и развернул её. Глянул в начало письма и удивленно воззрился на Першина.

— Ты моего брата Ивана Матвеевича знаешь?

— Неделю тому простились у него в приказе.

— Добро, — сказал Хитрово. — Заходи в избу! — он прошёл в свою комнату, сел в кресло и, глядя мимо невзрачного Першина, который робко притулился у дверей, крикнул: — Васятка, огня! — денщик схватил кочергу, выкатил из печи несколько раскалённых углей и, дунув на них, зажёл лучину, от которой запалил толстую сальную свечу на воеводском столе. — Надымил, увалень! — недовольно буркнул Богдан Матвеевич и, развернув свиток, прочитал письмо брата. Затем хмыкнул и с интересом посмотрел на Першина. Тот мял в руках свой овчинный треух и смотрел куда-то вкось от воеводы. — Значит ты градоделец? Такой человек мне надобен. Брат пишет, что ты был на Тамбовской черте. Так?

— Поставил близ Шацка несколько острогов, — смиренно ответил Першин.

— Как на Москву попал?

— Я Ивану Матвеевичу всё поведал.

— Знаю, что поведал. А сам сказать можешь? — Першин опять уставился взглядом мимо воеводы и молчал. — Брат сообщает, что ты вино горазд лопать. Так? — спросил Богдан Матвеевич и грозно глянул на градодельца.

— Накатывает иной раз на меня эта зараза, — скорбным голосом произнес Першин.

Хитрово думал над судьбой мастерового человека недолго.

— За пианство, если случится, буду нещадно бить батогоми. Завтра начнешь обмерять и осматривать острог. Сможешь?

— Смогу, воевода.

— Жить будешь у казаков. Скажи сотнику Агапову, что я велел.

Прохор Першин шёл следом за Васяткой и был премного доволен. Воевода его не прогнал, дал дело, за ним закреплено денежное содержание в двенадцать рублей на год, которые велено получать семье, пока он будет на засечной черте. На последнем он настоял сам, когда давал поручную запись в Разрядном приказе, чем немало удивил Ивана Хитрово. Жена Першина взяла за мужа задаток и дала ему пятьдесят копеек на житьё. С этими деньгами Прохор и прибыл в Карсун.

Казаки толпились подле своей избы вокруг казана с толоком, каждый со своей миской. Васятка отозвал сотника в сторону.

— Воевода велел поместить градодельца к вам, — сказал он. — И ещё велел не забивать мастерового человека.

Агапов недовольно глянул на Першина, мол, что за птица залетела к ним в казачий стан, его казаки были несдержанны на язык, могла выйти свара.

— Где прикажешь его поместить? Ребята спят вповалку, шагнуть негде.

— Содвинитесь, и будет место. Недолго осталось тесниться, скоро весна.

— Пусть живёт, — сказал Агапов и подцепил из чашки, что держал в руке, полную ложку мучной болтанки.

— Вот и добро, — сказал Васятка. — Живи пока здесь. Скоро на Синбирскую гору пойдём, там всем места хватит. Доволен?

— Ты мне, парень, спроворь что-нибудь поесть. Со вчерашнего дня ни крошки во рту не было.

Васятка заглянул в казан с толоком, там уже было все вылизано дочиста.

— Проворно ложками работают! Ладно, пойдём в поварню, — в низкой прокопченной насквозь избе повар толк в ступе горох, а его помощник чистил котёл. — Дядька Степан, — сказал Васятка. — Покормить бы надо приезжего человека. Он град Синбирск будет ставить.

Повар отставил работу и внимательно посмотрел на Першина.

— Чай, толокно он не станет есть?

— А лучше ничего нет? — спросил Васятка. — С первого раза и толокно. Ещё натрескается его, за милу душу!

— Тады дай ему своего гороха, вон чашу тебе с верхом наложил.

Васятка взял пустую миску и наложил в неё варёного гороха.

— Спасибо, парень! — поблагодарил его Першин, и, отвязав от пояса деревянную ложку, начал есть. Васятка достал свою ложку и присоединился к трапезе.

— А ты, Емелька, зачем на людей уставился! — напустился Степан на своего помощника — Завидки берут?

— Дядька Степан, — сказал Васятка, облизывая ложку. — Кваску у тебя не найдётся?

— Баловник ты, Васятка! — усмехнулся повар. — Попей водички!

Было уже близко к вечеру. Васятка побежал в воеводскую избу, а Прохор Пер-

шин пошёл осматриваться по острогу. Всё, что было здесь, он уже многократно видел в других местах на засечной черте, где пробыл много лет. Приходилось ему ставить остроги, строить надолбы и тарасы на разных участках русской границы с крымским югом. В его роду мужики всегда занимались плотницкой работой, хотя и не прибыльной, но дававшей возможность прокормиться самому и содержать семью. Першин был посадским тяглым человеком, подати платил в государеву казну, но работал всегда в отдалении от своего дома, что находился в Земляном городе за Яузой, близ древесного рынка, где продавались лесные изделия и, между прочим, готовые дома, нужные московским жителям по причине частых пожаров в стольном граде. К двадцати годам он стал умелым плотником, затем старшим артели, выполнявшей крупные плотницкие заказы. Его стали знать в разных приказах как человека, которому можно было доверить сложное строительное дело. Нужда в таких людях появилась, когда государству потребовалось построить на засечной черте десятки новых городов и острогов.

Пограничные воеводы всегда были довольны работой Першина, но имел он нежную привычку — впадал иной раз в пьяный загул. Обычно тихий и покладистый, Прохор становился шумным, дерзил начальным людям и расплачивался за это спяной. Своими привычками он стал известен на всей черте от Тамбова до Белгорода, и когда потребовался градоделец на Сибирскую черту, от него избавились, отослав в Разрядный приказ. Иван Хитрово, сделав Першину грозное внушение, направил его в Карсун.

Першин шёл вдоль ограды острога и всё примечал: колья из доброй сосны, поставлены в двухсаженные закопанные тарасы, между собой подогнаны плотно, помосты — обломы на стенах, с которых ратники отражают приступы неприятелей, — защищены от вражеских стрел дощатыми навесами. Отметил он и худую работу — слабо укрепленные ворота на одном выезде, над ними следовало бы срубить надвратную башню и поместить в ней затинную пицаль. Степняки при набеге в первую очередь пёрли в ворота, тут-то и нужно их встречать мощным зарядом свинцового дроба.

Решив, что основательным осмотром острога он займётся завтра, Першин пошёл к избе, где его определили на ночлег. Там было шумно. Приехал Еремейка Хренов с дальней сторожки и объявил, что лоси не ушли, а только передвинулись с одного края леска на другой, где были ещё необглоданные молодые деревья.

Сборы были недолгими, ловцы надели овчинные шубы и шапки, взяли длинные ножи, сели в запряженные низкорослыми ногайскими лошадьми двое саней и, проводимые любопытными, выехали за ворота острога.

Сёмка Ротов сидел на передке саней, держа в руках верёвочные вожжи, и вглядывался в наступившие сумерки. Мохнатая ногайская лошадка бодро мяла большими копытами ещё не замёрзший снег, пофыркивала и потряхивала длинной гривой. Сани глубоко взрывали крупчатый наст, редкие берёзы белыми привидениями выплывали из полумрака, а за ними стоял стеной непроглядно чёрный хвойный лес. Из него доносился временами тревожный и загадочный шум, это верховой ветер шевелил верхушки сосен, и они, вздрагивая, начинали поскрипывать, потрескивать и бормотать на своём звучном древесном наречии.

Ветер разогнал тучи, и крупно вызвездило. Ночь обещала быть студёной. «Добрый наст будет!» — обрадовался Сёмка и снова загрустил. Судьба брата во многом была и его судьбой, он её переживал, как свою. Они были погодки, Федька на год старше, видно, бедовая доля ему на роду была написана, вырос беспокойным и азартным парнем, во всем искал край, вот и оступися с обрыва. Гадать, к чему его за душегубство приговорит дума, было не нужно, в любом случае кнута Федьке не избежать, а могут и на веску вздернуть или решат утопить, как котёнка, в проруби.

Засечная сторожа возникла нечаянно, частоколом брёвен и собачьим брехом. Над низким, наполовину врытым в землю бревенчатым жильём из волокового оконца струился дым и прыскали белые искры. Охотники вошли в избу, и сразу в ней стало тесно. Второй караульщик, по виду чуваш, сидел возле печи и свеживал куницу. Собака сидела рядом с ним и, роняя с языка слюну, ждала, когда хозяин закончит работу и выбросит для неё тушку во двор.

— Укладывайтесь, ребята, — сказал Хренов. — Как забелеет на дворе, я вас шумну.

Все, кроме Агапова, последовали этому здравому совету, упали на земляной пол, завернулись в свои шубы и вскоре захрапывали, записистывали.

— И часто куница в руки идёт? — спросил Агапов у чуваша.

— Редко, совсем редко, — ответил тот, помещая шкурку на пята, для просушки.

— Те года охота была прибыльней. Распугали зверя, лес валят — гул идёт. Ушёл зверь из этих мест. Белый царь куницу берёт, зайца, белку ему не надо. А где куницу взять?

— Ты вот взял, — сказал Агапов.

— Э-э-э, — пренебрежительно процедил сквозь зубы чуваш. — Третья куница за зиму. А моему двору ясак нужно платить. Чем отдавать?

— Что веру православную не берёшь, тогда от ясака освободят?

Чуваш зло сверкнул на Агапова глазами.

— Освободят на пять лет, а потом дадут тягло вдвое больше ясачного. Эх!

К утру в избе стало душно и смрадно. Задохнувшись под шубой, Сёмка проснулся в испуге, ему показалось, что кто-то его душит. На ощупь, задевая спящих, он добрался до двери и вышел во двор. Хватил морозного воздуха, глянул на блёклые звезды и побрёл обратно. Дверь закрыл неплотно, оставил щель, для продуха. Завернулся в тулуп и закрыл глаза.

Только Сёмка впал в зыбкую дрему, как рядом кто-то заворочался и, спотыкаясь, полез к дверям. Возле печи звякнула кочерга, Хренов достал уголёк, раздул и запалил сальную плошку.

— Будитесь, ребята, пора!

Собрались скоро, подтянули завязки на одежде и обуви, проверили ножи на поясах.

— Меркота! — бурчливо промолвил Агапов, оглядываясь вокруг. И действительно, было мглисто, морозный туман застилал всю округу.

— Скоро ветерком протянет, — сказал Хренов. — Идти неблизко, версты с две.

Все встали на лыжи и пошли за вожатым следом.

За ночь наст крепко подмёрз и легко держал человека. Сёмка решил проверить его на прочность, подпрыгнул что есть мочи и обрушился на ледяную корку. Наст провалился, и Сёмка ушёл по колени в жёсткий зернистый снег.

— Не балуй! — зло одёрнул его сотник. — Звери рядом.

Они поднялись на увал и пошли по его гребню. В низине было мглисто, лишь иногда там угадывались верхи заиндевелых деревьев. Солнце медленно вставало над морозной землёй и было точно слепое, немощно-тусклое. Над его сизовато-красным диском восходил, сияя, розовый столб. Прошло ещё немного времени, и на увал и в низину под ним пролился золотисто-белый свет. Откуда-то издали потянуло сквозняковым холодом, туман стал расслаиваться на тонкие белые пласты и улечиваться.

Вожатый остановился и предупреждающе поднял руку. Когда все собрались вокруг него, он указал на реденький лесок в низине.

— Они там.

Агапов шёпотом распорядился:

— Шубы долой! Пройдём чуток и упадём на них сверху. Еремей! Бегом на сторожу и на санях, с напарником, идите за нами следом. С Богом, ребята!

Охотники побросали шубы на снег и осторожно двинулись дальше. Пройдя сажень сто, они остановились и, повинувшись жесту сотника, устремились вниз.

Сёмка чуток замешкался, поворачивая лыжи, приотстал от товарищей и пошел вниз с небольшой разбежки. Присыпавший наст иней шуршал под лыжами, ледок чуть потрескивал, иногда расходясь трещинами следом за лыжником. Сёмка пристально вглядывался в лесок, где должны прятаться лоси, но ничего не видел, кроме заиндевелых осинков и кустарника. Внезапно раздался треск, а затем будто что-то рухнуло. Алатырский стрелец налетел на затаившуюся под снегом корягу, потерял лыжу и кубарем покотился вниз. И в это мгновение Сёмка увидел, как в леске метнулись тени. Лоси резко поднялись с лёжки, но пока стояли, уясняя, откуда им грозит опасность. Сёмка вылетел на край леска, когда лоси вмах пошли прочь от ловцов, взбивая за собой клубы снежной пыли. Впереди громадными прыжками шёл огромный бык с тяжёлой кожаной сергой — наростом на груди, за ним две коровы и двухлетки — нетели и бычки.

— Отбивай молодняк в сторону! — крикнул Агапов.

Этот возглас был верный, но бесполезный: вожак, опаматовавшийся от первого испуга, сам выбирал, куда ему идти. И он свой путь направлял к лесу, который в верстах четырёх стоял тёмной стеной, за поймой заснеженной реки.

Сёмка не в первый раз участвовал в лосиной гоньбе и знал, что бежать придётся долго, поэтому утишил всколыхнувшееся дыхание и бежал расчётливым шагом. Его товарищи тоже умили первоначальный пыл, погоня предстояла долгая. По Сёмкиной спине прокатилась первая капля пота, затем стало солоно во рту. Он на ходу подцепил рукавицей пригоршню снега и сунул в рот.

Ближе к реке снег стал глубже, здесь были заросли камыша, тростника, низкорослого ивового кустарника, и ветер, сметая сюда снега со всей округи, выстроил на берегу труднопроходимую для лосей преграду. Вожак с разбега ударил грудью в занос, прыгнул и чуть было не завис в снегу, не доставая ногами твёрдой опоры. Бык яростно захрапел, рванулся что было сил из стороны в сторону, обрёл копытами землю, снова прыгнул, опять чуть было не завис, но всё-таки прорвался через снежно-прутяную засеку.

Коровам, нетелям и бычкам повторить путь вожака было труднее. Бык уже пёр, круша сухими ногами ледяной наст, по реке, а они пробивались по его следу через

опасный занос. Хотя лось своим телом умял наст, им пришлось нелегко, рассыпчатый снег был глубок, за ноги цеплялись ивовые и камышовые прутья.

Сёмка оглянулся по сторонам, он шёл впереди всех, ненамного отставал от него сотник, другие явно не торопились. Такое на охоте случается: вызовутся гнать зверя, а потом через пару сотен саженой скисают, жила оказывается тонка для этого дела. Но Сёмку это не огорчило, помощники ему не требовались, загонять лося вдвоём сподручно, когда ловцы идут по следу с равным умением.

Выбежав на берег реки, Сёмка увидел наискосок от себя растянувшееся стадо. Наст на льду Барыша был неглубок, но стеклян и остёр, звери этого пока не чувствовали, кожа на их ногах была толстой и прочной. Сёмка протер рукавицей глаза, ему показалось, что третий с конца лось идёт как-то не так. Вгляделся пристальней, нет, почудилось, и он побежал вдогонку.

Солнце поднялось уже высоко и начало светить в свою полную огненную силу. Но светило не только солнце, отражая его потоки, ослепительно сияла покрывавшая снега ледяная корка наста. Сёмка надвинул пониже шапку на глаза и почувствовал, что ему по-настоящему становится жарко. Но это было только начало охоты, настоящая гоньба едва началась.

Какое-то время стадо бежало по реке, затем вожак неожиданно рванул к берегу и стал отчаянно пробиваться через заваленные снегом кусты. За ним эту преграду преодолевало всё стадо. Когда Сёмка побежал к этому месту, то понял, что вожак недаром пошёл таким путем: недалеко от берега дымилась промоина.

Выбравшись на берег, он в первый раз внимательно осмотрел тропу, пробитую лосями в снегу. Здесь его догнал сотник.

— Что видишь? — хрипло спросил он.

Сёмка наклонился, подцепил на рукавицу комок снега и поднёс его к лицу Агапова.

— Что это?

Сотник снял рукавицу, взял щепоть чёрного снега, положил в рот.

— Кровь! — сплюнув мокроту, закричал он. — Погнали, Сёмка, дальше! Хоть один да наш!

Лосиное стадо тоже остановилось и столпилось вокруг быка. Тот, вытянув шею, настороженно глядел в сторону ловцов. Заметив, что они побежали, лось кинулся от них в пойму к далёкому лесу, который проглядывался на окаёме едва различимой мутной полосой. Стадо двинулось за ним следом.

Снег в пойме был много глубже, чем на речном льду, и часто доходил даже рослому быку под самое брюхо. Наст здесь был твёрд и остро стеклян, и Сёмка слышал, как лоси, пробивая себе дорогу, с громким треском ломают копытами, ногами, а то и грудью жёсткую наледь. Теперь ловцы и стадо шли почти вровень, расстояние между ними не сокращалось, но и не возрастало.

Сёмка прибавил ходу, во рту стало сухо, в груди защемило, но он знал, что это скоро пройдёт, в прежние разы на гоньбе с ним такое бывало. Агапов отстал, он был силен, но выносливости ему недоставало, однако сдаваться не мыслил и, обливаясь потом, бежал дальше.

Лоси почувствовали, что Сёмка их настигает, усилили бег, но ненадолго, человек медленно, но упрямо их настигал. Они слышали скрип его лыж, потрескивание наста под его размашистыми шагами, иногда до них доходил чужой едкий запах преследователя.

Когда стадо и Сёмку стала разделять сотня саженой, лосей охватило осязаемое беспокойство, они стали чаще оглядываться назад, сталкиваясь друг с другом, спотыкаться. Бык оторвался от стада и шёл далеко впереди. Сёмка ждал этого часа и увидел: стадо распалось, лоси бросились врассыпную. Он подбежал к этому месту и начал обходить следы по кругу, отыскивая кровавые пятна. Скоро они нашлись, и Сёмка побежал по ним, чувствуя, что начинает ликовать от скорой и неизбежной удачи. «Долго она не выдюжит, — подумал Сёмка. — Ещё версты две-три и падёт... Хорошо, что не бык попался, а корова».

Через малое время он понял, что заблуждался, несмотря на рану, корова была ещё сильна и побегуча. Она крушила один ледяной сугроб за другим и шла, не давая себя настичь. Остальные лоси разбежались в разные стороны, их никто не преследовал. Агапов неторопливо бежал следом за Сёмкой.

Солнце поднималось все выше, и наст слабел. Теперь ловец, хоть и нечасто, стал проваливаться то одной, то другой лыжей, но это было неопасно, снег подо льдом был плотным и человека держал прочно. Корова приходилось хуже, она при каждом шаге проваливалась гораздо глубже и, высвобождая ноги, царапала их об острый лёд. Вдруг она остановилась. Сёмка бросился к ней со всех ног, но лосиха опять рванула вперёд, ушла от преследователя саженой на сто и снова остановилась. Этот рваный бег ловца и зверя продолжался долго.

Далёкий от реки лес стал уже ощутимо близок. Сёмка, смахнув рукой с лица струи пота, вдруг увидел вполне различимую тёмную зелень ёлок и за ними тесный строй высоченных сосен. Лосяха стояла чуть впереди него, её ноги подрагивали частой дрожью, а дыхание было кашляющим и хриплым.

Ослабевшими от многоверстного бега ногами Сёмка сделал несколько шагов вперёд. Корова дёрнулась, пытаясь прыгнуть, и рухнула мордой на снег, который стал медленно окрашиваться в красный цвет. Сёмка вынул из-за пояса нож и, подойдя к корове, перерезал ей ножом горло. Ноги его не держали, он упал на снег рядом с добычей, и в его глазах померк белый свет.

Сотник Агапов так и не добежал до Сёмки, выбившись из сил, он сидел в сугробе, пока к нему не подъехал на санях караульщик Хренов. Еремейка накинул на Агапова шубу и поехал дальше.

— Добрую яловицу добыли! — вскричал он, увидев корову. — Сёмка! Ты что снег нюхаешь? Истомился?

— Легко тебе, старый, на санях развезжать! — сказал, поднимаясь, удачливый ловец. Гордость за себя уже начинала его щекотать. — А где же мои други-сотоварищи?

— Сотник вон под шубой сидит. А те двое на стороже, горячую печку обнимают, замёрзли. А тебе, я смотрю, горячо? Укройся, брат, шубой!

Сёмка надел шубу и подошёл к корове.

— Свежевать надо, — сказал он. — У тебя нож есть?

— Не забыл, не забыл, — засуетился Хренов. — Вот, вчера наострил!

На сторожу они вернулись, когда солнце начало клониться к земле.

— Я воду целый день кипячу, — сказал, встречая их, второй караульщик. — Ключом бьёт!

Он вырезал со спины туши большой кусок мяса, разрезал его на несколько частей и бросил в кипящую воду.

— Отрежь и кинь для меня еще один кусок побольше, — сказал Сёмка, вспомнив о брате.

Два казака, что бросили гоньбу, оправдывались перед сотником, который им выговаривал за их слабосильность.

— Не казаки вы, а бабы! Вот ужо приедем в острог, я вас наряжу в станичный развезд ден на десять!

— Оставь их, Касьяныч! — сказал Сёмка. — Ребята в первый раз бегали, скоро притомились. Я сперва на второй версте задыхался.

Горячее сырым не бывает, мясо ели недоваренным, каждый со своей солью. Кусок лосятини для брата Сёмка завернул в тряпицу и сунул под свою шубу. Никто ему этого не заметил, добытчик имел право и на большую долю.

Над Карсунским острогом стояла простроченная звёздами непроглядная тьма, когда ловцы подъехали к его закрытым воротам. Их поджидали. Воротник распахнул створы и тихо предупредил:

— Воевода присылал о вас проведать. С добычей?

Сотник соскочил с саней и побежал к съезжей избе. Сёмка пошел за ним следом, но в другое место, к брату. Возле тюремной ямы перетаптывался на подмерзающем снегу караульщик.

— Куда прёшь! — загородил он дорогу Сёмке.

— Пусти на час! С братом проведоваться хочу.

— Не велено! — отталкивал Сёмку стрелец. — Проси воеводу!

Сёмка выхватил из-за пояса нож, караульщик от ужаса зажмурился и замолк. Как-то тряхнул его за плечо и протянул на конце ножа кусок только что отрезанного мяса.

— Жри! Соль есть? А я с братом перемолвлюсь.

Федька уже был под дверью. Сёмка снял с неё засов, распахнул и вытащил брата наружу. Караульщик жадно грыз кусок мяса.

— Что расчавкался, отойди подальше! Не трусь, не сбегу!

Сёмка достал из-под шубы и дал брату кус лосятини. Федька схватил его трясущимися руками и поднёс к лицу.

— Скусно воняет!

— Ешь, брат! Я завтра ещё принесу.

— После съем, — сказал Федька и спрятал мясо за пазуху. — Уговориться сначала надо. Сон нехороший я видел намедни. Будто пришёл из Москвы приговор бить меня кнутом до смерти. Уходить надо отсюда, слышишь, уходить!

— Куда уходить? — усомнился Сёмка. — Да и как уйти? Кругом стража.

— Караульщики — плёвое дело, — горячо зашептал Федька. — На тебя, брат, моя надежда! Вот лес залистовет, и уйдём. На Волгу уйдём, к вольным людям!

— Странно, Федя. На Волге казаковать — отца, матери не знать!

— Одному мне не уйти, — горько сказал Федька. — Кто мне тюрьму отворит?

Сёмка молчал. Задумка брата была ему не по душе. Он грезил не о вольном казачестве, а виделась ему в мечтах скорая свадьба с Настенькой, дочерью соседа по темниковскому посаду. Но как выбрать между нею и горькой судьбой единокровного брата правильный путь?

— Я тебе пособлю, — сказал он. — Но сам не пойду.

— Сам хочешь под батогами лечь? Тебя ведь сразу заподозрят в соучастии.

— Стерплю, — ответил Сёмка. — Эка невидаль батоги! Когда уходить думаешь?

— Как завеснеет. Ты не бросай меня, приходи!

Они обнялись, и Сёмка почувствовал, как на его глаза навернулись слёзы.

Караульщик уже дождался мяса и опасно поглядывал на братьев.

— Закрой меня, — сказал Федька. — Иди, брат!

Сёмка выбежал за угол избы и столкнулся с человеком, который что-то бормотал и горестно вскрикивал. Это был священник храма во имя Спаса Нерукотворного, и по Сёмкиному дремучему поверью, встреча с ним, да ещё в потёмках, сулила близкую беду. Он отшатнулся от священника и кинулся со всех ног бежать прочь.

Поп Агафон шёл от воеводы уязвлённый обидой. Только что он застал возле поварни языческое богопротивное действо: казаки толпой сгрудились возле Степана, а повар на дубовой колоде разрубал лосиную тушу, намереваясь добрую её половину сварить в котле. Казаки были веселы и довольны, толокно всем опостылело, каждому хотелось оскоромиться мясным, а ведь шёл Великий пост!

— Вы что надумали делать, грешники! — возвопил поп Агафон и кинулся к Степану с таким рьяным пылом, будто сам намеревался положить голову под мясницкий топор. Казаки плотно сомкнулись спинами и не пропустили попа к повару. Он попрыгал, покричал из-за спин, поколотил в них кулаками и побежал доносить об увиденном воеводе. Агафон забежал в съезжую избу, оттолкнул от стола, за которым сидел Хитрово, сотника Агапова и, упав на колени, со слёзой в голосе поведал об окаянстве, чинимом казаками возле поварни. Богдана Матвеевича эти вопли не смутили, и он холодно промолвил:

— Уймись, Агафон! Неровен час, возгрей подавишься. Григорий Петрович! Зайди до меня! — в комнату вошёл дьяк Кунаков и невозмутимо встал возле воеводы. — Говори дело, поп! И не жуй мякину! — строго промолвил Хитрово.

Агафон опять рухнул на колени и обсказал всё, что зрил своими очами.

Воевода переглянулся с Кунаковым и, помедлив чуток, приказал сотнику:

— Иди и всё проведай. И не спеши, всё проведай!

Агапов внимательно глянул на воеводу и уловил в его глазах лукавую смешинку.

— Григорий Петрович, как мыслишь? На твоей памяти такие случаи бывали?

— Эх, батюшка, Богдан Матвеевич! На моем веку много чего случалось видеть. Что говорить, хоть казаки и на государевой службе, а всё равно народ шальный, необъезженный.

— То и я вижу, что балуют, — со вздохом промолвил Богдан Матвеевич. — Но других людишек, Григорий Петрович, у нас нет. Рады бы других иметь, но где их взять? Или теми, что есть, обходиться будем?

— Придётся этими обходиться, — после долгого раздумья, бросив на Хитрово усмешливый взгляд, сказал Кунаков, — поп Агафон с ожиданием взирал на дверь. Сотник задерживался. — Если помыслить, — продолжил дьяк, — наши людишки не так и худы, только за ними пригляд нужен и крепкая рука...

Закончить государственную мысль Кунакову не дал сотник. Он стремительно вошёл в избу и низко склонился перед воеводой.

— Не успел я, батюшка Богдан Матвеевич! Казаки всё мясо разобрали и попрятали! Вели меня покарать!

Воевода задумался, а поп Агафон ждал с надеждой его решение.

— Вот что, Агафон, выдаю я тебе сотника головою! Хочешь — казни, хочешь — милуй.

Приговор был столь неожиданным, что Агафон растерялся. Он никак не мог уразуметь, говорит воевода серьёзно или шутит.

— На что мне его голова? — наконец вымолвил он. — Буду молиться, чтобы Господь простил нас, грешных, за содеянное.

Агафон переkreстился на образа и, поклонившись воеводе, вышел из избы.

Вскоре вслед за Пасхой в Карсун пришло долгожданное весеннее тепло. Солнце с каждым днем подымалось всё выше и выше, но земля, казалось, согревалась не только его лучами, тепло шло из самого земного нутра, побуждая всё живое расти и набирать жизненных сил. На берегу Барыша покрылись цыплячим пухом зарозовевшие вет-

ки ивняка, лёд на реке потемнел и стал распадаться на большие и малые льдины. Река вскрылась тёплой дождливой ночью как-то тихо и незаметно. К утру она превратилась в быстрый и мутный поток вспененной воды, который нёс на себе грязные льдины, вымытые из берегов островки земли и рухнувшие деревья. Вода шла вровень с берегами и кое-где даже заплескивала за них, заливая низины, и подступала к крутому земляному валу, которым был защищён Карсунский острог с поволодной стороны.

Прошло несколько дней, и вода стала спадать. Со стороны Дикого поля на Карсун дохнуло уже настоящим летним теплом, пойменные луга стали покрываться свежей травой, из почек деревьев вырызнула зелень листьев, а небо заполнили стаи перелётных птиц, возвещавших своими кликами о близком начале лета.

Обыватели острога, насидевшиеся до отупления в избах в зимнюю пору, тоже ожили, зашевелились, задвигались. Казаки, даже те, кому полагалось отдыхать после станичной службы, предпочитали проводить время за стенами острога в лугах вблизи Барыша, где их отощавшие за зиму кони сытились молодой и сочной травкой, а они сами соперничали между собой в стрельбе из луков по уткам и гусям, которых было несчетно много.

За Карсуном, подале от реки, начали весенние работы те, кто обосновался в здешних местах навсегда — переведенцы из Курмышского уезда, стрельцы и пушкари, получившие на домовое строительство и хлебопашество большие участки земли. Этим людям, «служившим по прибору», государство, кроме денег на обустройство, давало ещё значительное денежное содержание, до пяти рублей в год. Взамен от них требовалась служба по защите черты от набегов, если такие будут случаться.

Богдана Матвеевича весьма заботило обустройство первосёлов, и он с недосужим вниманием входил во все их нужды. Переселение на черту проводилось в соответствии с приобретённым вековым опытом обустройства крымской границы. С прежнего места жительства на новое место первыми приходили наиболее здоровые и сильные члены семей переселенцев. Они зимой строили для себя избы и дворовые службы. Их родственники тем временем продавали имущество, дома и весной переезжали на новое место жительства. В успешном укоренении первосёлов многое зависело от воеводы, от его знания всех сторон крестьянского быта и своевременно оказанной им помощи. Поэтому начало сева, первого на карсунской земле, стало для Богдана Матвеевича долгожданным праздником.

Воевода проснулся от тяжёлого гула государева набатного колокола, который помещался над воротами, и его первый удар оповещал о начале нового дня. Хотя на дворе было почти лето, изба за зиму отсырела, и её отапливали, поэтому в комнате было тепло. Призвав Васятку, Богдан Матвеевич умылся, оделся и вышел на крыльцо. Дьяк Кунаков уже его ожидал, чтобы вместе идти к утрени.

— Добрый день будет, — сказал Григорий Петрович, вприщурку глядя на поднимающееся над землей солнце. — Ночью еще людишек прибавилось, пришли триста душ мордвы, что ты затребовал для рубки леса на Синбирской горе.

— Где они?

— Разбили стан на берегу Барыша. Я выдал им два куля сухарей.

— Добро, — сказал Богдан Матвеевич. — Пусть отдыхают. Я займусь ими попозже.

К утрени сходились все наличные обыватели острога, за исключением тех, кто был занят службой. Это было что-то вроде утренней проверки: посмотрит дьяк Кунаков вокруг себя и сразу узрит, все ли на месте. Если заметит, что в людях недочёт, движением указательного пальца призовет к себе стрелецкого полуголова или казачьего сотника и строго спросит, где люди.

Деревянный храм во имя Спаса Нерукотворного был невелик, и все люди, а их число в остроге с каждым днем множилось, не помещались в его стенах. Многие молились на дворе, в храм успевали зайти только те, кто приходил раньше и начальные люди. Поп Агафон начинал службу сразу по приходу воеводы и дьяка. Он не таил на них обиду за попустительство казакам, нарушившим запреты Великого поста, всё это ушло и забылось. Хитрово относился к священнику благожелательно и на храм щедро жертвовал не только деньгами, но и ценными иконами, которые стали главным украшением находящейся на краю русской земли христианской обители. Богдан Матвеевич замечал, что Агафон иногда допускал промашки в исполнении богослужебного чина, но выговоры попу не делал, принимая во внимание, что служит он истово и трепетно, отдаваясь всем своим существом.

В этот раз к утрени пришли поселенцы из слободы близ острога. Сегодня у них был особо значимый день — они намеревались приступить к первому на карсунской земле севу яровой ржи. Крестьяне молились о ниспослании им доброго урожая, чтобы в это лето погоды стояли самые нужные для роста и созревания хлебов и в жизни не случилось ничего такого, что могло бы отвлечь их от крестьянского труда.

Богдан Матвеевич был извещен слободским сотником о начале сева ещё вчера и

после службы, захватив с собой Васятку, поехал в поле. К тому, что должно там произойти, он имел самое непосредственное отношение. Ещё осенью, в разгар строительства острога, он озаботился найти участок ровной и чистой целины и определил её под будущую пашню. Из алатырских стрельцов выделил знающих земледельческую работу пахарей, которые содрали и, как смогли, измельчили с пятью четями никогда не ведавшей сохи земли. На это воеводу подвиг глубоко укоренённый в душе каждого русского человека обычай считать землю своей лишь после того, как он вложит в неё свой труд и она обильно полита его потом.

В поле собрались все крестьяне, и стар, и млад. Воеводу ждали. Когда он подъехал и сошёл с коня, к нему подошёл сотник и спросил:

— Разрешите начинать, воевода?

Ощущая на себе десятки глаз, Богдан Матвеевич подошёл к краю поля, наклонился и взял рукой комок земли. Она была чуть влажной и рассыпчатой, и над самым вспаханым полем колебались потоки восходящего воздуха, наполненные истомным запахом разбухшей от вечной спячки земли.

Хитрово подошёл к рогожному кулю и взял несколько зёрен на ладонь.

— Добрые семена? — спросил он сотника.

— С моего поля. Как сжал хлеб, так и околотил снопы о колоду. Всё, что вылетело, собрал для посева, а остальное в снопах — на гумно.

— Начинайте! — разрешил воевода.

Сотник взял лукошко и подошёл к немощному старику, которого поддерживал под руку седобородый сын.

— Посей ты, дедушка, первую горстку на твое стариковское счастье, на наше безделье. Посей, ради самого истинного Бога!

Старик взял слабой, дрожащей рукой горстку зерна и, покачнувшись, бросил его в землю.

— С почином! С почином! — раздались вокруг весёлые голоса.

Сотник повесил на шею лукошко и босыми ногами ступил на пашню. Перекрестился, неслышно, только для себя, прочитал краткую молитву и начал обеими руками разбрасывать зерно по продольным бороздкам. Пошли и другие сеятели, торжественно и молча совершая обряд соединения земли и семени во имя будущей жизни.

Среди оставшихся на краю поля людей начались разговоры, в которых слышались надежды и сомнения. Крестьяне вспоминали, какие в этом году им случалось видеть приметы: на Рождество Христово был иней длинен и космат — это к урожаю, в Николин день дождя не было — это худо. Богдан Матвеевич слушал разговоры крестьян с улыбкой, столько в них было детско-наивного и родного.

«Главное — почин сделан, — думал он. — На черте вспаханы первые борозды, посеян первый хлеб. Надо отписать об этом государю. Пусть жалует служилым людям поместья. Земля здесь добрая, под Москвой такой не сыскать».

На днях Хитрово получил известие от брата Ивана. Государь Алексей Михайлович совершенно неожиданно пожаловал своему околичному половину Барышской Слободы на Суре, где впадает в неё Барыш, всего чуть менее ста дворов — действительно по-царски щедрый подарок. Брат писал также, что жалованная грамота готова и находится в Поместном приказе. Это известие обрадовало Богдана Матвеевича не только существенным приращением его имущества, но и тем, что государь его не забывает и постоянно держит на примете как нужного ему человека.

Эти мысли побудили Хитрово к действию.

— Васятка, — сказал он, — поезжай поперёд меня. Найди Прохора Першина и доставь в съезжую.

Первый сев вызвал любопытство у обывателей острога. Многие из них взошли на стены и, стоя на обломах, смотрели, как мужики сеют хлеб. Был среди них и Прохор Першин. Васятка залез на стену и встал рядом с ним, разгоряченный спешкой и простоволосый. Ворот суконного кафтана с плеча своего господина был широко распахнут. Прохор, ещё не расставшийся со своей бараньей шубой, сказал парню:

— Ты остерегись. Чуешь, как с реки сквозняком дует.

— Я за тобой, дядька Прохор! Воевода тебя требует на съезжую.

— Зачем зовёт?

— Не ведаю, требует немедля!

Першин засунул руку за пазуху и нашупал там невеликий бумажный свиток.

— Иди, парень, я следом.

Васятка, прыгая через ступеньки, сбежал по лестнице, за ним со стены сошёл Прохор. После приезда в Карсун, он с Хитрово, кроме одного раза, не виделся, занимался тем, что поручил ему воевода, смотрел острог взором опытного строителя. Для начала он счёл всё, что было потрачено на строительство укрепления. И это было не зря, зная заделёе — Разрядный приказ требовал дотошную опись всего, что делалось на засеч-

ной черте, до последнего брёвнышка. Описи Карсуну не было, но мог в любой момент заявиться приказной подьячий и учинить свою. В прежние времена на Тамбовской черте Першин попадал под эту беду, поэтому не ждал, когда нагрянет проверка, считал всё, что есть в наличии, сам и отсылал с первым же посыльным в Москву. Там градодельца знали как честного человека и принимали описи на веру, которой Першин дорожил и гордился. Карсунский острог Прохор описывал с сугубым тщанием, ведая, что в случае проверки ему придётся отвечать за град полностью, хотя больше половины его выстроили другие люди.

— Как прижился в Карсуне? — спросил Богдан Матвеевич, глядя в лысину склонившегося перед ним градодельца.

— С добрыми людьми всегда добро жить, — ответил Прохор, доставая из-за пазухи свои записи.

— Что это?

— Опись, милостивый господин, — сказал Першин. — По твоему указу осмотрел крепостицу и всё счёл.

Хитрово вспомнил, что он поручал градодельцу осмотреть острог, но про опись слов не было. Он взял свиток, развернул его и стал просматривать. Затем хмыкнул и с любопытством посмотрел на Прохора.

— Ты меня удивил. И что, всё счёл?

— Промашки быть не должно, — твёрдо сказал Першин. — Не впервой считаю.

— Занятно, — сказал Хитрово. — Скажи, и сколько кольев в карсунской городье? Першин ненадолго задумался.

— По семь в каждой сажени. Всего будет одна тысяча шестьсот двадцать восемь кольев.

— Неужто всё счёл? — удивился Хитрово.

— Каждый пощупал своими руками, — сказал Прохор. — Коля хорошие.

— Это хорошо, что ты хвалишь чужую работу. А что плохо?

— Негодного ничего нет, — ответил Першин. — Но работы ещё много. Земля в тарасах за зиму просела, надо подсыпать и набивать. Воротную башню требуется срубить и поставить в ней затинную пицаль. Кузню надо убирать из острога на посад, от неё сгорим. Вели, воевода, крепость вычистить от мусора, возле стен завалы щепок!

— Дельно мыслишь, — заметил воевода и призвал к себе Бориса Приклонского, арзамасского городского дворянина, которого он, замыслив отъехать вскоре на Синбирскую гору, поставил на место городского воеводы Карсуна.

— Наш градоделец описал острог, — сказал Богдан Матвеевич, подавая Приклонскому бумажный свиток. — Он дельно мыслит. Займись им, а я крыльцо проведаю.

В остроге было многолюдно. Кроме трёхсот мордовских лесорубов, к Карсуну в последние два дня подошли ещё с полторы тысячи работных людей из Темниковского, Алатырского и Ардатовского уездов. Они расположились становищами вдоль Барыша, наскоро построив себе шалаши из ивовых веток. Многие из них никогда не видели рубленного города — крепости и сейчас ходили по ней, всё рассматривая и дивуясь.

К воеводскому крыльцу собирались начальные люди: приказчики, старосты, сотники. У каждого под началом было по несколько сот человек крепких мужиков, привычных к лесной и земляной работе. Многие из них прошлым летом были на черте, им не нужно было объяснять, что от них требовалось и на этот раз.

Богдан Матвеевич узнал некоторых приказчиков и по-доброму на них посмотрел. Почти рядом с крыльцом стоял алатырский приказчик Авдеев, под началом которого велись работы на инсарской стороне черты, за ним, пряча под кустистыми бровями колючие глазки, переминался староста Миронов из Курмышского уезда, начальник над плотниками, возводившими острог и отпущенными на зиму по домам. Пришёл в другой раз на черту Матвеев из Свяжского уезда, работавший на синбирской стороне черты.

На крыльцо к воеводе вышли Кунаков и Приклонский. За ними из дверей опасливо вытиснулся Першин и встал за спинами начальных людей. Те, кто стояли поодаль крыльца, почувствовали, что начинается серьёзное дело и подошли поближе.

— Все ли явились? — строго спросил дьяк Кунаков.

По людям пошло движение, все запереглядывались, заозирались. Раздались несколько голосов:

— Вроде все!

— Государевы люди! — Хитрово подошёл к перилам крыльца. — Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович доволен вашей работой прошлым летом на черте и жалует своей милостью. Он повелел по прошлым спискам выдать каждому сотнику по три рубля, каждому полусотнику — по два рубля, кузнецам, плотникам, артельщикам — по одному рублю, простым работным людям — по десяти алтын дополнительного жалования к окладу. В этом году великий государь, царь и великий князь

указал поставить град Синбирск и продолжить работы на черте бесценно и безотходно в свои деревеньки. Указано, добрых работников награждать деньгами, нетчиков и беглых нещадно бить батогами и забивать в колодки.

Хитрово замолчал и строго посмотрел на собравшихся у крыльца людей. Те восприняли слова воеводы всяк по-своему: кто потупился в землю, кто смотрел ясным взглядом на воеводу, а кто вроде и смотрел, но нельзя было понять, что он видел.

— Григорий Петрович, — молвил воевода, — огласи наряд на работы.

У опытного дьяка все было загодя расписано. Он развернул свиток и начал вычитывать:

— Темниковским лесорубам идти на Синбирскую гору, валить лес, разделять брёвна в размеры для устройства крепостных стен. Людям Авдеева идти вместе с темниковскими, делать наплавной мост через Свягу, затем рыть ров и устраивать вал вокруг нового града. Старосте Миронову остаться для дел вокруг Карсуна, а после праздника Святой Троицы идти в Синбирск для устройства стен вокруг града, а также государевых изб в самом граде. Свяицу Матвееву с работными людьми работать на синбирской стороне черты.

Дьяк Кунаков свернул свиток и отступил на полшага за воеводу.

— Всем выступать завтра на Синбирск. Кроме работных людей, пойдёт казачья сотня Агапова для проводывания степи от лихих людей. Всем идти кучно, не разбредаться. А теперь свои нужды говорите.

Первым протиснулся к крыльцу староста Миронов, уже известный Богдану Матвеевичу своим дотошным вьедливым нравом.

— Бью челом, воевода, от всех курмышчан — плотников! Не дано нам за то лето тридцать восемь рублей.

— В чём дело, Григорий Петрович? — спросил Хитрово.

— Напраслину возводит староста, — сказал Кунаков. — Всем работным людям жалованье дано. На каждую полушку есть поручная запись.

— Говори, Миронов! — потребовал Хитрово, ничего не уразумев из объяснения хитромудрого дьяка.

— Деньги не даны сполна, — сказал староста. — Дьяк Кунаков так решил.

— Говори дело, Григорий Петрович! — приказал Хитрово. — Совсем меня заморочи!

— Староста удумал лукавую затейку — получить деньги за мёртвые души. У него девять плотников умерли тем летом, а он их по списку провёл как живых.

— В таком разе тебя, Миронов, нужно батогами бить! — грозно сказал воевода. — Ты воровской умысел простёр на государеву казну!

Такой поворот дела поверг старосту на колени.

— Не вели казнить, милостивец! — быстро затараторил он. — Верно говорит дьяк, люди померли, но по уряду они должны были получить полное жалование. Про смерть там не говорено. Умерли кормильцы семей, жёны, дети нищи остались. Про это и бью челом твоей милости!

На строительстве засечной черты мерли многие работные люди. Кто от болезни живота, кто от простуды, кто от побоев. Это было обычным делом.

— Эти люди денег наперёд не брали, — сказал староста. — Умерли осенью, близ Покрова.

Богдан Матвеевич был человеком крутого нрава, но справедливость чтил.

— Где похоронены плотники? — спросил он.

— Здесь в Карсуне, — ответил староста. — Поп Агафон отпевал.

Воевода недолго поразмыслил и решил:

— Оклад будет выдан каждому по день смерти. И сегодня же! Слышишь, дьяк?

Кунаков тяжело глянул на старосту и пробурчал:

— Приходи опосля за расчётом. И другие приказчики пусть приходят.

Кунаков был недоволен решением воеводы. Он считал, что государеву казну нужно всегда держать близ своей мощны. И людишек нечего баловать выплатами, от которых всегда можно отречься.

— Что еще надобно? — спросил Хитрово.

— Надо бы людишкам прокорму добавить, — подал голос алатырский приказчик Авдеев. — Работа тяжёлая — земляная да лесная. У меня, коли правду говорить, в запасе, кроме сухарей и лука, ничего нет.

— К дню Святой Троицы к Синбирской горе подойдёт беяна с солёной рыбой из Астрахани, — сказал Хитрово. — Карсунская хлебная казна не пуста. Говорите людям, что голодными они не будут. А теперь идите по своим станам, собирайте людей, готовьтесь к выходу, — Богдан Матвеевич повернулся, чтобы идти в избу и натолкнулся взглядом на Першина. — Всё доложил Приклонскому?

— Все обсказал, — ответил градоделец. — Я так мыслю, что мне собираться надо в

Синбирск?

— Пойдёшь со мной. Скажи сотнику Агапову, пусть доброго коня тебе даст, — воевода прошел в свою комнату, осмотрелся. Васятка стоял подле него и ждал приказаний от своего господина. — Что, Васятка, с радостью уходишь из Карсуна?

— Я за тобой, господине, как нитка за иголкой. По правде говоря, зима надоела.

Хитрово открыл свой походный сундук. Там хранились необходимая одежда, запасы бумаги, несколько священных книг.

— Перебери всё и повытряси, — сказал Богдан Матвеевич. — Зимнюю одежду вывеси просушить. Завтра уходишь из Карсуна.

Васятка схватил господскую шубу в охапку и понёс во двор, а Богдан Матвеевич кликнул к себе Кунакова, нужно было решить важное дело.

Дьяк был хмур, выдача денег семьям крестьян его огорчила, он считал их почти своими. Всем был хорош Богдан Матвеевич в глазах дьяка, да очень уж честен. Конечно, у него своих поместий много, государь его постоянно жалует, но, как считал дьяк, ему, приказному человеку, грех не попользоваться тем, что проходит через его руки. Всегда так на Руси бывало и пребудет в веки веков.

— Григорий Петрович, — сказал Хитрово. — Надо заканчивать дело убийца Федыки Ротова. Думский приговор получен. Распорядись, чтоб завтра утром совершили казнь, — приговор думы был обычным для такого рода дел: пятьдесят ударов тяжёлым кнутом с острым охвостом из сухой лосиной кожи и высылка в Сибирь, в охотничью ватагу. — Умелец по кнutoбойству у нас есть?

— Имеется от стрельцов, Коська Харин, — сказал Кунаков. — Ждёт не дожждётся заработка. Всю зиму меня пытал, пришёл приговор или нет. Не терпится Коське вина выпить и деньги получить.

Хитрово не был сведущ в производстве казней и поинтересовался:

— Сколько он получит?

— Пять алтын — деньги для него великие. Да полштофа вина до казни и полштофа после.

— А что, Коська Харин давно этим промышляет? — спросил Хитрово.

— На Арзамасе его знают, ведомый кнutoбоец.

— Добро, — сказал Хитрово. — Укажи, Григорий Петрович, чтоб на утро всё было готово.

Васятка этот разговор слышал от начала и до конца. Он вернулся со двора и стоял возле двери комнаты воеводы. Известие о том, что Федыку завтра утром будут бить кнutoм, неприятно его поразило. Ему всегда нравился этот казак, смелый и бесшабашный, в котором он видел то, что недоставало ему самому. После того, как Федыку бросили в тюрьму, Васятка у него неоднократно бывал, иногда приносил что-нибудь из еды. Федыка каждый раз просил его только об одном — сообщить, когда на него придёт думский приговор. Вчера в острог приехал государев человек с вестями. Грамоты лежали на столе дьяка, но Васятка прочесть их не мог. И подслушанный разговор заставил его потихоньку отойти от воеводской комнаты и, не скрипнув дверью, выскользнуть из избы.

Земляная тюрьма находилась за церковью. Время было послеобеденное, натрескавшись толокна, обыватели острога почивали, кому где сподручнее. Казаки бежали от клопов на конский двор и спали в соломе вперемежку со стрельцами, у которых в избах клопы были ещё лютее казачьих. Стараясь не громыхать сапогами по бревенчатому настилу, Васятка дошёл до крайней возле тюрьмы избы и выглянул из-за угла. Караульный спал на пластяной крыше сруба, уставив рыжий клин бороды в белесое небо.

— Федыка! — тихо сказал Васятка в продох подвала. — Отзовись, только не ори.

— Это ты, Васятка? — глухо откликнулся Федыка. — Годи, поближе просунись.

— Федыка, беда! — негромко, но горячо заговорил Васятка. — Явлен думский приговор. Завтра утром будут тебя казнить кнutoм.

Из тюрьмы послышался сдавленный всхлип, затем наступило недолгое молчание.

— Васенька, Христом молю! — заговорил дрожащим голосом Федыка. — Найди Сёмку, пусть, как стемнеет, подойдёт ко мне. Попрощаться с братом хочу. Сделаешь?

— Не горюй, исполню, — ответил Васятка и, уже не таясь, пошёл искать молодшего Ротова.

Сёмку он нашёл на реке, тот бедокурил — шарился в чужих ловлях, пока хозяева спали после обеда. Увидев человека, идущего к воде, он юркнул за куст и притаился, но Васятка его узнал.

— Сёмка! Выходи, я от Федыки, — позвал он рыбного татя. — Не хоронись, я тебя вижу!

— А, это ты, Васька, — развязно сказал Сёмка, вылезая из кустов. — А я прохлаждаться восхотел.

— Знаю я, чем ты промышляешь, — усмехнулся Васятка. — Вот сведает дядька Захар, что ты в его мордах шарить, тогда берегись. У кузнецов кулак тяжёлый.

— А ты откуда про то ведаешь? Али пробовал? Говори, зачем кричал?

— Беда, Сёмка! Фёдке приговор из думы прислан. Завтра его казнить будут.

Известие поразило молодого казака как громом. У него враз ослабели ноги, и он сел на мокрую траву, обхватив голову руками. То, чего он больше всего боялся, завтра свершится. Сёмка знал, зачем его зовёт брат, к чему хочет понудить.

— Добро, — наконец вымолвил он. — Я приду, только ты, Вася, меня не видел. Отойди от этого дела, спрячься и не высовывайся.

— Ладно, я здесь сторона, — растерянно произнес Васятка. — Вы два братана, сами тужите о своей беде.

Хитрово встретил своего денщика недобрым взглядом.

— Где бродишь? Гляди, совсем отбился, неслух, от рук!

— Я на речку ходил, — пробормотал Васятка, стараясь не смотреть воеводе в глаза.

— Что там потерял? — не дождавшись ответа, Хитрово указал: — Сбрую проверь!

Коня отведи к сотнику Агапову. Пусть глянет, не надо ли ковать.

Жеребец у Хитрово, дорогих венгерских кровей, был подкован. Казаки ездили на ногайских конях, те подков не знали.

Васятка побежал исполнять приказ, а Хитрово вернулся к столу, на котором лежал лист бумаги. Государев вестник не был ещё отпущен из Карсуна, ждал отписки воеводы царю Алексею Михайловичу и в приказах.

Богдан Матвеевич сел к столу, но к начатому письму не спешил прикасаться. Не мог он писать великому государю, когда голова вдруг наполнилась думами о жене, дочери Василисе, больной матери. Как там они, всё ли ладно? До отъезда на пограничную черту в долгих отлучках из дома он не бывал. Если отъезжал иногда, сопровождая царя как ближний стольник, то в подмосковные местности — на богомолье в Троице-Сергиевскую лавру или иные монастыри, в государевы деревни или на соколиную охоту, которой Алексей Михайлович любил себя позабавить. На черте Хитрово вкусил сухотную горечь мужского одиночества, отсутствие женского тепла, и свыкнуться с этим ему было непросто. Порывался иной раз написать жене письмо, но тут же одёргивал себя, у людей его круга в заводе не было слать домой известия с других мест. Да и с кем переслать? Государеву вестнику такое дело не доверишь, не дай бог, попадёт неловкое письмецо в чужие завистливые руки, посмешищем сделают. В Польше, скажут, паны своим паненкам пишут, пахучей водой грамоты спрыскивают, а на Москве этого нет, нравы здесь строгие.

На дворе смеркалось. Богдан Матвеевич зажег свечу, подвинул ближе к глазам начатую отписку царю и прочёл: «Великому государю, царю и великому князю его верные холопы окольниковый и воевода Богдашко Хитрово и дьяк Гришка Кунаков челом бьют: в нынешнем 7156 году мая 5 день по совету с приказчиками решили мы идти на Синбирскую гору для устройства там града Синбирск...»

Вдохнув, Богдан Матвеевич обмакнул гусяное перо в чернильницу и продолжил отписку государю. По собственному опыту он знал, что писать нужно немного, но дельно, излагая самую суть. Алексей Михайлович не любил, когда ему пишут пространно и велеречиво, такие отписки он не читал, приказывал дьяку пересказывать самую суть воеводских сообщений. Как-то раз он на такую отписку чухломского воеводы заметил: «Ведичает себя Митькой и челом бьет, а дале слова плетёт, будто персидский царь!»

Пользуясь случаем, Богдан Матвеевич, закончив отписку государю, взял чистый лист бумаги и стал писать письмо Фёдору Ртищеву. В нём он доносил о том, что государю не стал докладывать напрямую, в первую очередь, о волокитстве нижегородского воеводы князя Долгорукого в присылке работных людей на черту. Окольничий Ртищев, в этом Хитрово не сомневался, доведёт до государя его жалобу и проследит за тем, чтобы Долгорукому было сделано внушение. Писал Хитрово и о первом севе яровой ржи, тоже с надеждой, что это станет известно Алексею Михайловичу и порадует государя, потому что тот был большой охотник до сельских работ, и в Приказе тайных дел у него были мастера по изготовлению косуль, которые он щедро жаловал рачительным хозяевам. Богдан Матвеевич в своей калужской Григоровке сам испытал косулю на вспашке и был премного доволен полученными результатами.

Закончив писать, Богдан Матвеевич вышел на крыльцо и с удовольствием вдохнул свежий майский воздух. Было уже темно, от реки и влажных пойменных лугов тянуло сыростью. Обыватели острога спали, стояла тишина, которую по временам нарушал доносившийся с Барыша и Карсунки сварливый ор лягушек. Крупно вызвездило, и Хитрово с интересом смотрел на скопления светил, рассыпанных по тёмно-синему полю неба. Одна звёздочка сорвалась с высоты и устремилась к земле. Богдан Матвеевич перекрестился, памятуя о чьей-то угасшей душе, и пошёл в избу.

Через продох тюремного подвала загадочный прочерк звёздочки видел Фёдка Ро-

тов, он тоже перекрестился и тяжело вздохнул, сожалея о себе. Сёмка никак не шёл, и Фёдка настороженно вслушивался в тишину, пытаясь угадать в ней жданное присутствие брата. Надежда на спасение начала в нём меркнуть. Если Сёмка не придёт, то самому ему не спастись, затворы крепки и неподвластны человеческой силе.

От невесёлых дум Фёдку отвлек шум во дворе, будто шмякнулся на землю куль с овсом. Затем прозвучали осторожные шаги. Фёдка приник к продуху.

– Фёдка! Ты живой? – услышал он горячий шёпот брата.

– Сёмка, брат! Я уже подумал, что ты не придёшь.

– Едва от ночного отбился. Агапов думал меня заслать с конями на луга.

– Освободи меня, Сёмка! Уйду на Волгу, и будь что будет!

Тяжёлый кованый замок лязгнул дужкой, и дверь в тюрьму отворилась. Фёдка ухватился за край лаза, и брат помог ему выбраться наружу. Они обнялись, по щекам узника градом катились слёзы.

– Поспешим! – Сёмка потянул Фёдку за руку. – Иди следом, да не споткнись.

– Погоди, а где караульщик?

– Вон за брёвном лежит.

– Ты что, его зашиб? – поразился Фёдка.

– Не должен. Придушил чуток. К утру оживёт.

Ворота острога были открыты, но выход преграждала тяжёлая дубовая решетка. Воротник спал в своей будке, распластавшись на лавке. Братья пролезли через решетку и скрылись в темноте.

– Куда бежим? – спросил Фёдка, когда они отошли от острога.

– Недалече. Я тебе под берегом коня припас.

– А ты не уйдёшь?

– Нет, не могу. Меня Настя ждёт. Я ей обещал жениться, – сказал Сёмка, ведя брата под берег Барыша.

– Подумай, брат. Из-за девки погибнуть можешь. Завтра меня хватятся, и тебя первым поволокут к воеводе. Был кнут для меня, а станет твоим.

– Помолчи! Вроде кто крикнул, – Сёмка пригнул брата к земле.

Они лежали в траве, напряженно вслушиваясь в звуки ночи, но ничего подозрительного не заметили, вокруг было тихо. Фёдка приподнялся, но тут неожиданно заорали лягушки. Фёдка бухнулся лицом в траву и замер.

– Орут как заполошные, – виновато пробормотал он, услышав смешок брата.

Сёмка спрятал коня в ивняковых зарослях. Заслышав людей, он зафыркал и тихо заржал.

– Бери, – сказал Сёмка, подавая поводья брату. – Я тебе толокно, сухари и соль положил в суму.

– Прощай, Сёмка! – сказал Фёдка. – Может, свидимся. Зря ты не идёшь!

Он ухватился рукой за холку, запрыгнул на спину лошади и скрылся за деревьями.

Сёмка прежним путём пошёл в острог, главным для него было пробраться в острог незамеченным. Это ему удалось: воротник по-прежнему беспробудно спал в своей будке, спали казаки, Сёмка пробрался на свое место и лег на лавку. Завтрашний день его мало тревожил, он решил положиться на судьбу, как она распорядится с его счастьем, так и будет.

Рассвет застал Фёдку Ротова в верстах пятнадцати от Карсунского острога. Он въехал на вершину увала, поросшего сосновым редколесьем, и решил остановиться, чтобы осмотреться, правильно ли идёт. Дорогу ему должно было указать солнце, близкий восход которого уже наметился бледно-розовым пятном на краю неба. Фёдка отвязал с шеи коня суму, раскрыл и нашёл в нём железный котелок. Он осмотрел днище котелка, вроде дыр в нём не было, и, привязав коня, пошёл вниз, отыскивая выход подземной воды. Родник нашёлся между двух белых камней, Фёдка припал к нему сухими, потрескавшимися губами и жадно начал пить. После тухлой тюремной воды ключевая вода показалась ему невиданно вкусной сладью. Напившись, он набрал в котелок воды и поднялся вверх. Конь жадно потянулся к котелку губами, но Фёдка оттолкнул его и сказал: «Потерпи!»

Когда солнце явно обозначилось своим золотистым краем, он хлебал ложкой из котелка тюрю – сухари, размоченные в подсоленной воде, приправленной листьями травы, которые показали Фёдке съедобными. Закончив трапезу, он лёг на землю и закрыл глаза. Несмотря на бессонную ночь, Фёдка не чувствовал себя усталым, только немного кружилась голова от свежего воздуха, пропитанного запахами весны, от хмелящего душу ощущения воли и простора. О том, что произошло с ним, молодой казак не сожалел, прошлое было оставлено и бесповоротно отрублено, как сухая ветка от ствола цветущего дерева.

Из приятного безмыслия Фёдку вывело прикосновение к лицу чего-то мягкого и тёплого. Конь, наскучив стоять, коснулся его щеки губами. Фёдка открыл глаза, об-

нял коня за голову и поцеловал в подглазье.

— Пойдём, сейчас напою вволю!

Он закинул на спину мешок, взял поводья и пошёл в лощину, где извивающийся студенец — родник впадал в ручей. Конь жадно припал к воде, а Федька отошёл чуть в сторону к огромному муравейнику, на котором живым коричневым войлоком шевелились мураши. Он слегка пошевелил муравьиную шерсть ладонью, отчего мураши очнулись и засуетились. Федька поднес ладонь к лицу, и в нос шибануло острым пряным, прочищающим мозги запахом. От неожиданности Федька громко чихнул, конь поднял голову и глянул на Федьку лиловым оком.

К исходу второго дня он стоял на высоком правом берегу Волги. Могучая река, петляя между островов, бережно катила свои пепельно-серые воды на полдень, к Хвалынскому морю. Мимо Федьки с криками пронеслись острокрылые ласточки — береговушки, а неподалеку на тальниковом мысе столбом поднимался белый дымок. Там наверняка были люди, и Федька пошёл к ним, не раздумывая, кто они, добрые или злые.

— 3 —

Тюремный караульщик, придушенный Сёмкой Ротовым, очнулся на исходе ночи. Он ощупал себя и обнаружил, что сабли с ремнём на поясе нет, голова гудела и во рту было сухо. «Утёк, сволочь!» — с ужасом подумал стрелец, мигом представил, что его непременно будут бить батогами за скверную службу. Сначала он хотел заорать благим матом, призывая людей на помощь, но скоро одумался. Узник давно в бегах, схватить его не удастся, что вызовет у начальников ярую злобу, и караульному придётся за это сразу отвечать своей спиной. Он, пошатываясь, встал с земли и побрёл к съезжей избе.

В остроге, кроме порохового погреба и тюремной избы, запоров не ведали. Двери съезжей были распахнуты настежь, видно, дьяку Кунакову стало душно почивать под овчиной, и он решил прохладить жилище, не взирая на комариную рать. Караульщик зашёл в избу, грохнулся на пол и запричитал о побеге Федьки Ротова. Дьяк Кунаков в испуге подхватился с лавки и заорал:

— Кого тут черти принесли? — вскочили со своих лавок Приклонский и Васятка. — Запалите свечу! — крикнул дьяк. Васятка высек огнивом искру, раздул трут и зажгёт свечной огарок. — Ты кто? — спросил, протирая глаза, Кунаков. Караульщик, размазывая по лицу слезы, повинулся в своей оплошке. — Ты узнаешь того, кто на тебя напал? — спросил Кунаков.

— Как узнать? Он на меня с избы упал. Я сразу обеспамятел.

— Васятка! — распорядился дьяк. — Кличь сюда воротников с обеих ворот. Может, они что-нибудь видели.

Парень подхватился и побежал исполнять указание Кунакова. Сердечко у него тревожно постукивало, как бы не развели, что и он причастен к побегу. Воротники уже проснулись и вылезли из своих будок к воротам. Васятка скоренько их подхватил и доставил в съезжую избу.

Кунаков грозно спросил воротников, видели или слышали они что-нибудь этой ночью у проездных ворот. Те отвечали, что службу несли бодро и окаянника Федьку не пропустили бы ни в коем разе. Дьяк кисло на них посмотрел и приказал служивым стинуть с его очей.

Богдану Матвеевичу из своей комнаты была хорошо слышна суматоха на казённой половине избы, но она нисколько не замутнила его радостного утреннего настроения. Да и что может огорчить молодого здорового мужа тридцати трёх лет отроду, когда он полон сил и желания радоваться жизни. Воевода сладко потянулся на лавке и посмотрел в оконце. День обещал быть погожим, судя по всему, на многие дни установилось вёдро. Богдан Матвеевич поднялся с тёплого ложа и, не одеваясь, встал перед образом Спасителя на молитву.

— Что же мне с тобой делать, раззява? — продолжал делать нахлобучку провинившемуся стрельцу Кунаков. — Вот уж воевода выйдет, он тебе пропишет батогов. Будешь знать, что зевать в карауле не след!

Хитрово, одеваясь, слышал, как в ответ на грозные слова дьяка караульщик жалко бормотал оправдания и мокро всхлипывал. Причесав бороду, он открыл дверь и вошёл на казённую половину избы.

— Вот, подивуйся, Богдан Матвеевич! — сказал дьяк, указывая дланью на распро- стёртого на полу стрельца. — Упустил Федьку Ротова! Что приговоришь?

Хитрово сел в кресло и промолвил:

— Поднимись. Нечего по полу бородой елозить! — стрелец встал с пола, но посмотреть на воеводу не посмел. — Экий ты, стрелец, рохля! Григорий Петрович! Этот Коська Харин недалече?

— Коська ждал себе на поживу Федыку, поди, ночь не спал.

Хитрово строго глянул на стрельца и приговорил:

— За худую службу дать караульщику пятьдесят батогов! Васятка, запрети его в кладовку!

Васятка схватил стрельца за рукав и потащил во двор, где стояла рубленая избушка для хранения всякой утвари.

— Такой день сегодня, — сокрушенно сказал Кунаков. — Выход на Синбирскую гору. А тут с утра досада! Не мог Федыка один утечь, был у него пособник. И я знаю, кто это! — Хитрово с интересом посмотрел на дьяка, ожидая, что тот вымолвит. — Скорее всего, ему подсобил брат, Сёмка Ротов. Сей казак мне ведом, нож — парень!

— Это тот казак, что лося загнал? — сказал Хитрово. — Вот как! А я мыслил его пятидесятником поставить. Но откуда такая уверенность, что он подсобил?

— Больше некому. Они — братья. Сёмку подвесить и бить, пока не признается.

Хитрово задумался. Очень уж ему не хотелось портить радостно начавшийся для него день розыском беглеца и его пособников.

— Добро, сознается Сёмка, а что дальше? — спросил воевода. — Как ты мыслишь, дьяк, поймать Федыку? Он, поди, уже в верстах двадцати отсель.

— Всё одно надо бить Сёмку! — упрямылся Кунаков.

— Что ты сегодня разошёлся, Григорий Петрович! Даст Бог, переживём этот случай. Федыка — невелика потеря, отпиши в Сыскной приказ, что он в бегах. Коли его поймут, так суда ему не будет — сразу смерть. Кликни лучше Харина, пусть стрельца выпорют. И делу конец. Как, согласен?

— Твое слово, воевода, — закон. А если промыслить, так потачка другим.

Последнее ворчливое замечание дьяка Богдан Матвеевич пропустил мимо ушей. По его размышлению, он поступил справедливо. Виновник побега найден и будет наказан.

В избу зашёл отлучавшийся ненадолго Борис Приклонский, который уже начал себя чувствовать на Карсуне хозяином. Он обошёл острог, проверяя, как идут сборы в дорогу. Из острога вместе с Хитрово уходили многие люди, но Приклонский об этом не сожалел, знал, что вместо них придут другие, которых он приспособит к делу.

Кузница была одним из важнейших мест в остроге, и её Приклонский навестил первой. Захар ходил по кузне и указывал молотобойцу и подсобнику, что брать и грузить в телеги, которые стояли во дворе. Чурбан с наковальной был уже выкопан из земли и лежал на боку, кузнечные принадлежности уложены в короб, меховые подстилки для спанья и шубы свёрнуты и завязаны в узлы.

— Не много ли забираешь? — сказал Приклонский, осматривая кузню — Где железо для острога?

— Под навесом. Там его на первое время хватит, — ответил Захар. — Дьяк Кунаков истребовал из Казани железные полосы. Должны сплавить сюда по Суре.

Приклонский обошёл вокруг кузни и окончательно решил последовать совету Прохора Першина, перенести её за острог, на посад. Пожар от кузни мог случиться великий, и оставлять её здесь было нельзя.

Возле хлебной избы шла работа. Подъезжали телеги, и стрельцы, хрустя сухарями, грузили на них кули с хлебом, овсом, бочонки с маслом, лубяные короба с солёной рыбой. У дверей избы стояли два приказчика — старый и новый, от Приклонского, и вели учёт, неотступно проводя глазами каждый куль, выносимый из хлебной избы к телегам.

Служилых людей в Карсуне оставалось немного. С выдвиганием границы к берегу Волги он утрачивал своё значение передовой крепости на рубеже Русского государства и Дикого поля, и держать здесь большое число ратных людей уже не имело смысла. Казаки, стрельцы, работные люди засеки уходили на восток, и Карсун становился опорным пунктом земледельческого освоения больших территорий нетронутых плодородных земель. В связи с этим менялись и задачи воеводы, из военного он превращался в гражданского администратора, под рукой которого испомещались, то есть приобретали поместья, служилые люди. Но Приклонский столь далеко не заглядывал, и задачей на этот год для него было продолжение строительства черты, без неё помещики и не подумают заселять эти земли.

Новый воевода знал, что в обычае русских людей превращать отъезд в стихийное бедствие. Отъезжающие смотрят на то, что они не могут взять с собой, как на чужое, поэтому ломают и портят всё, что только можно. На конном дворе оказался сломанный забор, в пустой избе, где жили казаки, в печи пробили дыру, а несколько лавок были сломаны. Приклонский смотрел на этот погром и всё больше мрачнел, спросить было не с кого. Казаки уже были за острогом на широком лугу, где встали временным станом, ожидая приказа на выступление в поход.

— Как в остроге? — спросил Хитрово, увидев в дверях избы Приклонского.

— Помаду отъезжают.

Возле избы послышался шум. Из кладовой выволокли провинившегося стрельца, тот сопротивлялся и кричал благим матом. Кунаков встал с лавки и вышел на крыльцо. Вскоре шум утих, стрелец сник и покорно лёг на землю. За голову и за ноги его держали. Коська Харин взял ивовый прут, несколько раз резко взмахнул им, пробуя на гибкость, и со всего размаху ожёг стрельца поперёк спины. Затем ударил ещё раз, ещё. Стрелец завопил что есть мочи и не прекращал вопить до конца наказания.

Кунаков довольно крикнул и сказал палачу Коське:

— Хорошая работа! Позже зайдёшь в избу за расчётом.

Васятка видел порку стрельца от начала до конца и был сильно испуган. Ему казалось, что вот-вот откроется его участие в побеге Федьки, и придётся ложиться под батоги. Но все закончилось для Васятки удачно, и он, почувствовав прилив радости, поспешил к своему господину.

Богдан Матвеевич в своей комнате одевался по-походному. Поверх золотисто-жёлтого зипуна он надел приталенную с рукавами чуть ниже локтей тёмно-вишневую чугу, подпоясался широким с серебряным набором поясом, за который заложил в дорогах ножнах большой нож.

В комнату за Васяткой вошли два казака, подхватили походный сундук, свернутую в тюки одежду и понесли грузить на телегу. Богдан Матвеевич окинул прощальным взглядом жилище и вышел вслед за ними.

— Всё ли готово к молебну? — спросил он у Кунакова.

— Поп Агафон ждёт, пока мы тронемся, — ответил дьяк. — Народ на лугу весь в сборе.

Хитрово сел на коня и шагом направил его к воротам. За ним, чуть приотстав, ехали Кунаков и Приклонский. Когда Хитрово выехал из ворот, тяжело ударил государев набатный колокол. Его звук далеко разнёсся вокруг. Толпы людей на лугу, расположенные с небольшими промежутками друг от друга, согласно своего предназначения, зашевелились и устремили взгляды к острогу. Воевода, развернув коня, перекрестился на надвратный образ Спаса Нерукотворного и направился к лугу. Выехав на середине перед людьми, Хитрово сошёл с коня, за ним спешили Кунаков и Приклонский.

От острога донеслось молитвенное пение, из распахнутых настежь ворот вышел поп Агафон с иконой Спаса Нерукотворного в руках, за ним диакон и клиросные служки. Хитрово опустился на колени, за ним преклонились и все ратные и работные люди. Начался молебен. Молились о здравии великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, а также о даровании православным людям божьей помощи в трудах по утверждению засечной черты и нового града Синбирска на Волге. Диакон совершил перед иконой каждение, затем первым приложился к ней воевода Хитрово, а далее другие люди, даже чуваш и мордва, кто ещё обретался в язычествах. А таких было немало, свет христианства только-только начал проникать в эти глухоманные пределы, а церковные звоны были редки и не перекликались друг с другом.

Богдан Матвеевич садился на коня, когда к нему подъехал сотник Агапов получить приказание.

— Иди, сотник, до Тагайской сторожи, по пути расставляй махальщиков через каждые две версты, — сказал воевода. — Пустят станицу до Синбирской горы, пусть всё проведуют.

Вскоре казачья сотня на рысях прошла мимо начальных людей по направлению к Тагайской стороже. За ней двинулись в путь темниковские лесорубы, молодые и рослые мужики с топорами, засунутыми за опояски, в армяках и лаптях косоного плетения, какие носили эрзя. Работные люди приказчика Авдеева, из-под Алатыря, тоже были с топорами и выделялись войлочными шляпами на головах и лаптями своего чувашского плетения. За ними низкорослые крепконогие лошадки везли телеги с лопатами, кирками, рогожными кулями с сухарями и рыбой. Замыкали походное строение стрельцы, вооружённые пищальями, которые они несли на плече, одетые в однообразные бурые кафтаны. У каждого стрельца на поясе были сабля, пороховница и ложка.

Вослед уходящим со стен острога махали руками те, кто оставался в нём. Заливчато трезвонил церковный колокол. Кунаков и Приклонский поехали провожать Хитрово до ближайшей сторожи. К ней на протяжении четырёх вёрст из острога шли тарасы, поставленные прошлым летом. Осенние дожди и весеннее половодье сказались на их состоянии, земля в срубках просела, в трёхсаженном рву стояла вода.

— Примечай, Приклонский, — сказал воевода. — Люди тебе оставлены, пора приступать к работам, земля подсохла. Я не совсем ухожу, буду и здесь. Спрос учиню строгий.

— Людишки без дела сидеть не будут, — ответил карсунский воевода. — Только ты, Богдан Матвеевич, всех под себя не забирай.

— Хватит людишек и на Карсун! Скоро подойдут еще работные люди из Нижего-

родского уезда. Дьяк Григорий Петрович остаётся их ждать.

У первой сторожи они расстались. Богдан Матвеевич, сопровождаемый Васяткой, обочь от потока людей и возов отправился вперёд, а Приклонский и Кунаков долго стояли, наблюдая, как в толпе мелькает его высокая красная шапка.

Сёмка Ротов, когда скрылись из глаз стены острога, от радости перекрестился. Он едва смог сомкнуть глаза этой ночью, всё чудилось, что Федьку поймали и уже за ним самим идут стрельцы. Утром он понял, что брат ушёл, правда, страх, что его возьмут в розыск и начнут бить, не проходил до тех пор, пока Сёмка не увидел, как возле съезжей избы бьют батогами тюремного караульщика. Чужое горе освежило казацье сердце надеждой, что беду пронесёт мимо. А когда острог скрылся из глаз, он уверовал в свое счастье и, свистнув, бросился впереди своей станицы вскачь.

Сотник Агапов назначил его старшим над семью казаками. Они должны были идти, не рыская по сторонам, до места, которое было известно как Тагайская сторожа. Она появилась в прошлом году. Во время своих разъездов на ногайской стороне казаки устраивали здесь ночёвки, построив для этого большой шалаш близ двух изб пашенной мордвы, пришедших сюда из-за Суры лет двадцать назад.

К Тагайской стороже казаки подъехали, когда солнце поднялось на свою предельную высоту. Было жарко, и они спешили возле ручья со свежей ключевой водой. Вокруг стояла тишина, крестьяне, пользуясь погожим днем, были в поле. Старая мордовка, оставленная на хозяйстве с ребятишками, копошилась в огороде. Увидев казаков, она приветливо помахала им рукой и снова наклонилась к земле.

Шалаш за зиму пришёл в непригодность, обрушился набок, и надо было строить новый. Сёмка одного казака оставил с конями, а остальных послал за жердями и ветками. Лес был рядом, казаки скоро нарубили лапника, берёзовых жердей и устроили жилище.

— Для себя избу сделали, — сказал Сёмка. — Теперь, ребята, стройте хоромы для воеводы. Да лапник берите погуще и подухмянее.

— Может, сначала потрескаем толокна, да соснём, — предложил кто-то из казаков.

— Ступайте, ребята! — озлился Сёмка. — Неровен час, накостыляю кой-кому взащей!

— Да я не к тому молвил, — сказал любитель полежебочничать. — У наших молодых обычай таков: где просторно, тут и спать ложись.

— Коли ты так востёр, я тебе другое скажу, — усмехнулся Сёмка. — Казак поцелует куму, а её губы зубами хватить и в суму! — казаки расхохотались. — Кончай балаболить! Ступайте за ветками, да пожелательные не тащите, — привлечённые появлением чужих людей из-за изб и плетней стали выглядывать ребятишки, а более смелые подходили ближе. — Идите сюда, ребята, — позвал их Сёмка, — русоголовый паренёк приблизился к нему вплотную и что-то сказал по-эрзянски. — Вот беда! Не понять, что говорит, — Сёмка взял паренёка за руку, достал из-за пазухи сухарь и положил в ладонь. — Это сухарь! Хлеб! — Сёмка достал ещё несколько сухарей. — Иди, отдай ребятам.

Шалаш для воеводы построили с особым тщанием, высокий, чтобы тот мог заходить в него, не пригибаясь. Из жердей, срубив неровности и сучки, сделали лавку и на неё навалили лапника. Сёмка сел на неё и остался доволен.

— Ступайте, ребята, отдыхать, а я здесь завалюсь на боярской перине.

В шалаше свежо и терпко пахло хвоей. Сёмка лег на лапник и сунул под голову шапку. «Где сегодня Федька? — подумал он, смеживая веки. — Может, до Волги добежал, а может, нет. Теперь ему до конца дней придётся обретаться по шалашам да пещерам. Приеду домой, что матери скажу?»

Вечером Сёмка с одним казаком выехали встречать Хитрово, который должен быть близко. Оставшиеся на Тагайской стороже казаки заготавливали дрова для костров, выволакивая из леса в поле на конях упавшие деревья.

Проехав версты три, Сёмка увидел столб дыма. Это казак, посланный Агаповым, запалил костер, указывая, в каком направлении нужно идти людям. Дальше Сёмка не поехал, решил дожидаться здесь.

Первым прибыл Агапов с казаками, за ним явились мордовские лесорубы, далее — алатырцы во главе с Авдеевым, а замыкали колонну стрельцы. Хитрово и Васятка ехали позади всех, чтобы держать людей перед глазами.

Солнце уже скрылось из вида, и повсюду запылали костры. Работные и воинские люди весь день шли без пищи по бездорожному пути. Им пришлось преодолеть несколько речушек, втаскивать возы, помогая коням, на крутые склоны оврагов, проходить через болотины и грязи.

Хитрово весь день не слезал с коня. Хотя особых забот у него не случилось, ему пришлось быть начеку. В начале большого дела воевода должен был показать разумную сметку и твёрдую руку, чтобы внушить людям уверенность в их собственные

силы. И это ему удалось, отставших не было, люди весь день шли весело и ходко и только в конце пути несколько приуныли. Но поспел кипяток в котелках, посыпалось в них толокно, захрустели сухари на зубах, обмелел чуть не досуха выпитый ключевой ручей, и люди повеселели от сытости и возможности вытянуться на подстилках из травы и веток и предаться сну.

Сёмка указал воеводе на приготовленные для него еловые хоромы. Хитрово мельком глянул на них, а на Сёмку посмотрел пристально и тяжело.

— Резвый ты парень, — сказал Богдан Матвеевич. — И за лосем поспел, и здесь впереди всех явился. Недоброе дело, казак, на тебе висит. Куда брат-убивец утёк? Кто ему подсобил? — Сёмка молчал, боясь себя выдать неосторожным словом. Васятка, который был рядом с казаком, окаменел от страха. На миг показалось, что их разоблачили. — Добро, — сказал Хитрово. — Нет часа розыск устраивать. Вот придёт из Карсуна дьяк Кунаков, ему все расскажешь, — Васятка, который держал в руках войлочную подстилку, осмелился подойти и постелить её на еловых ветках. Затем он достал из походного сундука свечку и запалил. — Кликни приказчиков, казачьего и стрелецкого начальников! — приказал Хитрово. — А сам будь рядом, — начальные люди скоро явились и встали перед воеводой. — За первый день всех хвалю, — сказал Хитрово. — Слушайте мое решение на завтра. Ты, Авдеев, утром посадишь добрых плотников на коней и отправишься с ними поперёд нас к Свяге. Станешь наплавливать через реку мост. Мы подойдем к Синбирской горе через день близко к обеду. Сколько у нас, Агапов, свободных лошадей?

Сотник, помыслив, ответил:

— Десятка четыре.

— Вот с утра отдашь их Авдееву. А ты, приказчик, работай без роздыху, и чтоб мост был!

— 4 —

Через день близко к обеду ратные и работные люди, предводительствуемые воеводой Хитрово, вышли в пойму реки Свяги, за которой сразу начиналась Синбирская гора. Она предстала взорам прибывших людей твердыней, которую им необходимо было покорить в самое ближайшее время. По склону горы к её вершине, как ратники в чешуйчатых доспехах, плотно стояли медноствольные сосны. На берегу передовым охранением находились заросли ивняка, а над водой у берега, сторожко улавливая малейшее движение ветра, забежав в реку, стояли чуткие камыши.

Люди Авдеева успели закончить работу к назначенному сроку. Наплавной мост, связанные ивовыми прутьями деревья, укрепленный кольями, забитыми в дно реки, слегка покачивался на поверхности воды между берегами и двумя островами, которые делили течение реки на три протоки. Въезд на мост был расчищен от ивовых кустов, и возле него воеводу встречал приказчик Авдеев.

— Мост готов, — доложил он. — Я послал всех мужиков на ту сторону рубить просеку на макушку горы.

— Вижу, что готов, — сказал Хитрово. — И слышу, что лес рубят. Начнём, с Божьей помощью, переправу!

Сначала на правый берег перешли темниковские лесорубы, за ними переправились стрельцы и часть казаков, затем настала очередь алатырских плотников и обоза. Кони, чувствуя под собой зыбкий настил, вздрагивали, пугаясь, и храпели. Возчики держали их под уздцы, сзади мужики подталкивали телеги. Переправились удачно, кроме опасного случая, когда один конь с перепугу рванулся встать на дыбы, но возчик вовремя повис на нём и не дал рухнуть в воду.

Богдан Матвеевич переходил мост в числе последних. Чуть позади него шёл Васятка, ведя своего и хозяйского коней на поводьях. С левого берега вслед им смотрели несколько казаков, которых воевода оставил для сбережения переправы.

Крутую часть подъёма Хитрово прошёл пешком, следуя по просеке. Алатырцы успели не только свалить деревья, но и отгасили их по сторонам, сделав неширокий, в две сажени, проход в лесу. Далее подъём стал положе, и Хитрово поскакал верхом, обгоняя неспешно идущих людей.

— Першин! Поди сюда! — вполголоса крикнул воевода, заметив градоделца, который шёл в гору, держа в поводу коня.

Дальше был лес, ещё не тронутой прорубкой просеки. Звуки топоров остались позади, Хитрово, Першин и Васятка ехали по сосновому, пронизанному лучами солнца бору, в котором почти не было подроста. Все деревья были одного, примерно векового возраста, золототелые сосны, прогонистые и ровные, с далёкими от земли шапками редких верховых ветвей.

— Есть из чего град ставить? — спросил Богдан Матвеевич.

— Есть, воевода. Добрый лес, в самый раз на срубы для городьбы и изб.

— Вот и распорядись им по-хозяйски.

Они пересекли неглубокий лог и, проехав ещё немного, попали на просторную поляну, которая одним своим краем уходила в небо.

— А вот и венец, — сказал Хитрово. — Самый край берегового обрыва.

Где-то недалеко громыхнул гром. Они привязали коней к дереву и подошли к краю горы. Со стосаженной высоты венца перед ними необъятно распахнулся вид на Волгу и её пойму. Река петляла между островов, широко и стремительно шла по коренному руслу, заводьями, заливами и протоками охватывала громадное, не уместающееся в человеческий взгляд пространство земли и воды. Левый берег был пологим и неспешно отступал от реки, поднимаясь двумя широкими террасами.

Туча не донесла свою тяжесть до высокого правого берега, опрокинулась посреди реки частым дождем, и налетевший неведомо откуда ветер быстро разметал дождевые струи над белолобыми волнами. Заходила Волга, заволновалась, бросилась на свои берега, взбаламучивая песок и глину. Но ветер разметал на мелкие облачные клочки тучу, небо обнажилось, и засияло солнце.

— Здесь место для крепости самое подходящее, — сказал Першин. — Давно я города ставлю, но такого удобства не видывал. Заволжское Дикое поле всё как на ладони просматривается, и казанская, и крымская, и русская стороны также будут хорошо видны. Лес мы сведём на крепость и откроем простор взгляду.

Богдан Матвеевич мыслил о другом. Стоя на высоком волжском откосе, он чувствовал, как в него вливается щемящее душу желание взмыть над Волгой в вольном полёте. «Как здесь просторно! — думал он. — Для того, Господь, и создал такие места, чтобы человек почувствовал свое горнее будущее».

Васятку высота, открывшаяся перед ним, тоже смущала. Ему стало понятно, почему Волга манит к себе неуживчивых, беспокойных людей, и они, бросив всё привычное, бегут сюда, чтобы обрести волю. Сейчас река была пустынной, но Васятка так пристально вглядывался вдаль, что ему показалось, он видит белый парус струга, летящего по волнам, за ним ещё один парус, ещё один. Васятка протёр наслезенные глаза, и видение исчезло.

Вершина горы наполнилась людьми, которые располагались на отдых. Начальные люди поспешили к воеводе с докладами. Он выслушал их и отпустил с наказом дать по-слеобеденный отдых работникам, а затем браться за труды. Темниковские лесорубы должны были начать валку леса на вершине горы, на которой будет поставлена крепость. Предстояло очистить от деревьев более двух десятин соснового бора. Алатырцы и стрельцы были наряжены на работу по прокладке дороги от Свяги к будущей крепости. Казаков воевода приказал разбить на несколько станиц, по десятку человек в каждой, и распустить в разные стороны на поиск для проведывания поля. В последнем была особая нужда: началось тёплое время года, башкирцы, калмыки и ногаи имели обычай делать набеги на русскую сторону по первой траве.

Богдан Матвеевич, в силу своего поста окольного и полкового воеводы, хорошо представлял, в каком положении находится южная граница Русского государства и с каких сторон через неё пытаются прорваться враги. Полтора десятка лет назад ситуация в Нижнем Поволжье и Причерноморье резко изменилась. Из северо-западных областей Китая к Волге подошли калмыки, которые вступили в борьбу за обладание летними кочевьями с ордой Больших ногаев. Под давлением пришельцев ногаи ушли из-за Волги и стали пробиваться черед Дон для соединения с крымскими татарами. Туда же двинулась и Малая ногайская орда. В течение двух лет донские казаки препятствовали этому, но ногаи прорвались в Крым, соединились с единоверцами. В 1634-1636 годах ногаи предприняли сильные вторжения в русские пределы, и на огромном пространстве от заозких уездов до «мордовских мест» население вело с ними отчаянную борьбу. Эти кровавые события подтолкнули русское правительство к переустройству и усилению обороны южных границ государства.

В скором времени были построены десять новых городов и возобновлён город Орёл, разрушенный в годы польской интервенции. Было положено начало строительству новой оборонительной черты, названной Белгородской.

В 1637 году донские казаки по собственной воле заняли Азов. Это создало угрозу ослабления отношений с турками. В сентябре этого года по указу турецкого султана крымский царевич Сафат-Гирей вторгся в русские пределы и захватил в полон более двух тысяч человек. В Москве допускали возможность, что татары преодолечат засеку «большой мочью и пойдут к берегу, и Оку перелезут, и пойдут под Москву». Поэтому в 1638 году правительство, мобилизовав большое количество людей и огромные средства, полностью восстановило заозкую черту на протяжении шестисот вёрст.

К счастью, получилось так, что занятие Азова и удержание его пятью тысячами казаков в течение нескольких лет против двухсоттысячного турецкого войска оста-

новило вторжения татар на некоторое время, но затем они возобновились и достигли большой силы. Против них на Белгородской черте были построены ещё восемнадцать городов и создано два укрепленных района с целой системой острожков, валов, рвов, засек в Комарицкой волости под Севском и в Лебедянском уезде. К концу сороковых годов было в основном завершено строительство Белгородской черты от реки Ворсклы до Тамбова на Цне, с продолжением её дальше на восток — сооружения гораздо более мощного, чем старая засечная черта: валы, рвы, надолбы, острожки и города составляли почти сплошную линию. Укрепленная граница была заселена крестьянами, которые были отличными солдатами и драгунами создаваемых полков иноземного строя.

К 1648 году возведение засечной черты дошло до Синбирска, который должен был стать важным стратегическим пунктом на Волге. Строительство крепости было своевременным шагом правительства, потому что калмыки и башкиры в 1647 году совершили большой набег на волжские пределы и даже осаждали Самару, и воевода Плещеев нанёс им жестокое поражение под Саратовом.

...Вековые сосны на горе шумели спокойно и умиротворяюще. Люди спали, но приказчик Авдеев был занят, он с подручным достал из укладки своего воза небольшой колокол, который они привязали к ветке дерева. И вот по бору разнеслись частые и звонкие удары набата. Это был призыв к началу работы.

К Авдееву подошли его полусотники, и каждому он дал задание. Одни обязывались разбить стан для житья работных людей, устроить большие шалаши, очаги для артельных котлов и отхожие места, чтобы не загаживать лес. Другие во главе с Авдеевым пошли на просеку, там ещё было работы невпроворот.

Приказчик лесорубов с Першиным обошли участок, где деревья нужно было срубить подчистую, и делали топорами затеси на деревьях, обозначая границы лесоповала. Их сопровождали полусотники, которые тут же получали размеры своих лесорубных участков, отмечали своими зарубками крайние деревья и приглядывались, с какой стороны лучше начать валку леса.

Першин как организатор всех работ не забыл и ещё об одном немаловажном деле.

Основными орудиями труда для работных людей были топоры, поэтому Прохор призвал к себе кузнеца Захара, выделил ему в помощь несколько людей из возчиков и велел подготовить с десятков точильных станков на колодах с широкими пазами для воды, смачивающей крути из песчаника. Три десятка работников он послал изготовлять берёзовые слегги, используемые в качестве рычагов при корчевании пней. Конечно, освободить от пней всю площадь, которую займёт крепость в скором времени, было невозможно, для начала это было нужно сделать там, где будут построены самые первые избы — воеводская и пороховой погреб.

День был в самом разгаре, когда к Хитрово подошли Першин и приказчик лесорубов. Они были чем-то заметно смущены, и воевода это заметил.

— Что мнётся? Или в чём промашка вышла?

— Не изволь гневаться, воевода, — сказал приказчик. — Мужики тебя к себе просят.

— Что за дело? — удивился Хитрово.

— Кланяются тебе лесорубы и просят тебя срубить первую сосенку для почина.

Богдану Матвеевичу такая просьба была в новость, но она его не смутила, а скорее позабавила.

— Тогда идём, коли просят.

Лесорубы встретили приход воеводы одобрительным шумом. Приказчик подвел его к сосне явно меньших размеров, чем те, что её окружали, и подал топор.

— Что ж вы мне такую захудалую сосенку подобрали? — спросил Богдан Матвеевич. — На бревно для сруба она не годится, разве что на подпорку к худой городьбе, — он огляделся по сторонам и приблизился к ровной и прямой, как свеча, сосне, устремлённой саженой на десять в высоту. Обошёл её вокруг, стукнул обухом топора по стволу. — Эта вот годится. Так, мужики?

— Так! Так! — зашумели лесорубы.

Богдан Матвеевич снял с плеч кафтан, взял в руки топор и со всего размаху вонзил его чуть выше комля. Сосна на удар откликнулась коротким вздохом, на землю упали несколько шишек. Двумя ударами, наискосок и вдоль земли, он вырубал щепку за щепкой, чувствуя, что ему становится жарко. Мужики смотрели на воеводу с топором в руках и радовались, что он их уважил, не побрезговал прийти к ним и прикоснуться к их чёрной работе.

Хитрово дорубил дерево до середины и почувствовал, что весь взмок, как мышь. Но он был упрям и понимал, что отступить ему никак нельзя. Першин с вниманием смотрел за воеводой, и когда тот углубился ударами топора достаточно глубоко, подошёл и сделал подруб с другой стороны. Этого оказалось достаточно — сосна вздрогнула и, задевая другие деревья, рухнула на землю. Вокруг раздалась одобрительные возгласы:

— С почином! С почином!

Лесорубы пошли по своим участкам, и скоро вся Синбирская гора наполнилась треском и грохотом. Вековые сосны обрушивались одна за другой, освобождая место для нового града Синбирска.

## Глава третья

— 1 —

Поп Никифор находился в Москве уже второй месяц. Приближалась Пасха, но его дело все не разрешилось, и причиной тому было сильное недомогание патриарха Иосифа. Только он мог принять решение по кляузной челобитной, посланной вдогон за Никифором его гонителем стрелецким капитаном Вострецовым, которого священник тихо, но строго уличал прилюдно в блудне и срамных игрищах. Помещик крепко прибил Никифора, вышиб его из прихода и ударил патриарху челом, что поп-де захватил власть в патриаршей вотчине и её грабит. В Патриаршем приказе дали челобитной ход, она была доложена патриарху, но по известным причинам приговор Никифору пока произнесён не был.

При Казанском соборе, где настоятелем был протопоп Иван Неронов, Никифор жил в одной комнате с попом Аввакумом. Здесь же помещалась и жена убежлого попа Анастасия с младенцем Прокопием. Соседство было шумным: Аввакум часто пытался вовлечь Никифора в обличение московских порядков, вопия, что много блудни зрит в святом месте земли русской — Кремле, и единственный здесь праведник — царь Алексей Михайлович, и близ него можно поставить лишь Фёдора Ртищева. По ночам временами заходился плачем ребёнок. Всё это Никифор терпел беспрекословно и, глядя на дитя, с жалостью вспоминал свою жену Марфиньку, которую оставил на попечение семьи двоюродного брата в тягости, и она вот-вот должна была родить.

Встречаясь каждодневно с Иваном Нероновым, отец Никифор о своём деле не спрашивал, знал, что в своё время ему объявят решение, когда оно будет. Аввакуму на Вербное воскресенье сказал своё слово сам царь Алексей Михайлович. В собор пришёл дворцовый стольник и вручил ему грамоту от великого государя. Она была не запечатана. Аввакум прочёл её и завздохал.

— Что государь отписал? — просила Анастасия, подойдя к мужу с ребёнком на руках.

— Эх, святая простота наш великий государь Алексей Михайлович! — покачал головой Аввакум. — Пишет, чтобы воевода не забижал меня, убогого. Призывает изверга к покаянию. Это ж как?

— Великий государь рассудил как истинный христианин, — робко произнёс Никифор.

— Вот и ты туда же со своей добротой! — вспыхнул Аввакум. — Воевода — волк ненасытный! Ему грызть попов за лакомство!

— Что делать думаешь? — спросил Никифор.

— Пойду в Лопатицы, куда от государевой воли денешься.

— Оставайся, Аввакум, на Пасху, — сказал Никифор. — Всё едино до Христова Воскресения в Лопатицы не поспеешь.

— И то правда, — согласился Аввакум. — Нечего поспешать. Когда я ещё увижу патриарха на осяти.

Вечером Неронов сказал Никифору:

— Кажется, патриарх встал с одра. Завтра на Вербное воскресенье будет в Успенском соборе. После пасхальной недели твоё дело решится, — Никифор потянулся поцеловать руку протопопа. Неронов недовольно отстранился. — Я не тебе угождаю, а правде, — сказал он, оглядывая ветхую одежку попа. — Иди за мной, — протопоп привёл Никифора в своё жилище, отлучился ненадолго и вынес рясу из тонкого сукна. — Тучен я стал, а был борзой, как ты. Тебе будет впору, прими, — и, отметая взмахом руки благодарность, продолжил: — Окольничий Фёдор Ртищев прислал тебе поминок на Светлое воскресенье.

Никифор был тронут вниманием сильных людей до глубины души. Он вернулся в своё жилище, примерил рясу, она оказалась впору. В новом одеянии Никифор пошёл на торжище.

Один торговый ряд цвёл пасхальными вербами. Распустившиеся почки, как жёлтые птенчики, рассеявшиеся на красноватых ветках, радовали взгляд, наполняли душу умилением. Никифор разбил у менялы рубль на тридцать три алтына, копейку отдал за размен и купил большой вербный куст. Здесь же продавали красные яйца, куриные и гусиные. В прихваченную с собой корзину Никифор уложил полсотню яиц, расплатился и, довольный покупками, вернулся в своё жилище.

— Какой ты, отец Никифор, молодец! — всплеснула руками Анастасия. — Мой Аввакумушка забыл купить вербы, хоть я ему и наказывала.

Её муж трапезничал.

— Невелика радость в покупных вербах, — проворчал он, обгладывая щучий хребет. — Вот если бы своими руками наломать. За деньги радость не купить.

Жилище украсили ветками, а одну дали поиграться маленькому Прокопу. Дитя схватил ветку в руку и начал ею размахивать, что заставило отца довольно улыбнуться и взять сына на руки.

Мысль о религиозном торжестве, которое должно состояться завтра, с участием царя и патриарха, приводила отца Никифора в трепет. Он страстно желал увидеть всё собственными глазами, но боялся, что это невозможно, и поделился с Аввакумом своей печалью.

— Я о сём не стражду, — сказал Аввакум. — Не горюй, Никифор. Я проведу тебя в такое место, где мы всё узрим.

На следующий день, перед тем как должен начаться крестный ход, Аввакум увлёк за собой Никифора к кремлёвской стене. Возле башни он о чём-то пошептался с караульщиками, сунул им поминок, и стрелец провёл их на стену, прямо напротив храма во имя Покрова. Торговые лавки на Красной площади были закрыты, и мостовую мели, поднимая клубы пыли сотни полторы метельщиков. Возле Лобного места, где в те времена уже не казнили, стояли люди в раззолоченных одеждах и поглядывали на Кремль.

И тут особенно радостно зазвонили колокола. Из Успенского собора через Фроловские ворота двинулся крестный ход. Отец Никифор обомлел от увиденного великолепия: впереди шло духовенство с образами, за ними — стряпчие, стольники, дворяне и дьяки в золотом парчёвом платье, выданном им на торжество из казённых хранилищ, далее шел государь, а за ним — бояре, окольные, думные люди и гости, по бокам государя сопровождали полковники и головы стрельцкие. Вся Красная площадь была заполнена народом. При появлении государя все встали на колени и земно поклонились.

Возле Лобного места патриарх, после прочтения отрывка из евангелия, подал царю ветку вербы. Подвели белого осла, патриарх сел на него, Алексей Михайлович взял конец повода и повёл осла по дорожке из красных и синих сукон, которые расстилали стрельцы. Впереди царя и патриарха двигались красные сани, на которых стояла огромная изукрашенная верба. Крестный ход через Фроловские ворота вернулся в Успенский собор под звонкий и радостный звон колоколов кремлёвских соборов и церковей столицы.

На Пасху отцу Никифору удалось просунуться в Успенский собор на утреню. Этому помогло его новое священническое одеяние, подаренное ему Иваном Нероновым, а ещё больше встреча с Фёдором Ртищевым, который не починился подойти к нему сам, когда увидел Никифора возле собора. Ртищев шёл в храм, чтобы проведать, всё ли готово для встречи государя, и захватил с собой Никифора, где тот и остался.

Вскоре в собор пришёл государь, а с ним бояре, окольные, думные дворяне и дьяки, стольники и стряпчие, все в золотых одеждах. После хвалительных стихир Алексей Михайлович прикладывался к иконам, затем христосовался с патриархом, архиереями в губы, а остальное духовенство жаловал к руке. К числу последних по какому-то не свойственному ему смелому порыву примкнул и отец Никифор. К царской руке он приблизился последним. Заметил, что протопоп Успенского собора недоумённо на него глянул, но Никифор уже поцеловал руку царя и получил от него красное яйцо. Возвращаясь на свое место, он почувствовал, что на губах у него солёно. Это были слезы умиления и великой радости, которые переполняли его душу. Те же чувства владели православными людьми всей русской земли в день Светлого Христова воскресенья. Вся Русь единодушно славилла Бога, не предполагая, что через несколько лет по православному единодушию непримиримо пройдёт кровавая трещина раскола.

Пасхальную обедню Аввакум и Никифор провели в Казанском соборе, а после службы были званы Иваном Нероновым на трапезу. В конце застолья протопоп сказал Никифору, что говорил с патриархом о его деле, и тот велел им явиться на патриаршее подворье через два дня.

— Жаль, не увижу твоего торжества, Никифор, — сказал Аввакум. — Я еду завтра. Пора возвращаться к своим блудолюбивым чадам.

— Экий ты нетерпеливец, Аввакум! — сказал Неронов. — Душу человека враз не построишь. Это не изба, которую можно срубить за день.

— Милостивец мой Иван Васильевич, — горько молвил Аввакум. — Знаю, что тороплив и горяч, но ничего с собой поделатъ не могу. Мало в людях братолюбия. Вот сегодня христосовались, но друг другу мало кто простил. А Господь, он всё зрит!

Никифор забеспокоился, что вспыхнет за столом несогласие, но Иван Неронов не ответил Аввакуму, и тот успокоился.

Через два дня Неронов и Никифор явились на патриаршее подворье. Народу там было много: из многочисленных вотчин явились к патриарху люди поздравить его с пасхой и поднести поминки деньгами, мехами и сукнами. Неронова и Никифора пропустили мимо них. Из тёмных и душных сеней они прошли в комнату, которая была так густо увешена образами, что напоминала молельню.

Патриарх Иосиф сидел в кресле, он был недужным старцем, всегда углублённым в свои думы. Гостей заметил, когда они земно поклонились и этим произвели шум.

— Что за поп? — спросил Иосиф, указывая бледным перстом на Никифора.

— Отец Никифор, — сказал Неронов. — Я уже тебе доносил, святейший патриарх, что его вышиб из прихода стрелецкий капитан Вострецов и возвёл на отца Никифора поклёп, что он не радел о патриаршей вотчине.

Иосиф осмысленно посмотрел на Никифора и спросил:

— И много чего у меня украл, поп? — Никифор от этих слов, вымолвленных с язвительным смешком, похолодел от ужаса. — Хотя не видно, что ты крал, — продолжил патриарх, — тощ больно. Сколько на приходе был?

— Четыре года, — пролепетал Никифор.

— Срок достаточный, чтобы пошарить в моих закромах. Ладно, о чём просишь?

— Места ищу.

— А на старое не пойдёшь? — спросил Иосиф. В горле у него забулькало, и он отпил из кубка лекарственный настой.

— Не стоит его возвращать на старый приход, — подал голос Неронов. — Раздоры не утихнут, новая склока вспыхнет.

— Есть у нас что-нибудь подходящее?

— В этом году окольный Хитрово закладывает новый град Синбирск на Волге. Видел отца Никифора, и он ему приглянулся. Просил меня передать тебе, святейший патриарх, если на то будет твоя воля, отдать отца Никифора ему на церковь во имя Святой Живоначальной Троицы в новом граде Синбирске.

— Не знаю, как и разрешить это дело, — задумчиво сказал патриарх. — Очень уж робок твой поп, Иван, как он справится? Там ведь тьма язычников, мордва, чуваша, гулящие людишки.

— Отец Никифор тих, это правда, но слово Божье исповедует истово. А твёрдость, когда надо, окольный Хитрово выкажет. Он — воевода.

— Уговорил. Ладно. Благодарю тебя, отец Никифор, на соборную церковь в новом граде Синбирске, — решил патриарх и тут же приказал службе: — Анисим, напиши челобитную в приказ Казённого двора, чтобы выдали ему всё потребное для нового храма, — Никифор поцеловал руку патриарха, то же совершил и Неронов. — Ступайте, — сказал патриарх. — Жду от тебя, поп, добрых вестей.

Выходя из патриаршего подворья, отец Никифор с трудом верил своему счастью. Ему казалось, что сейчас догонит его патриарший служитель и объявит, что прихода ему не дано. Иван Неронов заметил беспокойство Никифора.

— Дело твоё решено, — сказал он. — Побывай у окольного Фёдора Ртищева и поклонись ему. Это он говорил о тебе с патриархом.

— Обязательно поклонюсь, — радостно вымолвил Никифор, окончательно уверовавший в своё счастье. — А тебе, отец Иван, я хоть сейчас поклонюсь за твою доброту.

— Будет, будет, — запротестовал Неронов, увидевший, что Никифор готов упасть перед ним на колени в уличную грязь. — Я этого недостойн. Бога благодарить надо.

Никифор последовал этому совету в Казанском соборе, где купил полурублёвую свечу и долго молился перед образом Святой Живоначальной Троицы.

Фёдор Ртищев встретил Никифора приветливо, не дал ему грохнуться наземь в благодарственном поклоне, а полуобнял его и провёл в свой кабинет.

— Я для тебя, отец Никифор, кое-что приготовил, — сказал Ртищев, беря в руки толстую и большую книгу в кожаном переплёте, серебряном окладе и с такими же застёжками. — Это мой дар первой церкви в Синбирске.

Отец Никифор принял библию и прижал к груди. На его глазах выступили слёзы радости и благодарности.

— Это бесценный дар, господине! — с жаром произнёс он. — Век буду помнить твою милость.

— Когда ты едешь? — спросил Ртищев.

— Скоро. Ищу попутный струг в Астрахань.

— Не ищи, — сказал Ртищев. — Он уже есть. Обратись к Ивану Хитрово. Из его приказа идёт струг в Синбирск с воинскими припасами. Он о тебе знает.

— От твоих слов, милостивец, у меня камень с души свалился. Я искручинился, думая, как дойти до Синбирска.

— У меня, отец Никифор, к тебе личная просьба, — сказал Ртищев. — Доставь от меня окольному Хитрово грамоту. Сделаешь?

— С превеликим удовольствием.

Ртищев подал ему свиток в кожаном чехле.

— Ещё одна просьба, — сказал Ртищев. — Сходи к Марии Ивановне, жене Хитрово, она для Богдана Матвеевича гостинец передать хочет.

— Всё сделаю, господине Фёдор Михайлович!

На прощание Ртищев со стеснительным видом сунул за пазуху Никифору кошелек, в котором побрякивали деньги.

— Это тебе на дорогу, — сказал он, провожая Никифора до крыльца.

Приказ Казённого двора был тем местом в системе государственного устройства, откуда на служилых людей, включая и духовных лиц, источались царские милости. На Казённый двор ежедневно являлись священники, дьяконы, дьячки и пономари московских и городских соборных церквей за жалованием и сукнами на облачения. Бывалый в приказных делах дьячок Казанского собора присоветовал Никифору явиться на Казённый двор в старой рясе. Слава Богу, тот его не послушал, надел подаренную ему Нероновым рясу и прошёл в приказ до света. На Казённом дворе было ужелюдно, там толпились духовные лица, которые пришли в Москву из дальних мест, многие донельзя обтрёпанные, а иные в лаптях. Никифор посмотрел на это скопище и сокрушенно подумал, что обещанных денег и сукон ему не дожидаться до морковкиного заговенья.

Когда развиднелось, на крыльцо приказа вышел дьяк и оглядел собравшихся. Острым взглядом среди нище одетой духовной братии он выглядел отца Никифора и подошёл к себе. Узнав его имя и звание, дьяк, не обращая внимания на вопли недовольных, привёл Никифора в комнату, взял с него поручную запись и выдал двадцать рублей. Затем кликнул ключника, и явился низкорослый человек с заспанной рожей. Дьяк что-то ему шепнул, и ключник повёл Никифора за собой вглубь избы приказа.

— Кланяйся, поп, от меня боярину Ртищеву! — крикнул вслед дьяк.

Никифор почувствовал, что рука сильного человека поддержала его и здесь.

Ключник завёл его в хранилище и заглянул в список.

— Получи на ризу сукна доброго вишнёвого семь аршин, на однорядку сукна красного пять аршин, юфтевый крой на сапоги. Шить тебе кто будет? Могу подсказать доброго портного.

— Отъезжаю на днях. Жёнка пошьет.

— Тогда вот тебе пуговицы, четырнадцать штук на однорядку.

Во дворе приказа появление отца Никифора было встречено недобрым молчанием. Держа в руках полученные сукна, он, потупив глаза, прошёл мимо людей, но не без ущерба: кто-то больно ткнул его под ребро и наступил на ногу. Однако это было сущей безделицей по сравнению с тем богатством, которое на него свалилось.

Придя к себе в жилище, отец Никифор разложил сукна на лавке и долго любовался игрой света и теней на вишнёвом и красном поле. Он думал, стоит ли ему шить однорядку, и, в конце концов, решил, что красное сукно он отдаст на верхнюю одежду своей Марфиньке, а ему будет и рясы достаточно, а для тепла на себя всегда можно будет накинуть овчинную шубу.

Отец Никифор побывал в Разрядном приказе у стольника Ивана Хитрово.

— Годи, поп, я тебя кликну, — сказал тот, занятый делами.

Никифор вышел на площадь, огляделся и заинтересовался работой площадных подьячих. Это были хорошо знавшие грамоту люди, не нашедшие по каким-то причинам мест в приказах. Они имели разрешение на свою деятельность, их хорошо знали все дьяки.

— Что писать? О чём бить челом великому государю мыслишь? — спрашивал, сидя на скамеечке, востроносый подьячий у стоящего перед ним на коленях пожилого крестьянина. Тот судорожно мял в руках шапку и молчал. — А деньги у тебя есть? Покажи? — потребовал подьячий. Мужик выгащил из-за пазухи платок с завязанными в него полушками. — Добро. Значит, ты бьёшь челом великому государю на своего барина. Верно?

Мужик утвердительно замотал головой, а заинтересованный этой сценой отец Никифор подошёл ближе. Подьячий достал из волос на голове воткнутое туда гусиное перо, обмакнул его в одну из двух висевших у него на шее чернильниц и, развернув на коленях начало бумажного свитка, принялся строчить красными буквами титул великого государя.

— На кого челом бьёшь?

— На боярского сына Ивана Жданова, — наконец вспомнил крестьянин. Подьячий достал из волос на голове другое перо, для чёрных чернил и продолжил работу.

Отец Никифор подошёл к другому площадному подьячему, но на его работу посмотреть не успел: его имя громко выкрикнули с крыльца Разрядного приказа.

— Как, поп, не боязно ехать на границу? — спросил Иван Хитрово. — Налетят но-

гайцы, уволокут тебя, нехристи, в полон.

— Славить имя Божье нигде не страшно, — ответил Никифор, осеняя себя крестным знаменьем.

— Добро мыслить. Через несколько дней можешь ехать. Струг на Синбирск стоит на реке супротив пушечного двора. На него сегодня начнут грузить свинец в свиньях и зелье для больших и малых пищалей. Стрелецкий капитан Нефёдов о тебе ведаёт.

— Мне нужно будет семью по пути забрать, — робко промолвил Никифор.

— Это в каком месте?

— За Муромом в селе Глазковом. Там попадья у моего двоюродного брата обретается.

— Дозволяю задержаться, — сказал Иван Хитрово, — но не более чем на полдня.

Там на струге иноземцы из Казани идут, им поспешать надо.

— Я не задержу их. Возьму попадью за руку и мигом на струг.

— Передай от меня грамотку брату, — сказал Иван Хитрово, подавая Никифору свиток. — С Богом, поп! Глади, не опоздай на струг!

Выйдя из Разрядного приказа, отец Никифор поспешил за пределы Китай-города в пушкарскую слободу на берегу реки Неглинки. Ещё не достигнув слободы, он почувствовал запах гари и дыма, в Пушкарской и Кузнецкой слободах было много кузниц, и все они работали, изготовляя в основном холодное и огнестрельное оружие. Издалека Никифор увидел большой амбар, с высокой конусообразной крышей, над которой поднимался дым от плавильных печей, в которых варили бронзу для государевых пушек. Мимо Никифора проехала большая телега, которую волокли шесть лошадей. На телеге лежала пушка, через жерло которой тощий поп мог свободно провалиться. Никифор покачал головой, удивляясь сноровке пушечных дел умельцев.

Струг стоял возле берега Неглинки, прислонённый бортом к бревенчатому настилу, по которому работные люди переносили с телег короба, в которых были уложены холстинные мешочки с зельем, тащили по двое большие чушки свинца для пуль.

Кормщик разговаривал с человеком в шапке, в которую было воткнуто белое перо, на боку у него торчала засунутая за кушак богатая сабля. Судя по одежде, человек этот был из иноземцев с польской стороны, таких людей Никифор уже примечал в Москве.

— Мы не можем ехать без коней! — раздраженно говорил иноземец. — Я со своим Серко против шведов бился. Что ж, мне своего друга на торгу продавать?

— Если бы ты один был с конем, пан, — отвечал кормщик. — Вас же четверо шляхтичей, и все на конях. А где прикажет твоя милость везти стрельцов, пушки, пищали, свинец, зелье? Отчаливаем не завтра, могут ещё попутчиков подослать, где их помещать.

— Значит, не берёшь коней?

— Не возьму, — твердо сказал кормщик. — Я за струг головой отвечаю.

Иноземец зло сплунул, сел на своего верного Серко и помчался в город, обдав Никифора клубом пыли.

— Что ищешь, батька? — спросил кормщик.

— Струг, что на Синбирск идёт.

— Что я говорил этому польскому дурню! — всплеснул руками кормщик. — Вот он — попутчик! Да ты, батька, поди, не один?

— Жена ждёт за Муромом. Мы много места не займём.

— А у тебя нет какой-нибудь животины? Если есть, не повезу. Слышал, поди, нашу прю с иноземцем?

— Я безлошадный, — сказал Никифор. — Вещей у меня совсем немного.

— Добро, — обрадовался кормщик. — Поболе бы таких, как ты, батька!

— Когда в путь тронемся? — спросил Никифор.

— Сие от меня не зависит, — развел руками кормщик. — Улита едет, когда-то да будет. Справься через три дня. На всякий случай скажи, где стоишь?

— Живу при Казанском соборе в Кремле, у отца протопопа Ивана Неронова.

— Ты гляди! — поразился кормщик. — А я, дурак, тебя за простого попа принял.

Прости, святой отец! Я, если что, забегу к тебе, предупрежу. Если желаешь, зайди, посмотри струг. Такого ведь не видел? Я по две сотни стрельцов с припасами вожу. И сейчас повезу. Скажу тебе одно, батька, чтобы ведал, стрельцы эти сорви-головы!

— Что так? — удивился Никифор.

— За вины их посылают на год в Синбирск. Кто в татьбу впал, кто начальникам любит перечить. Вот их и шлют подале от Москвы, поближе к Дикому полю.

Это известие не порадовало Никифора, и он с опаской ступил на борт струга, где скоро окажется среди дерзких и буйных стрельцов.

Русь при государе Алексее Михайловиче и ещё очень долго после него была страной бездорожной, и реки являлись главными путями, по которым передвигались люди и товары. И для военных нужд, где только это было возможно, использовались водные

пути сообщения. В Разрядном приказе всегда имелось более полусотни стругов, приспособленных для перевозки воинских людей и припасов. Это были большие и объёмные суда, вмещавшие в себя иногда до двухсот-трёхсот стрельцов в полном вооружении. Струг, на котором предстояло ехать Никифору, был средних размеров, но достаточно вместительный, на шестнадцать вёсел и мачтой с холщовым парусом, который поднимали при попутном ветре. На палубе были устроены клетки и перегородки для грузов и людей. Имелся дощатый навес, под которым укрывались от непогоды. На носу струга имелась площадка для перевозки небольшого числа лошадей. Управлялся струг при помощи шеста, рукояти и двух верёвок, но как это делается, Никифор с первого раза не уразумел и решил, что в пути присмотрится к работе кормщика.

На следующий день Никифор решил, что пора ему навестить подворье окольного Богдана Хитрово. Он вытряс и очистил от пыли и грязи подол рясы и пошел в Китай-город.

Воротник открыл дверцу в воротах, глянул на гостя и убежал. Скоро явился ключник Герасим. Услышав от Никифора, кто он такой и зачем явился, укоризненно произнёс:

— Боярыня тебя какой день поджидает. Уж не заблудился ли ты в Москве, батька? Никифор смущенно потупился и пошёл следом за ключником.

Мария Ивановна Хитрово встретила священника радостно и почтительно, усадила в красный угол и кликнула Герасиму, чтобы подавали на стол.

— Я уже поснедал, боярыня, — тихо сказал Никифор.

— А я и не кормлю тебя, батюшка, а угощаю. Счастливым ты человек: скоро увидишь Богдана Матвеевича!

Принесли стерляжью уху, чёрную икру, пироги со всякими начинками. Мария Ивановна достала из шкафа зелёный штоф и серебряную чарку.

— Я хмельного не пью, боярыня, — робко запротестовал Никифор.

— Тогда пусть постоит, — сказала Мария Ивановна. — Какой стол без хмельного? А пить я не неволю. Утощайся, батюшка, а я соберу подарки.

Она прошла в свою комнату и присела к столу, на котором лежала написанная грамота. Это было её первое письмо мужу за весь срок их совместной жизни. Начинаясь она, как было принято в то время, со слов: «Господине мой Богдан Матвеевич...» Дальше Мария Ивановна сообщала о домашних делах, перечисляя наиболее значительные из них, о здоровье дочери и свекрови. Осталось дописать окончание, и она несколько раз брала перо в руку, погружала его в чернильницу, заносила над бумагой и откладывала в сторону. Слишком уж горячие слова были готовы сорваться с её уст. Муж их слышал, когда только мерцающий свет лампы освещал их спальню, но на письме они не покажутся ли ему слишком откровенными? Мария Ивановна вздохнула и написала: «Верная раба твоя Мария».

Она свернула бумагу в трубку и положила её в кожаный чехольчик. Посмотрела на сундук возле кровати. В него Мария Ивановна уложила одежду для Богдана Матвеевича, всё чистое и новое, а также кусок персидского мыла для вкусного запаха.

Никифор в одиночестве сначала с ланчей начал хлебать уху, но незаметно увлёкся, после ухи съел большую стерлядь, несколько ложек икры, потянулся к пирогу и вдруг почувствовал, что не в силах проглотить даже крохотного кусочка. Так он давно не наедался. Налил брусничного квасу и выпил несколько глотков для умягчения принятой пищи.

В комнату вошла Мария Ивановна и удивилась, что батюшка такой стеснительный гость.

— Я приказала Герасиму снарядить возок, — сказала она. — Тебя, батюшка, доставят куда нужно. А эту грамоту отдай Богдану Матвеевичу.

Герасим, зная, что священник едет в Синбирск, где будет ближним возле Хитрово человеком, сам сел на кучерское место и весь путь занимался тем, что восхвалял себя за попечение о доме хозяина. Никифор, разомлев от обильной еды, вполуха слушал ключника и приятно подремывал, полулежа в возке на персидском ковре.

Отъезд в Синбирск затянулся дольше, чем на неделю, но вот однажды вечером к Никифору пришёл кормщик и объявил, что струг отправляется в путь завтра, после обеда. Прощаясь с Никифором, кормщик сказал:

— Бежать надо из Москвы, нехорошо здесь становится.

— Что так? — удивился Никифор.

— Земля слухом полнится. Да и так видать. Стрельцы промеж собой шумят, многие злы на ближних бояр, как бы дурна не учинили.

— Разве государь об этом не ведаёт? — испугался Никифор.

— Эх, батька! Царь молод, а власть под себя Морозов подмял.

Проводив кормщика, Никифор вышел на торг, прошёлся по рядам, купил себе в дорожку солёной рыбы, толокна. Народ вокруг него был занят своими обычными делами,

признаков возмущения не замечалось.

Утром Никифор поспешил за извозчиком и, проходя между людей, заметил, что настроение их, по сравнению со вчерашним днем, резко переменилось. Все куда-то спешили, громко переговаривались, а порой были слышны озлобленные выкрики. Среди простого люда заметно раздорнее других вели себя стрельцы. Возле въезда в Китай-город шумела толпа. Движимый любопытством, Никифор подошёл ближе.

— Что стряслось? — спросил он у первого встречного стрельца.

Тот оскалился, хищно глянул на струхнувшего попа, и выдохнул:

— Бояр будем резать, которые очи застлали царю-батюшке!

Из толпы донеслись крики:

— Царь глуп, глядит всё изо рта бояр!

— Морозов и Милославский всем завладели, царь это знает и молчит!

— Чёрт у него ум отнял!

«Беда!» — промелькнуло в голове Никифора. Не рядясь, он взял первого попавшего извозчика и поехал за вещами. Покидал их в возок и поспешил к Неглинке.

А дела в Москве начались крутые. Толпы двинулись навстречу царю, который возвращался из Троице-Сергиевской лавры, не ведая о поджидавшей его народной грозе. Когда государь был встречен, к нему из толпы полезли челобитчики. Обиженных боярскими неправдами было много. Особенное возмущение народа вызывал сбор с битьём недоимок по налогу на соль. Так получилось, что налог был изрядно снижен, но прежние недоимки прощены не были, их требовали к оплате, разоряя простых людей и понуждая их записывать в кабалу жён и детей, а то и самих себя.

Алексей Михайлович был потрясён случившимся, он оглядывался вокруг себя, но никто из окружения не осмеливался говорить с людьми. Потрясённый государь не воспрепятствовал охране, которая начала разгонять толпу. В ответ послышалась поносная ругань, в стреманных стрельцов полетели камни.

От всех этих дел Никифор спешил поскорее убежать в Синбирск. На его счастье возле Пушечного двора было мирно. Пушечные литейщики и кузнецы, бросив работу, ушли встречать царя, готовый к отплытию струг стоял у берега. Никифор расплатился с извозчиком и стал переносить вещи в отгороженную клетушку, которую кормщик ему выделил близ кормы.

— Здесь тебе будет поспокойнее, батька, — сказал кормщик. — Тут и попадаья твоя поместится.

Вскоре целым обозом явились иноземцы, с жёнами и детьми. Опять кормщик стал кричать, что не возьмёт на струг коней, но польские золотые его утешили. Иноземцы заняли клетушки и отгородки вокруг Никифора, коней завели на нос судна и привязали к коновязи. Увидев Никифора, иноземцы обрадовались, они были православными людьми, испытавшими гонения за веру, и сан священника ставили очень высоко. Шляхтич Михаил Палецкий поинтересовался у Никифора, не имеет ли он в чём нужды. Завязалась беседа, и знакомство состоялось. Соседством иноземцев Никифор был доволен, это были надёжные, строгих нравов дворяне, способные постоять за себя с оружием в руках. А когда он проведал, что эти люди едут в Заволжье в Дикое поле, где им дадены поместья на границе, ещё не огороженной засекой, то поразился их мужеству ещё больше.

— На Москве замятия начались, — сказал кормщик, подойдя к Никифору. — Не ведаю, пойдут ли стрельцы. Без них я не пойду, не велено.

Осуждённых стрельцов, числом в двадцать, привел стрелецкий капитан Нефёдов, зверовидный служивый человек громадного роста. В его подчинении было пятнадцать стрельцов из его полуприказа, над которыми он имел необъятную власть из-за своей немеряной силы и крутого нрава. В руке Нефёдов держал трость, которой отсчитывал осуждённых, отправляя их на струг, а тех, кто замешкается, бил по спицам со всего размаху с оттяжкой. Кормщик на борту струга принимал этих людей и садил за вёсла, теперь им предстояло там находиться, пока не дойдут до Синбирска.

— Отчаливай, Викентий! — приказал стрелецкий капитан кормщику. — Время не терпит. Чернь на Москве дома сильных людей начала жечь. А на струге смуты не будет. Чуть что почую, посажу в воду с мешком на голове!

Никифор, напуганный Нефёдовым, смиренно сидел в своём закутке, посасывая ржаной сухарь и поглядывая по сторонам. Из Неглинки струг вышел в реку Москву, и все начали креститься на кремлёвские соборы. В самом Кремле было спокойно, и только вороны с гомоном кружились над золочёными узорчатыми кровлями храмов и теремов.

Москва долго прощалась с отъезжающими: город сменился посадами, за ним пошли пригородные слободы, затем боярские усадьбы, берега реки были обжиты и густо населены.

Гребцы мерно налегали на весла, неторопкое течение подталкивало струг вперёд,

начались поля, выбегающие своими краями на берега реки Москвы, но вот они кончились, и вокруг встал лес, опасный не только своими зверьями и топями, но и лихими людьми, которые промышляли разбоями вокруг стольного града.

Вечером Никифор замешал на воде толкно, поужинал и, увидев первую вечернюю звезду, встал на молитву. К нему присоединились иноземцы и стрельцы во главе со своим зверовидным начальником. День прожит, и следовало поблагодарить за это Господа молитвой, тихой и умиротворяющей душу.

В полночь кормщик остановил струг посредине реки, бросили якорь, подперлись шестью, и гребцы уснули за веслами, кто где смог приспособиться. На корме караульные стрельцы жгли небольшой сигнальный огонь. Иноземцы утомившись своих беспокойных чад, и струг погрузился в тишину, нарушаемую только звуками воды и леса.

Стрелецкий капитан Нефёдов проснулся на заре и разбудил гребцов. Те закричали, разминая затёкшие ноги и спины, заворчали, что попали на каторгу, но капитан поднял трость, и все сразу примолкли.

К концу второго дня путешественников нагнало известие — в Москве бунт. Во время крестного хода, в котором участвовал царь, из Кремля в Сретенский монастырь, посадские и служилые люди вновь начали добиваться доступа к царю с криками, что от боярина Морозова, начальника Земского приказа Плещеева, управителя Москвы, окольного Траханиотова и дьяка Чистого московским людям житья не стало. Кричали также, что соль подорожала вдесятеро против прежних лет, народу посолиться нечем, в астраханских и яицких учугах-пристанях сгнила рыба, улов этого года, и скоро на Руси настанет голод. Этот шум и мятеж попытались усмирить плетьюми сподручники Плещеева, но народ встал на дыбы, обозлился и потребовал выдачи начальника Земского приказа.

Виновники народного возмущения попрятались, а толпа принялась громить их дворы и жечь. Бунт запылал с новой силой, как раздутая ветром головня. У царя решили выдать Плещеева толпе, но люди оттолкнули палача и растерзали своего ненавистника в мелкие клочья. Такая же участь постигла окольного Траханиотова и дьяка Чистого. В ходе возмущения были разграблены дома многих государевых сильных людей. Но убийствами и грабежами дело не ограничилось, в Москве начался сильный пожар, охвативший весь Китай-город. Царь Алексей Михайлович с женой заперся в самой дальней комнате своего терема и молил Господа о собственном спасении.

От государя отступились все двадцать приказов московских стрельцов и только стремянной стрелецкий полк и наёмные иноземцы его поддерживали. Царю пришлось пожертвовать своим воспитателем, боярином Морозовым, того выслали в дальний монастырь. Тесть царя Илья Милославский поил вином стрельцов, уговаривая их отступить от мятежа. В конце концов, сошлись на восьми рублях каждому стрельцу, и те, получив деньги, кинулись на бунтовавших людей, начались пытки и казни.

Отца Никифора московские события волновали так же мало, как и большинство людей на струге. Все, кроме ссыльных стрельцов, были рады, что не попали в полымя мятежа. Гребцы сожалели, что не пришлось им поучаствовать в грабежах сильных людей и бросали исподтишка злобные взгляды на своего стража Нефёдова, считая его основным виновником своей несвободы. Их уже собирались выпустить из тюремного подвала, но заявился стрелецкий капитан со своими натасканными на убийства подначальными людьми и, тыча под рёбра остриями клинков, арестантов погнало на струг и посадили за тяжёлые, как брёвна, весла.

В Коломне струг на малое время задержали власти, сюда эхом дошло московское возмущение, и в граде случился невеликий бунтишка, который воевода стремительно пресёк и приказал останавливать всех проезжающих. Нефёдов сошёл на берег, переговорил с уездным начальником, и струг пошёл дальше, в широкую, ещё не обретшую свои коренные берега Оку.

Течение на Оке было в полноводье сильнее, чем в реке Москве, и Никифор пришёл в смятенное состояние духа: скоро должен быть Муром, а за ним село, где ждала его Марфинька и не одна. Кого Бог дал, сына или дочку? Никифор загадывал сына, чтобы было кому передать на склоне лет пастырское облачение, но и дочка, мыслил он, тоже Божий гостинец, услада дней, помощница матери по хозяйству.

Село Глазково было довольно большим, дворов с полста, с крепкой деревянной церковью, где служил попом двоюродный брат Никифора. Струг уткнулся носом в глинистый берег супротив храма, Никифор спрыгнул на него и побежал напрямик через огороды к дому брата. Забежав в избу, он задохнулся от счастья: на лавке под образами сидела Марфинька и кормила грудью младенца. Никифор на цыпочках подошёл к жене и посмотрел на ребёнка, который, жадно причмокивая, вцепился в сосок.

- Кого Бог дал? — спросил Никифор.
- Сына, — счастливо улыбнулась Марфинька.
- Как окрестили?

— Анисим, — Марфинька чуть повернулась, чтобы муж мог видеть сына. — Такой прыткий сосун, покоя не даёт.

— Я за тобой, — сказал Никифор. — Мне место дали в новом граде в Синбирске. Давай складываться.

Пожитков у них было совсем немного: кое-какая одежонка, несколько мисок, малый медный котёл для варки пищи и несколько книг духовного содержания. Марфинька с ребёнком на руках пошла во двор собирать постиранные тряпицы, в которые заворачивала чадо.

Из церкви пришёл двоюродный брат Никифора, молодой поп. Обрадовался тому, что увидел Никифора, и тому, что освободился от постоялицы — родня хороша, когда гостит недолго и живёт далёко. На радостях брат пошёл в ледник и вынес отъезжающим гостинец, кусок солёного сала, присыпанного укропом.

Недолго посидели на дорожку, затем Никифор взял мешок с вещами и закинул на плечо.

— Прощай, брат! — сказал он. — Не забуду твоей доброты. Если что, приезжай ко мне в Синбирск отгащиваться.

На струге их встретили ласково, особенно Марфиньку, на её красоту стрельцы сразу вытаращили зенки и мокрогубо раззявились. Даже зверовидный стрелец капитан Нефёдов изобразил на своём заросшем ржавью бороде мурле подобие улыбки. Иноземцы поприветствовали молодую попадьё на свой польский манер галантным поклоном, на что их жёны изрядно скусились.

Появление Марфиньки растопило холодок отчуждения между Никифором и Максимумом Палецким. Шляхтич стал снисходить до разговоров с деревенским попом с высот своего природного гонора. Собственно, бахвалиться ему было нечем. Имение у него силой отобрал польский магнат, а законность права силы подтвердил королевский суд, куда Палецкий и его товарищи по такой же беде вздумали обратиться. Из польских владений им пришлось бежать на Русь, где их принял сам великий государь Алексей Михайлович и пожаловал большими землями и малыми деньгами. Но было и ещё одно особо ценное пожалование, которое давало надежды на лучшее будущее: царь приказал выделить дворянским поселенцам из казанских дворцовых деревень семейства крестьян, чей труд должен был заложить основу их благосостояния.

Палецкий с радостью согласился взять земли на границе и начал свой путь из Москвы с нетерпением увидеть своё поместье как можно скорее. Однако уже заканчивалась вторая неделя пути, а струг ещё не дошёл до Нижнего Новгорода. Шляхтич стал печально посматривать на русские просторы и понимать, что едет он в далёкую от Москвы и опасную для житья пустую землю.

Чуткий к чужим невзгодам Никифор заметил смятенное состояние духа Палецкого и ободрял его рассказами о миролюбии поволжских язычников, о богатстве не знавших плуга плодородных земель, вольном от чиновных мздоимцев крае, где каждый человек живёт тем, что даёт ему его труд.

— Что ж, — отвечал на эти слова шляхтич, — придём на свою землю и оглядимся. Мои отичи когда-то ведь тоже начинали жить.

В Казани шляхтичи сошли со струга, им нужно было объявлять себя у воеводы, затем брать подьячего, который занимался отводом земли, и ехать на реку Майну. Много было у новых заволжских помещиков хлопот с получением пожалованных им царём крестьян. Мужики неохотно шли на высылки в новые места, где всё надо было делать заново: ломать сохой целину, строить барину дом и подсобные избы и самим вить собственное жильё.

После впадения в неё Камы Волга стала полноводней, струг пошёл скорее, но унылости и пустынности на берегах прибавилось. Из селений заметны были только Тетюши, а дальше простиралось утомляющее взгляд безлюдье. Отец Никифор с тревогой вглядывался вперёд, ожидая увидеть Синбирскую гору. И вот она показалась за одним из поворотов реки чёрным дымным облаком.

— Синбирск! — сказал кормщик. — Дошли, слава те Господи!

К концу июня 1648 года на плоской вершине Синбирской горы появилась большая проплешина. Сосновый красный лес на месте строительства крепости был повален, каждый ствол разделён на нужные размеры и ошкурен, сучки, обрубки и кору рабочие люди сгребали в большие кучи и сжигали. Синбирская гора постоянно дымилась, как жерло вулкана, и за много вёрст вокруг этот дым сообщал, что на берег Волги пришли государевы люди и начали строить пограничный град.

Клубящаяся дымом Синбирская гора, ещё без крепости и большого числа ратников, уже начала защищать русские пределы от возможных набегов степняков. Каза-

чи станицы доносили воеводе Хитрово, что в Заволжье заметно оживлённое движение небольших отрядов степных людей, которые то тут, то там проводят русскую границу и её стражей на прочность и бдительность. Как правило, степняки избегали прямых встреч и стычек с казаками, но однажды это случилось.

Станица Сёмки Ротова, числом в два десятка казаков, проводывала за Волгой луговое место, называемое Чердаклы, известное тем, что на нём любили размещать свои становища степные люди ещё со стародавних времён хана Батые. Здесь отдыхало монгольское воинство после разгрома Булгара, копило силы перед тем, как обрушиться на Русь.

Казаки уже более месяца мотались за Волгой, но это им не было в тягость. Обычно они разбивали на неделю стан в каком-нибудь пригожем месте, на берегу реки, и отсель совершали ежедневные выходы то в одну сторону, то в другую. Людей они встречали редко, заволжская окраина была безлюдна. Иногда казакам попадались странники, которые шатались по степи без всякой цели и злого умысла. При себе у них ничего не было, разве что немного соли, два-три сухаря, пара рыболовных крючков и ножик со сточенным лезвием. Казаки их не задерживали, давали сухарей и отпускали на все четыре стороны, пусть идут, может, где-то и набредут на своё счастье.

Прогулявшись по степи, казаки купались в реке, мыли коней, иногда полоскали пропотевшие рубахи и портянки, которые развешивали на кустах ивняка. На костре ключом закипала в котле вода, кошевар сыпал в неё крупу, а после клал свежешепчанную рыбу. Это варёвое называлось ухой, которую казаки уплетали за обе щеки с размоченными сухарями. Каждый старался наесться от пуза до следующего вечера, по-настоящему казаки ели один раз в день, днём голод утоляли сухарями и водой.

После ужина казаки занимались каждый своим делом: кто, достав из сумы иголку с дратвой и шило, чинил прохудившийся сапог, иной направлял на оселке лезвие сабли, другой проверял огневые припасы — пороховницу с зельем и кусанные пули, третьи осматривали своих коней, заметив рану или болячку, смазывали их дёгтем.

Своих казаков Сёмка держал в строгости, не давал им разбаловаться, ему нравилось начальствовать над людьми. Поначалу казаки пытались устроить игру в зернь, и Сёмке это страшно не понравилось: судьба брата, ставшего убийцей во время этой потехи, прошла и через него. Заметив, что четверо казаков собираются метать кубарь, он пришёл в бешенство, схватил плетё и отстегал игроков со страшной руганью. Казаки считали Ротова за спокойного и мирного парня, но после этого случая стали поглядывать на него с опаской.

Хотя Сёмка и был начальником, но сторожевой службы он не избегал, в очередь был ночным караульщиком на стане. В этот раз ему выпало не спать в предрассветное время. Он встал с войлока, свернул его и пошёл к реке умываться. Трава и мелкие камушки кололи избалованные сапогами подошвы ног. Сёмка подвернул штаны и зашел в воду по колено. Было зябко, предутренний ветерок пошумливал в камышах и морщил речную гладь. Хватая пригоршнями воду, он умылся и вышел на берег.

Казаки спали вокруг сторовешего костра, недалеко похрапывали отпущенные на пастьбу стреноженные кони. Сёмка обулся, взял ремень и подпоясался. Оправляя рубаху, он привычно ощущал зашитые в пояс рублевые кругляши. Их было одиннадцать штук. Пять рублей прибавилось месяц назад, когда казакам выдали жалование. Деньги Сёмка копил на свадьбу и постройку избы для своей семьи. По всем прикидкам это должно произойти после Покрова этого года. На вторую зимовую службу его не должны были оставлять, за ним уже была зимовая карсунская служба.

Последнее время Сёмку Ротова занимала одна дума, появилась возможность записаться в синбирские казаки. Перед отъездом в степь казаки слышали об этом от воеводы Хитрово, который объявил, что скоро, как подъедет из Карсуна дьяк Кунаков, для казачьей слободы начнут верстать землю под наделы в пойме Свяги, на её левом берегу. Сёмка побывал там, пригляделся, место доброе, земля чёрная, сенокосы богатые. Хитрово обещал от государя дать по пять рублей каждому казаку на домовое строение, это прельстило многих, в том числе и Ротова. Федька стал для семьи отрезанным ломтем, теперь все тягловые обязанности пали на Сёмку, в первую очередь налоги в казну. Одному отцу их было исполнять невозможно. Темниковская черта перестала быть пограничной, льготы с казаков скоро снимут, а их самих переверстают в посадских людей. Надо было решаться на переезд всей семьёй в Синбирск.

Из раздумий Сёмку вывел неясный шум, послышавшийся из-за реки. Казак взбежал на прибрежный бутор. Над водой было хмарно, туман мешал далеко видеть, и хотя Семка был глазаст, как собака, ничего не усмотрел приметного. Он вернулся на прежнее место, собрался сесть на траву, но послышался чей-то неразборчивый и торопливый голос, опять же из-за реки, чуть в стороне от того места, где прозвучал в первый раз.

«Чи вы! Чи вы!» — раздался, на этот раз отчётливо, птичий крик. Это был чибис,

вперевалку пролетевший над Сёмкой и тотчас повернувший обратно за реку. Чибис казакам был знаком, в первые дни после того, как они устроили стан, он порядком докучал им своими криками, видя в них недругов, но потом успокоился. «Его кто-то спугнул», — подумал Ротов и стал будить товарищей.

На стане он ставил двух казаков, приказав им быть настороже, а с остальными двинулся вдоль берега реки, пристально рассматривая местность. Через версту он обнаружил то, что искал. На мокром песке виднелись конские следы. Сёмка внимательно их изучил. Следов было много, недавно здесь прошли всадники, числом с десятков. Своих синбирских казаков здесь быть не должно, оставалось предположить, что гости явились из Дикого поля.

Взяв двух казаков, Ротов поехал вместе с ними впереди станицы, остальным приказал идти следом и не зевать, а зорко глядеть по сторонам. Казаки ехали навстречу утреннему ветерку, и скоро Сёмка учуял запах дыма. Он остановил своих спутников, а сам подъехал к большой старой ветле, сошёл с коня и полез на дерево.

Степные люди, видимо, шли всю ночь и остановились на днёвку в небольшом берёзовом острове. С вершины ветлы Ротов видел, как они разожгли костёр, поставили на него котёл, а коней собрались вести поить к реке в полуверсте от места, где находились казаки.

Сёмка мигом слетел с дерева, прыгнул на коня и махнул казакам рукой, чтобы они собрались к нему.

Хотя казаки на приступ пошли молча и быстро, застать противника врасплох им не удалось. У пришлых людей была собака, огромный степной пёс, который бешено завыл и залаял. Степняки быстро похватили копыя, вскочили на коней и оборотились против казаков, но те и не думали вступать с ними в сечу. В саженях пятнадцати от противника казаки осадили коней и схватились за пищали. Степным людям сила огненного боя была известна, как и то, что прицелиться и выстрелить из пищали было непросто. Казаки замешкались, в это время степняки успели развернуть своих коней и броситься в поле. Вслед им раздался пищальный залп, но на таком расстоянии пули пролетали мимо, кроме одной. Куском свинца была сбита наземь лошадь с всадником.

Брали его трудно, он бешено отмахивался от казаков кривой саблей и, брызгая слюной, визжал. Сёмку это раззадорило, он отвязал от коня свинчатку, кусок железа на аршинной верёвке, раскрутил её над головой и метко бросил. Свинчатка сшибла степняка с ног, он грохнулся на землю и затих.

— Это не ногаец, — говорили казаки, разглядывая пленника. — Уж больно широколиц и узкоглаз.

— Может, башкирец?

— Нет, башкирцы светлы и белокожи.

— Тогда калмык, — сказал Ротов. — Больше тут некому быть.

Пленник, спеленатый веревкой, крутил головой и плевался на всякого, кто к нему хотел подойти.

— На коней, казаки, — приказал Сёмка. — Пойдем к Часовне, полон надо доставить к воеводе.

В первые дни пребывания на Синбирской горе воевода Хитрово приказал устроить переправу через Волгу. Так на левом берегу реки возникла сторожа, в которой обретались караульные стрельцы. Первым делом стрельцы поставили на своём берегу малую часовню, от неё и пошло название сторожи. Часовню стрельцы, оставив место для нескольких изб, жилой, поварни и мыльной, окружили рвом, насыпали вал и в нём укрепили частокол из заострённых брёвен. Со стороны Волги была сделана пристань, широкий накрывавший мелководье настил, к которому чалились струги и лодки. Сами караульщики на службу не жаловались, жили они вольготно и сытно, рожки у стрельцов лоснились от рыбьего жира, трескали волжскую рыбу от пуза, не забывали и толокно.

Появление казаков с пленным калмыком было для стрельцов неожиданным. Сторож на вышке пялился на Волгу, где рыбаки тащили из воды невод с рыбой. Казаки со стороны поля заехали на сторожу, где их встретил полусотник в нательных штанах и босиком.

— Мух ртом ловите, раззявы! — зло сказал Сёмка голоштанному начальнику. — Вот навалятся на вас ночью калмыки и передушат, как курят!

Полусотник хотел огрызнуться в ответ, но увидел связанного азиата и онемел.

— Где его поймали? — озадаченно спросил он, чуть опамятавшись.

— У тебя под носом, — сказал Ротов, слезая с коня. — В десяти верстах от твоей сторожи станица калмыков проведывала степь. Взяли с боя, остальные утекли.

— Что ж вы, казаки, так оплошали? — насмешливо спросил полусотник, окончательно успокоившись. Он давал знать Сёмке, что тот простой казак, а перед ним начальник человек, полусотник.

— Остальных сам споймаешь, — спокойно сказал Ротов. — Давай лодку, языка нужно немедля доставить на другой берег, к воеводе.

Стрелецкий начальник смекнул, что оплошать в сём деле нельзя, и побежал на край пристани, где стал орать на всю Волгу, возвращая рыбаков на берег. Сёмка приказал своим казакам разбить стан близ сторожи и ждать возвращения. Представить пленника воеводе Хитрово он решил сам.

Подоспела лодка, рыбаки освободили её от своих снастей, четыре стрельца сели за весла, Сёмка втащил калмыка и привязал его за поперечную перекладину, сам сел рядом и велел отчаливать. С берега вода в Волге казалась спокойной, но лодка прошла треть пути, её стало качать и потряхивать на волнах. Сёмка большой воды не любил, остро чувствуя свою беззащитность перед стихией. Он посмотрел на пленного. Тот лежал на дне лодки и постанывал сквозь стиснутые зубы. Казаки сгоряча крепко связали его, и теперь калмыку приходилось тяжело.

Налегая изо всех сил на весла, стрельцы преодолели течение, особо мощное на стрежне реки, и Синбирская гора стала расти в размерах. Завиднелись избы у подножья горы, пристань и причаленные к ней струг и лодки. Сама гора слабо курилась дымом, ни изб, ни людей с воды на ней не было видно.

Лодка причалила к подгорной стороже, стрельцы помогли Сёмке вытащить пленного на берег, привели лошадь и забросили на неё калмыка. Сёмка взял в руки повод и полез в гору по наезженным и нахоженным следам. Подъём был крут, лошадь шла плохо, и Ротову пришлось её тащить за собой изо всех сил. Поднявшись на гору, он понял, что обессилел до мелкой и частой дрожи в ногах.

Сотни работных людей рыли с крымской стороны будущей крепости громадный ров и землю вынимали на город, чтобы устроить вал. На самой вершине горы кругом стояли кладки брёвен, а между ними виднелось несколько изб. К ним Ротов и направил свой путь.

День для Богдана Хитрово был начат с радостной вести, ему донесли, что к Свяиге подошёл дьяк Кунаков с полутора тысячами работных людей, присланных из Нижегородского уезда воеводой князем Долгоруким. Хитрово распорядился дать людям небольшой отдых и поставить на земляные работы, близко Петров день, скоро макушка лета, а сделано на строительстве гораздо меньше того, что воевода задумывал.

— Дожал-таки, Григорий Петрович, ты князя Долгорукого, — довольно сказал он дьяку. — От государя нам отписали, что люди посланы, а их не было до сего дня.

— Князь мыслил, как в прошлый раз, отсидеться за посулами — не вышло, — ответил Кунаков. — А на горе, я зрю, дело спорится.

— Брёвен на важные избы и треть ограды навалили, — сказал Хитрово. — Завтра начнём ставить наугольную башню на крымской стороне, что к Волге. Прохор Першин назавтра обещал нам новость.

— Что за новость?

— Я знаю какую, но промолчу, — ответил воевода. — Хорошая новость и нужная.

— А это что там за напасть! — встревожился дьяк, указывая на Ротова, который приближался к воеводской избе.

На Сёмку с его поклажей обратили внимание и работные люди, они бросили лопаты, оставили носилки, на которых таскали землю на вал, и окружили воеводскую избу.

Возле крыльца казак снял пленного на землю, попытался поставить на ноги, но тот валился на сторону.

— Развяжи языка, — приказал Хитрово, спускаясь с крыльца. Сёмка освободил пленного от верёвки, несколько раз встряхнул, и тот открыл глаза. — Кто таков? — спросил воевода.

Калмык закусил губы и закрыл глаза.

— Эге! — воскликнул дьяк Кунаков. — Нехристь в молчанку задумал играть. Вели, воевода, посадить его в яму да вели кликнуть Коську Харина и толмача Урчу. Те ему скоро язык развяжут.

— Добро! — сказал Хитрово. — Распорядись сам. А ты, казак, ступай за мной.

Новая воеводская изба ещё сочилась смолкой, запах в ней дурманный от свежих сосновых брёвен. Она была много просторней карсунской съезжей, для воеводы в ней устроили особые покои.

— Ты, кажись, Сёмка Ротов? — спросил Богдан Матвеевич. — Где языка взял?

— Близ Чердаклов. Их до десятка было. Остальные ушли, в этом, воевода, винюсь.

— Казаки все целы?

— Все, — ответил Ротов. — Оставил их на Часовне.

— Васятка! — крикнул Богдан Матвеевич. — Дай мне мой кошель, — воеводский слуга быстро явился из соседней комнаты с небольшой кожаной сумой. Хитрово сунул в него руку и достал рубль. — Держи, казак! Это тебе за службу. Далёко не отходи, я тебя кликну.

Сёмка схватил рубль, земно поклонился воеводе и вышел из избы.

Сотник Агапов со своими казаками только что вернулся с Арбугинских полей и остановился неподалеку в шалашах, расставленных на склоне горы с свияжской стороны. Сёмку он встретил дружелюбно.

— Что, парень, я прослышал, ты языка в тороках привёз, — сказал он, обнимая молодого казака. — Большое дело! А мы вплоть до Усолья ходили. Беглых людишек видели, это было. Да их какой прок к воеводе тянуть, сироты лучшей доли ищут, — подошли другие казаки и шумно поприветствовали Сёмку. Он был среди казаков в полном уважении, несмотря на молодой возраст. — Давай-ка отойдем, Сёмка, на сторону, — сказал Агапов. — Кое о чём перемолвиться надо, — они прошли вглубь леса и сели на поваленную ветром старую липу. — Дело есть к тебе, казак, — сказал сотник. — Воевода велел мне выбрать из казаков полусотника, старого Семёна Аверьяныча совсем болезнь скрутила. Я мыслю тебя. Как ты?

— Нет, не надо, — стал отнекиваться Сёмка. — Лучше казаки есть. Я не гожусь.

— Это почему? — удивился Агапов. — Жалованье больше, земли получишь тоже больше.

Ротов молчал, опустив голову.

— Я бы пошёл в полусотники, — сказал он. — Да ведь брат Федька — убивец. Он всему помеха. Я ему кровный родич и за него в ответе.

— Погоди, не торопись, — возразил Агапов. — Ты младший брат и за старшего не в ответе.

— Не знаю, что и сказать. Делай, сотник, как знаешь.

— Добро, — Агапов встал с липы. — Сегодня же скажу воеводе. Ну, пошли к ребятам.

Когда они подходили к казакам, взиравшим с любопытством на их беседу, Семка, собравшись с духом, спросил:

— Ты в Арбугинских полях и близ Волги о Федьке слышал?

— Нет. Ни слуху о Федьке, ни духу.

Казаки явились из степи не с пустыми руками, у них было много солёной рыбы и усольской соли. Из всей этой добычи они выделили Сёмке и его казакам щедрый пай. Сёмка взял солёного леща, понюхал и почувствовал, как во рту прибыло слюны.

— Как посол, Сёмка? — спросил Агапов.

— Скусно воняет, — ответил Ротов, с жадностью вгрызаясь в хребет истекающей жиром рыбины. От этого занятия его оторвал Васятка:

— Поспешай, Сёмка! Тебя дьяк Кунаков кличет!

Казак даже ухом не повёл. Доел леща, обтёр руки листьями и встал с бревна.

— Не трепещи, Васятка, — сказал он. — Я тебя не выдам.

Кунаков горел нетерпением начать кнутобойный розыск над пойманным калмыком. Спешно были призваны к тюремной избе Коська Харин и старый Урча. Сам Кунаков очинил перья, освежил чернила в чернильнице и склеивал листы бумаги в столбец для сыского допроса. На земной поклон Сёмки он едва обратил внимание.

— Будешь при мне в розыске, — сказал дьяк.

Тюремная изба была построена, ввиду её нужности, сразу же вслед за воеводской. Это был сруб, опущенный в землю, высотой всего в два аршина, чтобы узник не мог встать в полный рост, и другой сруб, просторный и много выше земляного. К потолку верхней избы были присособлены крючья, а под ними устроен очаг из речных булыжников. Коська Харин успел зажечь на нём горку угольев, которые жарко дышали.

— Тащите калмыка! — распорядился Кунаков, устроившись на лавке у стены, — Коська поднял творило тюремного погреба и спустился вниз. Послышалось сопение, визг, и на пол избы выкатился калмык. Следом, пытаясь, вылез Коська. — Урча! — сказал дьяк, доставая из волосьев головы перо. — Спроси языка, куда он шёл, сколько было людей и с какой целью.

Услышав звуки родной речи, пленник вскочил на ноги и, сверкая глазами, уставился на Урчу. Когда тот замолк, калмык выстрелил в него скороговоркой и отвернулся, презрительно плюнув на пол.

— Что он сказал? — спросил Кунаков.

— Плохо сказал, — произнес Урча. — Отца моего ругал, детей.

— Ты что, его знаешь?

— Нет, мы разных родов. Я дербет, он торгут.

— Добро, — сказал Кунаков, засовывая гусяное перо в волосы головы. — Отмолчаться вздумал. Скажи Урча, что сейчас ему пятки припекут угольями, — Урча перевёл сказанное дьяком пленнику, тот не ответил. — Коська, начинай! — приказал дьяк.

Палач подхватил калмыка и за руки подвесил его к потолочному крюку на верёвке, которую держал в руках. Затем одной рукой разворошил угольи, а другой ослаблял верёвку, опуская узника в огонь. Сёмка, стиснув зубы, заставил себя посмотреть в лицо

калмыка. Оно было каменным, казалось, что этот человек не чувствует боли. В избе запахло горелым мясом.

— Возьми кнут, Коська! — приказал дьяк. Палач коротким и тяжёлым кнутом ударил калмыка поперёк спины. Тот изогнулся и, дёрнувшись в сторону дьяка, плюнул в Кунакова кроваво-красным шматком. — Что это? — дьяк побледнел, рассматривая плевок на полу.

— Он откусил себе язык, — сказал Урча. — Вели его снять с крюка, он теперь нем. Кунаков был в ярости и обрушил её на Сёмку.

— Коська! — грозно приказал он. — Сними с крюка нехристя и кинь в яму. А ты, Сёмка, пооди ко мне! — казак ошеломленно посмотрел на рассвирепевшего дьяка. В голове тревожно звякнуло: «Вот и пришёл на меня розыск!» На неверных ногах он пошёл к Кунакову. — Отвечай, Сёмка, перед Христом и дыбой, как на духу: ты пособил бежать брату Федьке? — Ротов молчал, не смея взглянуть в глаза допросчику. — Коська! — сказал дьяк. — Возьми его и подвесь на крюк, — первой мыслью Сёмки было бежать, пока палач не накинул на него верёвку, но ноги не шли. Коська осторожно придвинулся к Ротову, затем, поняв, что тот не противится, связал ему руки и накинул верёвку на крюк. — Тяни! — приказал дьяк. Палач поднял казака так, что тот только едва касался ногами пола. — Так помог ты бежать Федьке и где этот вор обретается? — спросил дьяк, усаживаясь на лавку и доставая гусяное перо. — Отвечай, страдник!

— Я не ведаю, где Федька, — пробормотал Сёмка. — Я за брата не ответчик!

— Гляди-ка, заговорил! — притворно удивился дьяк. — А я, грешным делом, подумал, что ты себе язык откусил, как калмыцкий нехристь. Говори, где Федька?

— Не ведаю, — слабым голосом произнес Сёмка. — Может, сгинул.

— Как же сгинул, — ухмыльнулся дьяк. — Казацкое отродье живуче, как псы. Коська, возьми кнут и прострочи ему спину, чтоб за ум взялся.

Палач обхватил костистыми пальцами кнутовище, но по воле случая в избу зашёл Хитрово, решивший глянуть, как дьяк учиняет розыск над пленным калмыком. Увидев на крюке Сёмку, воевода поразился:

— Что здесь творится, дьяк?

— Учиняю розыск по вору Федьке Ротову, — ответил, вставая с лавки, Кунаков.

— Но на крюке не Федька, а Сёмка. Разве он за старшего брата ответчик?

— Сёмка Ротов молод, но тоже глядит в воры, — твёрдо сказал Кунаков. — Лучше ему быть битым сейчас, чем быть завтра повешенному.

— Сними парня с крюка, — сказал воевода Коське. — А что калмык?

— Худо с собой сотворил, — ответил дьяк. — Язык себе откусил напрочь. А Сёмку ты зря, Богдан Матвеевич, отпускаешь. Парень хлюст — лапти плетёт, а концов завязывать не умеет. Коська из него одним ударом повытряс бы всю правду.

— После поговорим, Григорий Петрович, — сказал Хитрово. — А ты, казак, следуй за мной.

Сёмка едва верил своему спасению, но быстро пришёл в себя и зло глянул на Коську, погоди, мол, кривая харя, разочтуйся я с тобой в потёмках.

Васятка встретил Ротова на крыльце воеводской избы вопрошающе-испуганным взглядом: не проговорился ли казак о нём. Сёмка на него даже не глянул, шёл за воеводой, не ведая, что его ждёт — гнев или милость. В избе их поджидал сотник Агапов.

— Калмык, значит, смолчал, — сказал Хитрово. — Но слова его нам не очень нужны. И так, как Божий день, ясно, что калмыки, по примеру прежних лет, собираются всей своей мочью напасть на степную границу. Неведомо, куда они пойдут, на Самару или на нас, но следует быть готовыми к отпору. Ты, Агапов, забирай свою сотню, переходи в Заволжье и будь готов встретить незваных гостей.

— Когда выходить, воевода? — спросил сотник. — Казаки вечером в мыльню наладились.

— Пусть попарятся, — разрешил Хитрово. — Отправляйтесь завтра поутру. Теперь твоё дело, казак Ротов. Сотник Агапов просит за тебя, чтобы быть тебе полусотником. Как поступить?

— Все в твоей воле, воевода, — тихо сказал Сёмка.

— А сам ты как? — Сёмка молчал. — Дьяк Кунаков на тебя зол, — продолжил Хитрово. — Помогал ты брату или нет, я разбираться не стану. Ты, казак, ответь мне одно: могу я на тебя быть в надежде?

— Можешь, воевода! — выдохнул Ротов, преданно глянув в глаза окольного.

— Добро, — помолчал, сказал Хитрово. — Быть тебе полусотником, но не сразу. Будешь за Волгой вместе с Агаповым. Сотник, добавь к его двум десяткам казаков ещё три десятка из тех, что намерены подошли. Начальствуй, Ротов, а полусотника я тебе пожалуй по делам твоим в поле. Всё, ступайте! — на крыльце казаки едва-едва успели разминуться с Кунаковым, который шёл к воеводе, насуленный и недовольный. — Григорий Петрович! — ласково встретил его Хитрово. — Ты сразу увяз в наших делах,

даже в своей половине не разместился. А у тебя палаты не хилее моих. Пойдём глянем.

— После, Богдан Матвеевич, — тяжело вздохнув, сказал дьяк. — Зря ты отпустил Сёмку с крюка. Под кнутом я бы разведал, где вор Фёдка.

Хитрово поскучнел, сел в кресло и холодно глянул на дьяка.

— Дался тебе этот Фёдка, Григорий Петрович! Добрый был казак, кабы не эта зернь. Вот ты глянь вокруг себя. Много ли видишь добрых людишек из тех, что у нас есть? Один глуп, другой трус, а остальные так и вовсе дураки, прости Господи!

— Воровству я не потатчик.

— Прикуси язык, дьяк! — озлился воевода. — Выходит, я потатчик?

Кунаков уже горько сожалел о вымолвленном слове.

— Помилуй меня, дурака старого, Богдан Матвеевич! В сердцах я нынче. Калмык язык откусил, такого при мне прежде не бывало, вот и затемнило разум!

— Ладно, обидой сочтёмся, Григорий Петрович! — мирно сказал Хитрово. — Нам о деле государевом мыслить нужно. Но прежде о Ротове. Я догадываюсь, что казак помог брату. За это его можно было изуродовать, но какая от этого нам польза? А из Сёмки будет добрый полусотник, вот только посмотри его в деле. А теперь пойдём глянем на твои хоромы.

Комнаты дьяку были отведены рядом с воеводскими, но со своим отдельным выходом на крыльцо. Помещение было просторным, к глухим стенам приделаны широкие лавки, небольшие окна замощены прозрачной слюдой. В передней комнате стоял широкий стол, ларь для бумаг и прочих писчих хитростей.

— Васятка! — сказал Хитрово. — Тащи укладку, — расторопный слуга быстро принёс длинный рогожный свёрток и уронил на пол. — Разворачивай! — приказал воевода. — Прими, Григорий Петрович, подарок на синбирское новоселье.

Васятка освободил от рогожи и развернул на полу чёрный с красными и зелёными узорами ковёр.

— Лепота! — воскликнул Кунаков и кинулся поцеловать воеводскую руку. Хитрово обнял пожилого дьяка за плечи. Тот расчувствовался почти до слёзной мокроты, лестно было Кунакову, что так его щедро уважил молодой воевода.

— Располагайся, Григорий Петрович, отдыхай. Васятка у тебя побудет, поможет в устройстве жилья.

Хитрово вышел на крыльцо и осмотрелся. День шел на убыль. Работные люди после обеденного отдыха опять застучали топорами, взяли в руки лопаты, на очищенные от леса места заезжали возы с хрустом (речной галькой), которой засыпались и утаптывались многочисленные ямины, оставшиеся от выкорчеванных пней. Лесосека передвигалась на сторону, ближнюю к Свяиге, там то и дело с протяжным гулом одна за другой, сотрясая землю, падали вековые сосны. Лес отступал перед слаженным натиском людей, не имея возможности сопротивляться, падал замертво на том месте, где и родился.

Воевода с началом работ на Синбирской горе заимел привычку совершать ежедневный обход, осматривая хозяйским глазом, что сделано. Не отступил от этого правила он и сегодня. Спустился с крыльца и пошёл мимо больших кладок брёвен. Привычным движением ощупал ладонью шершавый сруб дерева. Вторую неделю было жарко и ветрено, и брёвна за это время достаточно высохли, чтобы годиться в работу. Возле новых кладок с волокуш снимали свежие брёвна и укладывали их ряд за рядом на берёзовые слеги, чтобы между рядами были продухи.

Мужики, завидев воеводу, снимали шапки и низко кланялись. Рядом с кладками плотники рубили разом, один возле другого, четыре сруба. Хитрово засмотрелся на их ловкую и слаженную работу. Тюк! Тюк! И чашки, вырубленные в бревне, готовы. Мужики воткнули топоры в колоду, схватили приготовленное бревно и уложили его точно на место, завершив очередной ряд сруба.

К Хитрово приблизился приказчик Авдеев. Дела у него до воеводы не было, просто подошёл, чтобы постоять подле начальника, может, в чём-то ему понадобится. Но Хитрово смотрел мимо него, над Волгой колебалось марево, высоко летали стрижи и ласточки, было знойно. Мужики опять взялись за топоры, Хитрово глянул на них — рубахи на спинах почернели от пота, засолонели.

— Что, приказчик, — спросил Богдан Матвеевич заждавшегося его внимания Авдеева. — Нынче срубы для башни закончите?

— Не уйдём, воевода, пока не срубим. Немного осталось.

Не торопясь, Хитрово пошёл дальше. Неподалеку было место, которое он осматривал каждый день. Когда работные люди пришли на Синбирскую гору, первым спохватился Прохор Першин: где брать воду? Близ крепости и в ней самой выходов подземной воды не было, хотя гора со всех сторон сочилась родниками. В мирное время воду в град можно завозить из Синбирки или Свяиги, но в случае осады без источников воды обойтись нельзя. Першин негодовал, кто измыслил ставить град, а выходов воды

не проведал? Хитрово в душе с градоделцем согласился, но сделанного не вернёшь, а на Москве привыкли повелевать, не особо раздумывая, указали граду быть на Синбирской горе, так изволь, воевода, исполнять государеву волю и ни шикни.

Так же поступил и Хитрово по отношению к своим подначальным людям.

— Ищи, Першин, воду! Без колодца крепости быть немочно!

Першин кликнул колодезных умельцев, они облазили всю гору, вертели в руках прутья, слушали землю, наконец, указали место, где вода должна быть. Градоделец доложил это воеводе.

— Ройте! — повелел Хитрово. — Но коли не отыщете водяную жилу, всех засыплю в колодец!

И вот скоро как месяц люди копали колодец. Хитрово подошел к месту работы. Два мужика вращали ворот и что-то волокли из земли. Намотали много верёвки, когда выползла большая бадня, в которой, согнувшись, сидел Прохор Першин. Он был густо присыпан мокрой глиной. Выбрался из бадни, отчихался, отряхнулся и ответил на немой вопрос воеводы:

— Глина мокрая, а жилы пока нет.

— А будет ли она? — спросил воевода, заглядывая через край колодца в непроглядную темь.

— Должна быть, — сказал Першин, но уверенности в его голосе не было.

— Сколько вглубь прошли?

— Сегодня мерили, восемь саженей, — ответил градоделец. — Еще сажень пройдем, может, жила под нами.

— Ты колодец оставь, — сказал Богдан Матвеевич. — Не забыл, что завтра наугольную башню начнем ставить?

— Как можно, воевода! Об этом только и мыслю. Завтра я твоей милости игрушечный град представлю.

Богдан Матвеевич отправился далее, намереваясь проведать, как продвинулось устройство земляного вала и рва, но его догнал Васятка.

— Господине! — сказал он. — Там под горой струг подошёл. Кунаков велел кликнуть твою милость на Венец.

Весть о прибытии струга мигом облетела всю Синбирскую гору. Все люди, до кого она донеслась, оставили работу и бросились к Волге, чтобы своими глазами увидеть первых гостей на этой земле. Одни смотрели на струг с Венца, другие побежали вниз, хотя причин для радости в этом событии у них не было, но люди падки на всё новое, что нарушает течение их размеренной жизни.

— Это тот струг, о коем писали из Разрядного приказа, — сказал Кунаков. — С зельем и свинцом.

Хитрово смотрел на струг со своим ожиданием. Конечно, и припасы для огневого боя нужны, но ещё больше желанны для него свежие московские вести, от них воевода порядком поотстал, уже месяц Москва не слала никаких грамот.

Прибывшие люди сошли со струга и стали подниматься в гору. Острым взглядом Богдан Матвеевич рассмотрел, что впереди идут стрельцы, за ними какие-то мужики, а позади их опять стрельцы.

— Кого это к нам прислали? — вымолвил он, отмечая, что последними бредут поп с вьюком на спине и баба с ребёнком на руках. — Распорядись, Григорий Петрович, чтоб к стругу караул выставили, — Кунаков призывно махнул рукой и отдал приказ подбежавшему стрелецкому сотнику. Тот опрометью кинулся с горы вниз, где на ногах, а где юзом. — Пойдем, дяк, встречать гостей к избе, — сказал Хитрово. — Васятка! Сбегай на поварню и скажи, чтобы готовили к ужину на сорок человек добавочно к остальным.

От воеводского крыльца казаки Агапова оттеснили работных людей подале. Ближе были допущены только начальные люди — сотники и приказчики. Стрелецкий капитан Нефёдов подошёл к крыльцу, низко поклонился воеводе и подал грамоту. Хитрово её неспешно вычел и сказал:

— За свинец и зелье хвалю, эти припасы мы ждали. А вот стрелецкие буяны и греховодники для нас новость. Мы не кланялись Разрядному приказу, чтобы он пожаловал нас стрелецким сбродом. Может, ты что знаешь, Нефёдов?

Ссылные стрельцы запереглядывались, синбирский воевода на ближний год решал их арестантскую судьбу.

— Мне неведомо, почему их послали в Синбирск, — сказал Нефёдов. — Велено сдать их здесь и идти на Астрахань.

Хитрово задумался. Держать этих буйных людей на горе было бы неразумно.

— Что ж, от даров не принято отказываться, — насмешливо произнес Богдан Матвеевич. — Есть среди вас охотники ловить рыбу? — ссыльные переглядывались и молчали. — Я так понимаю, что все вы матерые рыбаки, — сказал воевода. — Григорий

Петрович, отправь этот сброд на Ундоровский остров, подале от града. Пусть там живут и рыбу ловят для работных людей. Завтра отправь, а сегодня запри на подгорной стороже. Что ещё, Нефёдов?

— Разреши, воевода, остаться на день здесь. Люди устали, а впереди большой путь.

— Оставайтесь, — сказал Хитрово. — Приказчик Авдеев! Укажи стрельцам место, где стать.

Нефёдов и его стрельцы ушли за Авдеевым, а ссыльных окружили казаки и повели под гору, там им предстояло находиться до утра, когда их посадят на лодки, дадут мешок толокна, соли и отправят до глубокой осени на сырой и комариный Ундоровский остров, ловить рыбу.

С отцом Никифором Богдан Матвеевич, уважая его священнический сан, не стал разговаривать прилюдно, позвал его за собой в избу. Поп поставил свою поклажу у ног жены, перекрестил младенца и отправился за воеводой.

— Как, Никифор, доехал? — спросил Богдан Матвеевич. — Стрельцы не обижали?

— Спасибо, боярин. Доехали хорошо. А стрельцы вели себя смирно, Нефёдов их в кулаке держал.

— Это точно, что в кулаке, — согласился Хитрово. — Такого страховидного громилу на Москве второго не сыщешь. Ты, я вижу, с семейством прибыл. Это хорошо, значит, бежать не думаешь?

— Как бежать! — всполошился Никифор. — Я это место из рук патриарха Иосифа получил. Ртищев боярин и твоя милость этому способствовали. Я сюда пришел до тех пор, пока Господь не призвёт меня, грешного.

Хитрово улыбнулся, поп был прост, как малое дитя, верил каждому слову, даже сказанному в шутку.

— Годи! Никифор, — остановил он попа, готового поклясться перед иконой, что из Синбирска не убежит, — надо помыслить, где тебя поместить на время. Васятка! — слуга был рядом. — Призови ко мне Першина.

— Мне бы не хотелось кого-нибудь утеснить, — робко сказал Никифор.

— Не о тебе речь, а о жёнке с дитём. А теперь поведай, как там Ртищев, Неронов?

— У благочинного Неронова я жил, с окольным Ртищевым прощался. Он твоей милости грамоту послал через меня. Боже, а я ведь чуть не запамятовал! Тут тебе еще грамотки от Ивана Матвеевича и боярыни Марии Ивановны.

— Экий ты, Никифор, человек! — Хитрово от волнения даже приподнялся с кресла. — Я жду эти грамоты, а ты держишь.

— Помилуй, боярин! Вот они, — Никифор протянул Богдану Матвеевичу прочно увязанные в кожу свитки. — Эх, Богдан Матвеевич! Не хотел я тебе худую весть доносить, но придётся.

— Что такое? Говори!

— Худо на Москве. В день моего отъезда стрельцы и народ бунт учинили. Плещеева, Траханиотова и Чистого толпа разнесла в клочья, их дома сожгли, от этого случился великий пожар.

— А что государь? Что с ним? — Хитрово вскочил с кресла и схватил попа за плечи.

— Великий государь цел. Люди злы на бояр.

— Как боярин Морозов?

— Не ведаю, господине, — тихо сказал Никифор. — Бунтуют и другие города.

Из сказанного попом Богдан Матвеевич понял, что его худшие опасения подтвердились. Самоуправство Морозова, сбор с битьём недоимок по налогу на соль, воровские слухи о подчинении царя боярам привели к народному возмущению и бунту. «Видимо в Москве великий переполох случился, — подумал Богдан Матвеевич, — раз не могли известить меня о бунте».

— О московской замятне молчи, — сказал Хитрово. — Не ровен час, раззудишь какую-нибудь сволочь.

— Будь покоен, воевода, смолчу, — ответил Никифор.

Размышления воеводы прервал Першин. Он с опаской зашёл в комнату, страшась, что Хитрово спросит о водяной жиле, которую ещё не нашли. Но услышал другое:

— Ты, Прохор, не слишком запакостил свою избу?

— Как можно? Я привычен жить один, мету пол сосновыми лапами.

— Добро, что так, — сказал Богдан Матвеевич. — Собери свои вещи и уйди куда-нибудь на время, пока не поставишь отцу Никифору избу.

— Твоя воля, господине. Избу попу завтра начнем рубить. А что храм?

— Это первое дело! — воскликнул Никифор. — Моя изба может погодить.

Хитрово священник нравился все больше и больше.

— Ступай, Прохор! Подожди на крыльце, — сказал он. — Храм будем ставить не медля. А сегодня ты, Никифор, устраивайся с попадьей и дитём на ночлег, — поп отступил к двери, собираясь выйти. — Погоди. Ты у меня был, как боярыня Мария Ива-

новна?

— Здорова, весела, — ответил Никифор. — Так угостила, что я из-за стола едва выполз. Твой ключник меня еле живого на возке до Казанского собора отвез, сам не дошел бы.

Богдан Матвеевич улыбнулся.

— Ступай, Никифор. Устраивайся на новом месте.

Избой Першина был сруб, покрытый горбылями, оставшимися после вырубки из бревен брусьев. Из таких же горбылей был сделан пол.

— Тут я от дождя хоронюсь, — сказал градоделец. — А когда сухо, в шалаше почиваю, тут рядом.

— Утеснил я тебя, — вздохнул Никифор. — Видишь, какое дело — с дитем под открытым небом не поночуешь.

— Все мы люди, разве я не понимаю, — сказал Прохор. — А я вот всю жизнь в частых и долгих отлучках. Своих ребят почти не вижу.

После ухода Першина Марфинька, всегда стеснявшаяся чужих людей, повеселела. Никифор развязал укладку с вещами, взял образ Святой Живоначальной Троицы и приставил к стене. Младенец Анисим будто ждал этого часа, завозился и громко возвопил. «Чудно, — подумал Никифор. — неразумное дитя, а Бога славит». Марфинька пыталась сунуть ребенку титьку, но тот её выплевывал и отталкивал ручонками.

— Беда, Никиша! — загоревала Марфинька. — У меня молоко пропало.

— Что ж теперь делать? — испугался Никифор.

— Дай мне сухарь и тряпицу. Жовку надо жевать.

### — 3 —

Ранним утром, как только лишь зарозовело небо за Волгой, разразилась скоротечная гроза с гулками и спешащими друг на друга громами, легким, почти невесомым дождем, который не столько мочил землю, сколько щекотал ее своими теплыми струями. Дождь прошел несколькими шумными полосами над Синбирской горой, подгорьем и Волгой, освежил воздух, и стали заметнее запахи земли и леса. Казалось, нечто неземное своими божественными перстами коснулось земли, разбудило её и придало новые силы для жизни.

Гроза разбудила Хитрово, он сладко потянулся всем телом и открыл глаза. Через небольшое, в две мужицкие ладони, оконце в избу лилась полоса зыбкого света. Слюды на оконце не было, и Богдан Матвеевич увидел на нём то, что уже привык видеть каждое утро, рассветную гостью — синичку. Она появилась сразу после постройки избы, сначала сидела на подоконнике, отбрасывая дрожащую тень на противоположную стену, затем стала залетать в комнату, иногда присаживалась возле Хитрово на кресло или стол, вертела головой, покачивала хвостиком и весело насвистывала. Сегодня синичка показалась Богдану Матвеевичу особенно чистой и нарядной. Она сидела на сундуке, иногда постукивала клювом в деревянную крышку. Хитрово бросил ей несколько сухарных крошек, но птичка не склевала их, а подхватила и, держа в клюве, выпорхнула на волю.

Проводив взглядом утреннюю гостью, Богдан Матвеевич подошёл к столу. Полученные вчера грамотки притягивали его, он их снова прочёл, особенно от жены, с великой радостью, которая скоро сменялась грустью. Разлука с Москвой и столичной жизнью ему уже прискучила. Конечно, постройка крепости — большое дело, но разве с этим не справился бы иной стольник и воевода, которому это привычно. Об этом же ему писал Фёдор Ртищев: «Великий государь вспоминал тебя и хвалил, сожалеючи, что ты далеко, и спрашивал боярина Бориса Ивановича Морозова, не взять ли тебя из Синбирска на Земский приказ заместо Плещеева, на коего бьют челом и московские дворяне, и гости, и простые люди. Но Морозов за Плещеева горой, и это великого государя печалит».

Хитрово усмехнулся, Ртищев писал эту грамоту за несколько дней до бунта, тогда никто не ведал, что вспыхнет народное возмущение и сметет, казалось, незыблемых временщиков — Морозова, Плещеева, Траханиотова и Чистого. Хитрово бунт не испугал, но поверг в глубокое и печальное раздумье. Всё ли ладно в Русском государстве? Богдан Матвеевич по рождению был дитя Смуты, потрясавшей русские земли почти двадцать лет. С младенчества он только и слышал о том, как страну терзали, грабили и насиловали то поляки, то шайки малороссийских казаков и разнузданной черни, а соль земли русской, высшая родовая знать, этому способствовала своим раболепством перед иноземщиной и единой верной сволочью. Хитрово и его род росли и поднимались при первом государе Михаиле Романове, для них эта династия и возрождающаяся Россия были настоящей родиной, с которой связывала пролитая за неё кровь, и новое потрясение России Богдан Матвеевич переживал всем сердцем, глубоко и тревожно.

Его взгляд снова упал на грамоту жены, которую он получить никак не чаял. Она писала о домашних делах, о чувствах не было ни слова, и вместе с тем это было и признание в любви и тоске по любимому мужу. Богдан Матвеевич сложил грамоты и спрятал их в сундук, женину положил отдельно, в суму, где хранил государевы грамоты, посланные ему лично.

Одевшись, Хитрово вышел из избы и увидел, что его ждет Першин.

— Я готов, — сказал, поклонившись, градоделец. — Игрушечный город стоит подле наугольной башни.

— Его там не растащат? — спросил Хитрово.

— Двое стрельцов сторожат, с пищалями, — ответил Першин. — Начальные люди собрались и ждут.

Между срубов, подготовленных для крепостной башни, стояли дьяк Кунаков, приказчики, сотники, плотницкие десятники.

— Кликните отца Никифора, — приказал Хитрово. — Закладку башни надо освятить. Показывай, Прохор.

Покраснев от волнения, Першин подошел к большому, сажень на сажень, ящику и снял с него рогожное покрытие. Перед людьми открылась захватывающая картина — игрушечный рубленый город. Здесь были рвы и валы, опоясывающие крепость, стены с бойницами для ведения верхнего, среднего и подошвенного боя, помосты на стенах для ратников, башни и проездные ворота. Внутри города Першин разместил воеводскую избу, церковь, избы ратных людей, амбары для государева хлеба, погреб для сбережения пороховой казны и свинца, поварню, конюшню для боевых коней, земляную тюрьму, осадные избы для житья во время осады посадских и иных людей, которые сбегутся в город при появлении врагов.

— Круго ты замесил, Прохор! — довольно сказал Хитрово. — Чуть ли не вторую Москву надо ставить.

— Иначе никак нельзя, — сказал ободренный похвалой воеводы Першин. — Град должен иметь в себе все нужное для войны и мира.

Начальные люди обступили игрушечный град с великим любопытством, дивуясь умению градодельца изобразить в малом великое.

— Надо же! Одним топором сотворил такую лепоту! — с чувством доброй зависти сказал приказчик Авдеев.

Тихонько протолкавшись между людей, к городу просунулся отец Никифор, увидел игрушечную церковь и накинулся на Першина:

— Ты что, плотник, без ведома церковных людей Божий храм ставишь? Почто церковь одноглава?

— Что не так? — смутился градоделец. — Церковь она и есть церковь, а место для нее определено самое видное, посреди града.

— Я не о месте пекусь, — сказал Никифор. — Храм во имя Святой Живоначальной Троицы должен быть треглав.

Этого Першин не ведал, потому еще больше смутился и виновато глянул на воеводу.

— Никифор прав, — сказал Хитрово. — Храм будет поставлен о трех главах. Сможешь, Прохор?

— Прежде не ставил, но смогу, — ответил Першин.

— Вот и добро. Ставь, да с отцом Никифором совет держи.

Начальные люди продолжали рассматривать игрушечный город, а Никифор поспешил к месту ночлега. Сегодня ему предстояло совершить важное дело — освятить закладку первой башни Синбирской крепости. Помятуя об этом, он проснулся с первым утренним бликом и начал приготавливаться. Рукодельница Марфинька и на струте не бездельничала, сшила из полученного на Казенном дворе сукна фелонь, которую Никифор еще вчера примерил и остался ею премного доволен. Он спешно облачился в нее и епитрахиль, взял священные предметы и поспешил к месту закладки башни.

Игрушечный городок воеводе понравился, и он велел оставить его, под присмотром караульщика, на весь день доступным для работных людей, пусть смотрят, дивуются и знают, что им предстоит сделать на Синбирской горе.

Работы на крепости шли с рассвета, с Крымской стороны ров и вал были уже наполовину сделаны, пора было приступить к возведению рубленого города, и Хитрово с начальными людьми направился к волжскому берегу.

Возле ямы стояли готовые срубы, дубовые для основания башни и сосновые для ее надземной части. Хитрово заглянул в яму, она была глубока и широка, в лицо пахло холодком и сыростью.

— Все ли готово? — спросил Богдан Матвеевич.

— Люди на месте, можно начинать, — сказал дьяк Кунаков.

Все вокруг встали на колени. Отец Никифор зажег три восковых свечи на столце

перед иконой и, возглашая молитву, стал совершать каждение перед образом Святой Живоначальной Троицы. Запахло ладаном, все люди молились. Затем приказчик Авдеев приблизился к столцу и положил на него камень, на котором было начертано, что он освящен и положен в основание Синбирской крепости. Отец Никифор, окропляя камень освященной водой, провозгласил: «Боже вседержитель, сотворилый небеса, утверди град Синбирск на твердом камне, основай по твоему божественному, евангельскому гласу, ее же ни ветер, ни вода, ничто не повредите! Яко твоя держава, и твое есть царство и сила, и слава отца и сына и святого духа, ныне и присно, и вовеки веков!»

Приказчик Авдеев взял закладной камень, по лестнице спустился в яму и прикопал его на дне. Отец Никифор подошел к яме, окропил, с молитвой, её и ближайший к ней дубовый сруб. Плотники взяли вшестером аршинной толщины дубовое бревно со сруба, закрепили его верёвками на двух блоках и бережно опустили в яму. За ним уложили в яму еще три бревна — первый венец боевой башни.

Богдан Матвеевич подошел к священнику, который собирал со столца священные предметы.

— Как устроился, Никифор?

— Слава Богу, боярин, я на месте. Не могу ещё охватить моей радости.

— Брат Иван пишет мне, что с тобой на струге шли иноземцы, — сказал Хитрово.

— Как они?

— Православные люди, шляхтичи, — ответил Никифор. — Они сейчас из Казани идут на реку Майну, где великий государь пожаловал их землей.

— Смелые люди, не боятся Дикого поля, — удивился Хитрово. — Или не ведают, как бывают злы башкиры и калмыки. Сколько среди них мужей в силе?

— Четверо, — сказал Никифор. — Но им в Казани мужиков дадут из государевых сёл.

Богдан Матвеевич увидел, как к волжскому свозу подходит казачья сотня Агапова и спешивается, чтобы вести вниз коней в поводу.

— Васятка! Мигом удержи Агапова, — велел воевода. — Знаешь ли, где за Волгой речка Майна? — спросил Хитрово сотника.

— Там не был, но слышал, — ответил Агапов. — Если велишь, найду, речка — не полущка, не потеряется.

— На Майну подходят шляхтичи, иноземцы, на жалованные им государем земли. Пригляди за ними, сотник. Как бы калмыки не налетели и не уворовали кого.

— Исполню, воевода, — сказал Агапов. — За Волгой распущу станицы загоном. Они ту речку и шляхтичей, буде они там, непременно отыщут.

— На Часовню каждые десять дней посылай вестовщика, — велел Хитрово. — Я должен ведать, где сотня обретается.

Сотня уже ушла вниз, и Агапов поспешил за ней следом. Богдан Матвеевич, стоя на берегу обрыве, видел, как казаки подошли к пристани и начали расседлывать коней. Сбрую и свою поклажу они грузили в большие лодки и садились в них сами. Казацкие кони табуном стояли у края воды, не решаясь в нее войти. С лодки призывно свистнул своему жеребцу сотник Агапов. Боевой конь откликнулся на зов и вошёл в реку. За ним пошли остальные кони, и вся переправа двинулась через Волгу, которая супротив Синбирской горы была в то время не менее версты поперек своего норовистого течения.

Хитрово долго смотрел казакам вслед, пока они не перевалили за середину реки, дальше очертания стали размываться расстоянием и дымкой, которая витала над Волгой. В том, что переправа пройдет удачно, Богдан Матвеевич был уверен, сотня Агапова считалась крепкой, казаки в ней служили надежные и бывалые.

— Что-то я ссыльных стрельцов не вижу? — спросил Хитрово у подошедшего к нему Кунакова. — С ними все ладно?

— Намаемся мы с ними, Богдан Матвеевич, — сказал дяк. — Ночью надумали бежать, добро стража не сплеховала. Но одного казака воры зашибли.

— Где же они сейчас?

— Повязали всех и в амбар сунули, — ответил Кунаков. — Я только сейчас там был. Заводчик виден сразу — Яшка Кондырев. Что решишь, Богдан Матвеевич?

Хитрово задумался. Дело было нештутейным, ссыльные бунтовали против власти государевой.

— Розыскные листы сделал?

— Вот, все, как на духу, показал Яшка, — сказал дяк, подавая воеводе роспись допроса. — Коська из него умыслы супротив государя повытряс. Жидковат буян оказался.

— Что остальные? — спросил Хитрово.

— Вели меня помиловать, воевода, — сказал Кунаков. — Я сказал палачу бить их

батогами. Тебя, Богдан Матвеевич, я не стал беспокоить по такой малости. А вот Яшку суди сам, дело в твоей подсудности.

Хитрово огорчился. Лишать человека по приговору жизни ему было не впервой, но всегда после этого его одолевала высасывающая душу тоска.

— Повесить того Яшку Кондырева на веску, — тихо промолвил воевода.

— Велишь здесь на горе рели поставить? — спросил дьяк. — Чтобы другим неповадно было бунтовать.

— Нет! — твердо сказал Хитрово. — Отвезите за Волгу. Незачем людям видеть, как он будет в петле дергаться. Достаточно им знать, за что вор казнен. И Коська пусть побудет за Волгой, пока жалованное вино не вылакает. Чтобы здесь его не было!

— Будет исполнено, воевода, — сказал дьяк. — Сегодня же. А как с остальными?

— Пусть сидят в амбаре, — решил Хитрово. — С ними позднее разберёмся. А ты, Григорий Петрович немедля отписку в Москву составь и расспросный лист к грамоте приложи.

О бунте ссыльных на подгорной стороже и скорой казни заводчика стрелецкого возмущения Яшки Кондырева стало известно всем людям на Синбирской горе. То, что это так, воевода понял, когда обходил работы. Землекопы и плотники стали ниже клонить спины в поклонах, меньше звучало смеха и шуток. Богдан Матвеевич относился ко всему этому как к должному: народ, что трава, сильнее ветер подул, ниже клонятся. И все молчали, только кузнец Захар сказал, прилюдно:

— Коли так дале пойдет, мне на оковы железа не достанет!

На этот возглас дьяк Кунаков погрозил ему кулаком и прошипел:

— Не возносись до рели, чумазый дурак!

Но Захара не тронул, другого такого мастера ближе Алатыря не было.

Со стрелецкой замятни нелады пошли в Синбирске. Не иначе как Яшка Кондырев по дороге в преисподнюю, куда ему надлежало попасть как висельнику, исхитрился и плюнул на Синбирскую гору, чтоб завелись на ней всякие нестроения и беды.

А началось все с волжского подгорья. Подошёл к нему белый струт, на берег спрыгнул ловкий молодец, явно купеческого звания и назвался подбежавшему к нему караульщику:

— Целовальник Ерофей Твёрдышев! От казанского воеводы с грамотой.

Приезжего начальник сторожи повел к воеводской избе в гору, а сторожа, пронрливые алатырские стрельцы, полезли в струт выведать, что в нем. Однако мало что вызнали, приказчики пищалями да копыями ошетинились: «Не лезь, государева казна!»

Купец Твёрдышев явился в Синбирск как раз ко времени, Хитрово был весьма озабочен тем, как рассчитаться со стрельцами за положенное им жалование на домовое строение. От тысячи, которую воевода получил в Разрядном приказе, в воеводской казне осталось всего сорок восемь рублей и горсть полушек, все было потрачено на жалование казакам и стрельцам за прошлую службу. Хитрово слал грамоту за грамотой в Москву, но там было не до Синбирской окраины. В Москве только что отпопыхал Соляной бунт, главного распорядителя царской казны боярина Морозова сослали в отдаленный монастырь, и о том, что тот должен на синбирское строение еще две тысячи рублей, никто не ведал. По этим причинам появление купца гостиной сотни в Синбирске было кстати.

Хитрово взял из рук Твёрдышева грамоту и стал вычитывать. Казанский воевода князь Прозоровский утверждал ею купца гостиной сотни Среднего Поволжья Ерофея Твёрдышева кабацким целовальником в Синбирске, которому было велено построить там кабак и вести государеву торговлю вином беспрепятственно со стороны местной власти.

Богдан Матвеевич посмотрел на целовальника, оценивая, какого полёта птица с золотым пером восхотела присесть на Синбирскую гору. Купец был одних лет с воеводой, коренастый с холодным и твердым взглядом и знающий себе цену. Знал целовальнику цену и Хитрово, не менее двадцати-тридцати тысяч рублей, с меньшей в гостиную сотню не записывали. Эти люди вели не только свои торговые дела, но и несли государеву службу таможенными головами в Архангельске и Астрахани, ведали государеву пушную казну и государевы питейные дома.

— Где мыслишь кружало ставить? — спросил Богдан Матвеевич.

— На пристани в подгорье, — не задумываясь, ответил купец. — Так в Казани и Нижнем Новгороде устроено. Деньги на реке, суда и люди идут вверх и вниз Волги.

— Воевода Прозоровский отписывает, чтобы я тебе помощь оказал, — сказал Хитрово. — Что нужно?

— Вели, воевода, дать с десятков плотников, что избы горазды рубить. Я оплачу.

— Того не делай, — сказал Хитрово. — Не порть людишек легкими деньгами, они

содержание за год получают. Людей тебе дадут. Что ещё просишь?

— Мне ведомо, воевода, что здесь богатые рыбные ловли, — сказал Твёрдышев. — Позволь взять в откуп остров Чувич на пять лет. Большой прибыток казне будет.

Богдан Матвеевич был готов к этому разговору. Речь об откупе шла и в Москве, чтобы он брал деньги на строительство крепости из них.

— Добро, — сказал воевода. — Я с дьяком размыслию над этим. Но в любом случае без задатка дело не сделается.

— Я готов хоть сейчас дать пятьсот рублей, — обрадовался купец. — Больше при мне нет.

— Как там князь Прозоровский? — спросил Богдан Матвеевич. — Не скучает на воеводском сидении о Москве? Крепко держит вашего брата, гостиных купцов, и других городских тяглых людей.

Помня, что он разговаривает с окольным, Твёрдышев правды о Прозоровском не открыл и только одно молвил:

— Князь мимо себя ничего не пропускает.

— Прошу со мной отобедать, — улыбнувшись, сказал Богдан Матвеевич.

Стол у Хитрово стал не в пример богаче, чем при зимнем карсунском сидении. Ваятка подал стерляжью уху, обильно приправленную перцем, варёного сома, чёрную икру, астраханские персики, изюм и халву. Запивали съеденное квасом.

За обедом Богдан Матвеевич ненавязчиво расспрашивал гостя, тот не отмалчивался и поведал, что Твёрдышевы всегда были торговыми людьми, вели большую рыбную торговлю от Астрахани до Рыбной слободы, в коей их родовая отчина. В гостиную сотню вышел ещё дед Ерофея, которого знал даже патриарх Филарет, отец царя Михаила Федоровича, как участника ополчения Минина и Пожарского.

— В те годы, — сказал Ерофей Твёрдышев, — государь торговых людей привечал, их зажитками вставляла Русь из разорения. При Михаиле Федоровиче с тяглых людей почти каждый год брали то пятую, то шестую, то седьмую деньгу от того, что они имели. Моему батюшке его отец оставил казны наполовину меньше, чем получил от своего родителя.

Хитрово знал, что многие гости понесли большие убытки и умалились, но не все. И этот Твёрдышев был не так беден, как хочет прикинуться.

— Полно жалиться, — укорил он гостя. — Ты и государю служишь, и себя не забываешь. Многие дворяне той чести не имеют, что ты. Или тебе воли мало? Или ты хочешь, как в Англии, государем повелевать, на что ему деньги тратить и откуда их брать?

Твёрдышев не убоился ответить на каверзные вопросы воеводы:

— На Москве задумано окончательно прикрепить крестьянишек к земле. Не спорю, это необходимо для государства, чтобы платить жалованье служилым людям. А для гостей это смерть. Какой из безденежного раба покупатель? Народ станет беднее, откуда же купцу прибыль иметь? Выживет только мелочная торговля.

— Добро, — сказал Богдан Матвеевич и призвал дьяка Кунакова. — Давай промыслим, Петрович, как нам не оплошать с гостем Твёрдышевым.

В тот же день пятьсот рублей воеводской казной были получены, а в подгорье застучали топоры. Плотники рубили избу для кабака споро и азартно, им была обещана после окончания работ обильная выпивка. Уже через неделю изба была готова, со струга выгрузили кабацкие меры — ведра, полуведра, большой медный котёл для варки хмельного зелья. Вскоре над избой поднялся сивушный дым, к которому стали трепетно принюхиваться работные люди, не упускавшие возможности сбегать в подгорье и подивиться на кабак. Многие из них до сих пор его в глаза не видели, смотрели — изба как изба, но воняло от неё вкусно и призывно.

И началось на Синбирской горе среди работных людей нездоровое шевеление. Рубит ли мужик бревно или копает яму, да нет-нет, бросит работу и принюхивается, чем тянет из подгорья. Наконец, среди народа пробежал слухок, что кабак перестал дымить, значит, вино готово. Следом за тем слухком приползли на карачках из-под горы плотники, что ставили кабак, пьяные, грязные. Отец Никифор как увидел их, так и обомлел: «Свят, свят, что дается! Божий храм на две сажени сруб вывели, а кабак поперёд церкви поставили!» Кунаков велел Коське Харину бросить пьяных плотников в погреб для скорого протрезвления, что тот и сделал, а затем вприпрыжку побежал в подгорье. У всех мужиков денег нет, а у Коськи имелись три алтына зажитков за палацкую службу.

Ткнулся Коська в кабак, а приказчик объявляет, что вино отпускает только на вынос, а ведро стоит целковый. Закручинился Коська, но тут гулящие людишки к нему набежали. Откуда они взялись? Волга течёт далеко и долго, всякий человеческий мусор на берега выбрасывает. Гулящие людишки с Коськой вскинулись, купили полведра вина, и все ушли в кусты. Выпили они там по чарке, начали разговаривать, а как

узнали, что Коська палач, то всем скопом стали бить Коську смертным боем. Так бы и забили его, но стражники услышали крики и спасли палача, а то бы не быть ему живу.

Вскоре праздник случился, Петров день. Отстояли люди торжественную литургию, которую отец Никифор провёл на поляне возле возводимого храма, и зашевелились, и заколобродничали. День нерабочий, девать себя мужикам некуда, и стали они трясти свои пожитки, выпаривать зашитые в одежде полушки да копейки. Вскоре все потянулись вниз, в подгорье, всяк со своей посудой. Никифор, как завидел сие, кинулся к воеводе. А Богдан Матвеевич только руками развёл:

— Не могу чинить препятствия торговле государевым вином!

Тем временем в подгорье пьянь началась великая. Всех вино поразило в самую душу, но по-разному: один поёт, другой плачет, третий драться лезет, четвёртый вздумал Волгу вброд перейти, так двое и утопли.

Никифор смотрел с Венца на людское блудодействие и горевал. И горько думалось ему, что Аввакум, с кем он встретился на Москве, был прав, говоря, что много скверны в русских людях гнездится, и враз её всю не выведешь.

Но беда не приходит одна. Скоро за Петровым днём причалилась к синбирской пристани купецкая баржа, и с неё, подобрав подошлы сарафанов, в воду спрыгнули шесть жёнок. Караульщики сразу к ним, а те — к кабаку. У караульщиков чуть шапки от такого озорства не попадали: жёнки к питухам на шею бросаются, а винище лопают почище Коськи Харина. На гору те жёнки, а к ним прибавилось ещё пятеро, не вылазили, мужики сами про них пронюхали, прут в подгорье, жеребцы стоялые. А жёнки тому и рады, натрут щеки свёклой, красуются перед питухами, словом, пошла такая блудня, что скоро это всё воеводе донесли.

Богдан Матвеевич, прослышав про гулящих жёнок, задумался, но что с ними делать, не решил. Никифору же творимая возле кабака блудня уязвила самую душу. Он потерял сон, спал с лица, глаза возжглись пылом неистового ревнителя благонравия. Марфинька слезно отговаривала его от обличений, указуя, что пьянь и рвань не услышит слова Божьего, а у них малый сын Анисим, и если попа побьют, то, как бы им не пришлось бежать из Синбирска, где попадье добро жилось, в Москву.

Никифор не уступил мольбам жены, и в один день, усердно помолясь Богу, отправился в подгорье, укрепляя свой дух памятью о первомучениках христианских. А возле кабака всё тоже — пьянь и срамота, проезжающие в Астрахань мужики, свои из Синбирска, рыбаки, гулящие людишки, срамные жёнки, всё клубилось в пьяном кураже с раннего утра до позднего вечера.

Попа гуляки поначалу встретили ласково:

— Проходи, батька, бери вина!

Никифор взобрался на чурбан, где кололи дрова, набрал полное нутро воздуха и возгласил громогласно:

— Опомнитесь, православные! Не погубите свои души питием хмельного! Не отдавайте свое спасение на погибель диаволу! Гоните прочь от себя срамных жёнок, ибо в них погибель рода человеческого!

Гуляки слушали возгласы священника вполуха, а жёнки взбеленились, заверещали, стали плевать, а одна из них по прозвищу Дырявая Квашня подскочила к Никифору, повернулась задом и, нагнувшись, срамно задрала подол заблёванного сарафана. И тут жёнки приступили к отцу Никифору, стащили с чурбана и начали его щипать, тискать и колотить кулаками. Стрельцы-караульщики не дали кабацким стервам зашибить Никифора, отбили его и на руках занесли на Синбирскую гору к воеводской избе.

При виде истерзанного священника шибко осерчал Богдан Матвеевич Хитрово, чего с ним никогда не бывало. Громко призвал он к себе дежурного полусотника и повелел тому повязать всех буянов и баб в подгорье. Затем воевода с дьяком сами поспешили за ними, чтобы учинить скорый розыск и крутую расправу. И приговорил воевода Хитрово всех гуляк и баб сечь нещадно батогами, затем вывезти их на другой берег и там бросить. Коська и его пять доброхотных помощников стрельцов до испарины на своих спинах били батогами гуляк, а когда пришел черед бить Дырявую Квашню, палач упал перед воеводой лицом наземь.

— Пожалуй своего раба, милостивец! — взвыл Коська. — Дозволь, воевода, взять за себя эту жёнку!

Богдан Матвеевич вопросительно глянул на Кунакова.

— Я тебе женюсь, рвань косорылая! — заорал дьяк на Коську. — Я вот сейчас велю казакам подложить тебя, как хряка!

Утомился Богдан Матвеевич от мелькания батогах и людских воплей и смилился.

— Вели, Григорий Петрович, — сказал он дьяку, — всех гулящих людишек собрать и завтра же отправить под Карсун на засечные работы. А срамных баб вели кинуть в

тюрьму. После решим, куда их девать. Может, и вправду повыдавать их замуж, охотники вроде есть.

— Мужик что таракан, — проворчал Кунаков. — На любую грязь и сырость с охотой залезет.

— Вот и кликни охотников. Никифор отлежится и обвенчает. Пусть их мужья уму-разуму своим битьём учат. А пока — в тюрьму!

Казаки подхватили избитых жёнок и поволокли в гору, а гуляк погнали палками. Вот такое похмелье устроил Богдан Матвеевич синбирским гулякам и гулёнам. Работные люди суд воеводы хвалили, да и срамные жёнки были довольны стать венчанными жёнами. Одни гулящие люди злобились и норовили бежать, но из синбирской земляной тюрьмы побегов не бывало. Жестокое усмирение гуляк и гулевон, которых мужья стали учить битьём, охладило пылкую любовь работных людей к царёву кружалу. Гульба в пригорье поутихла, теперь питухи, купив вино, прятались в лесу и норовили не попадаться на глаза начальным людям.

Тем временем башня на берегу Волги была построена, и впритык к ней росли срубы Крымской стены до ворот, которые Прохор Першин замыслил сотворить в проездной башне. Вскоре и вода в колодце открылась и оказалась годной для питья. Богдан Матвеевич уверовал в градодельца и полностью передоверил ему проведение работ. Дьяк Кунаков, который ждал, что Прохор вот-вот впадёт в винопитие, скрепя сердце, согласился с воеводой, хотя продолжал к Першину приноховиваться.

Богдана Матвеевича стали более занимать мысли о делах московских. В середине июля 1648 года по всем областям государства была разослана грамота Алексея Михайловича, что по указу великого государя и патриарха, по приговору бояр и по челобитью стольников и стряпчих и всяких чинов людей велено написать Уложенную книгу, для чего выбрать пригодные к государевым и земским делам статьи из правил апостольских и святых отцов церкви, собрать указы прежних государей и выдумать новые статьи, по которым Русское государство будет жить впредь.

Эта новость заронила в Богдана Матвеевича надежду, что он станет надобен для работы над новыми законами и его синбирская пограничная служба завершится. Однако в Москву его не позвали, из окольных в совет по выработке Уложенной книги вошёл князь Волконский, старый думский жилец, известный своим стойким молчанием по любому вопросу, который поднимался на заседаниях боярской думы. Председателем совета по написанию Уложенной книги был поставлен князь Одоевский, не отличающийся глубокомыслием боярин, из Рюриковичей. Поразмыслив над этими фактами, Богдан Матвеевич понял мысль государя — собрать в совете недалеких и покладистых людей, таких, что не умствуют, а спешат исполнить царскую волю. Поначалу раздосадованный невниманием к себе, Богдан Матвеевич хотел послать грамоту Ртищеву, но, в конце концов, решил, что лучше быть в стороне от того, что делается в Москве.

Пора пришла проехать по черте, посмотреть, как идут работы, и Хитрово велел Васятке, чтобы тот готовился в путь.

— Как там московские стрельцы? — спросил от дьяка. — Не пора ли их к делу приставить? А гулящие людишки протрезвели?

— Все живы и к работе годны, — ответил Кунаков. — Только работать будут из-под палки.

— Что, у нас палок мало? — сказал воевода. — Пусть ров роют под караулом, а на ночь в тюрьму!

Когда на следующее утро Хитрово выезжал из крепости, тюремные сидельцы уже копошились с лопатами на дне глубокого рва, а по его краям прохаживались два стрельца с пищалями. Воевода, кроме Васятки, взял с собой два десятка казаков. Он ехал впереди всех на буланом жеребце, который статью напоминал Буяна, из его московской конюшни. Хитрово любил крупных коней, считая, что воеводе неприлично садиться на большеголового и длинногривого ногайца. Это казак служит на коне, а воеводе конь нужен для парадного выезда.

Казачья станица, ведомая воеводой, спустилась к Свяге, спугнув из камышей несколько уток. Наплавной мост, покачиваясь, лежал на воде от одного берега до другого. По нему ехали несколько казаков на службу в крепость из слободы, которую они начали строить на левой стороне Свяги.

Воевода дождался, когда они выедут на берег, и лёгким движением поводьев послал жеребца на мост. На середине реки тень, отбрасываемая Синбирской горой, исчезла, стало яснее видно, на воде заиграли солнечные блики. Жеребец прыгнул с неустойчивого моста на землю и пошёл рысью. Воевода завернул его вправо, к избам, разбросанным на луговине. Богдан Матвеевич издали пересчитал их: чуть больше двадцати, менее половины из тех, что должны быть, и причина этому была — казаки

заняты службой, избы поставили те, что от неё были на время свободны.

Казаков на новое поселение брали из прежнего жительствова по одному, редко по два человека из семьи. От государства им давалось денежное жалование за службу, конь, пищаль и кормовое содержание. Обычно выбирали молодых и семейных как более способных к переезду. На новом месте они получали земельный надел от десяти до тридцати десятин, смотря по чину, и пять рублей на домовое строение.

Ещё с весны семьи переселенцев потянулись за мужьями и отцами, часто пешим ходом, неся на себе пожитки и ведя на верёвке корову или телку. Те, у кого было время, поставили избы, но многие ещё жили в шалашах. Воевода это отметил и решил по возвращении в Синбирск вернуть бездомных казаков в слободу из полевой службы, чтобы они обустроились.

Избы и шалаша были пусты, все люди находились на покосе. Травы на пойменных лугах стояли столь высокие, что жеребец воеводы задевал их брюхом. За станицей оставалась широкая полоса примятой копытами коней росной травы. Сладко пахло кашкой, чабрецом, со всех сторон кричали свое «пить-полоть» перепела, жаворонки то и дело взвивались кверху и быстро падали опять, точно камешки. Заяц-русак, весь мокрый от росы, выскочил на голое место, увидел людей и присел, затем пошевелил ушами, и, вскидывая задом, кинулся прочь.

Часть луга уже была выкошена, жёнки ворошили деревянными вилами сено, а казаки, слаженно взмахивая косами, оставляли за собой густые валки травы. Появление воеводы с казаками отвлекло их от работы.

— Бог в помощь, православные! — громко сказал Богдан Матвеевич, останавливая коня.

— Благодарим, воевода! — отвечали казаки и жёнки.

— Зрю, управляетесь с сенокосом?

— Дал бы Бог ведро, с сеном будем!

Приехавшие казаки здоровались с косями.

— Челом, Максим! Как тебя Бог милует?

— Бог дал поздорову — голова жива.

— Что с Федькой стряслось?

— За старые шашни скинули с башни.

Хитрово строго глянул на полусотника: что за разговоры про какого-то Федьку?

— Почто с коней послезали, а ну, садись! — закричал полусотник, наступая конём на людей.

Через речку Сельдь переправились вброд. Хитрово оглянулся, Синбирская гора отсюда казалась большим облаком, поднимающимся вдали. Трава здесь была пониже пойменной, но густой и многоцветной. Налетавший порывами ветер клонил стебли к земле, и трава волнилась, как море. Пошли друг за другом зелёными островами дубравы. С правой руки местность стала холмиться, расходиться оврагами, а впереди и слева поле было по-прежнему ровным, как стол, до самого края земли.

— Смотри, господине! — вдруг крикнул Васятка, указывая на человека, который, пригибаясь к траве, бежал к дубраве.

По знаку полусотника трое казаков припустили коней на перехват беглеца. А тот, подбежав к крайнему дубу, обхватил его руками и замер.

— Расспроси его, кто таков, — сказал Хитрово полусотнику.

— Откуда бежишь? — начал допрашивать мужика полусотник. — Чей ты человек?

Мужик молчал. Он был низок ростом, но широкоплеч, а на скуле кровоточила большая ссадина. Полусотник со всего размаха ударил мужика плетью. Тот скривился от боли и закричал зубами.

— Хватит! — сказал Богдан Матвеевич. — Юшанский городок близко. Тащите его за собой.

Скоро они достигли засечной черты, которая была начата от Юшанска к Синбирску. Ров от городка протянулся версты на две. Из ближних дубрав и берёзовых рощиц к черте доставляли брёвна, из них делали тарасы высотой в две сажени, а то и выше, плотно забивали их землёй. Работные люди, где работали, там и жили в шалашах и землянках.

Завидев воеводу, мужики оставляли топоры и лопаты и падали в поклоне на колени. А десятники не дремали: скоро от одного к другому по черте в Юшанск пошла весть о прибытии окольного Хитрово. Когда она достигла городка, бывший здесь карсунский воевода Борис Приклонский сказал гостившему у него московскому стряпчему Золотарёву:

— Вот и Богдан Матвеевич Хитрово нежданно припожаловал. Теперь тебе, Василий Денисович, нет нужды ехать к нему в Синбирск.

Приклонский и Золотарёв встретили Хитрово на въезде в городок. Богдан Матвеевич появлению чужого человека не удивился. Он знал стряпчего по Москве, Золотарёв

имел великую славу лучшего сыщика Сысского приказа. Все большие бояре искали в нём участия к их беде, которая была одна для всех помещиков: как наступило лето, так началось повальное бегство крестьян от своих хозяев. Люди бежали в одиночку, семьями, а иногда всей деревней. Не страшась свирепости басурман, они шли в Дикое поле, приглядывали пригожую землю, ставили избы и поднимали целину. Такие действия крестьян считались тогдашним законодательством воровством (своим бегством они лишали собственности своих владельцев), и с этим злом усиленно и безуспешно боролось государство. Хитрово уже имел дело с Золотарёвым, который ловил его крестьян и возвращал хозяину.

— Будь здрав, Василий Денисович! — приветливо сказал окольный. — Не чаял тебя встретить на черте. Что ко мне в Синбирск не пожаловал?

— Сегодня к вечеру собирался быть, — сказал Золотарёв. — Раньше не мог. Деревенька бежала больно беспокойная, насили повязали. Если бы не карсунские казаки, вряд ли справился.

— А это не твой ли беглец? — спросил Хитрово, показывая на пойманного его казаками мужика.

— Князя Черкасского крестьянишка. Казаку руку прокусил и ушёл до света. Где его взяли?

— Недалече, подле черты, — ответил Хитрово, слезая с коня. — Веди, Приклонский, показывай, что смог сотворить.

Юшанский городок был невелик, двадцать на двадцать сажений, но крепок. Рубленые стены возвышались на две сажени, угловые и надворные башни на четыре. Все они были сделаны из дуба, которого окрест росло изобильно. Внутри городка помещалась большая изба для проживания воинских людей, амбары для оружейного и кормового припасов, место для содержания коней.

— Что скажешь, Василий Денисович? — спросил Хитрово. — Ты ведь всю крымскую границу знаешь, многие городки видел.

— Не хуже других, — ответил Золотарёв. — А может, и лучше.

— Осторожный ты человек, Василий Денисович, — улыбнувшись, промолвил Хитрово. — Никогда ни о чём не скажешь. Может, в том и есть мудрость. Учись, Приклонский.

Сыщик остался в городке для допроса пойманного мужика, а Хитрово с карсунским воеводой поехали осматривать черту в сторону Карсуна. Богдан Матвеевич не торопился, внимательно смотрел, что сделано, говорил с сотниками, десятскими, не брезговал спросить простого мужика, как он жив-здоров. Работы шли, подытоживал в уме Богдан Матвеевич, ни шатко, ни валко, но черта прирастала, и на ней надо ещё работать лет пять-шесть. Люди работали из-под палки и делали ровно столько, чтобы на их спины не обрушивались батоги и плети. Смерть рабочего человека на засечной черте не была в диковинку, люди мёрли от простудной сырости, болезней живота и других хворей. Умирал, но работали, о бунте, подобном недавнему в Москве, среди работных людей не было даже и шёпота.

Тем временем Золотарёв допросил крестьянина и велел его бить батогами, но не сильно, а чтобы мог идти на своих ногах. Затем Василий Денисович озаботился обедом. Занимаясь сыском, он имел привычку делать это в условиях приятных для здоровья и настроения, потому среди своих подручных имел собственного повара, который был весьма горазд в кухонном ремесле. Этот человек ездил на особом возке, где, кроме поварской утвари, имелись всякие съестные припасы, включая и те, что можно было сохранить только в бочках со льдом.

Другой особенностью Золотарёва было то, что он не мог терпеть обедать в избах, где всегда нет продыху от мух, поэтому он распорядился, чтобы стол поставили за городком на берегу ручья под пологом раскидистого дуба. Приклонский был уже знаком с причудами Золотарёва, тот его потчевал, а Хитрово был приятно удивлен, когда увидел накрытый блюдами с различными кушаньями стол.

— Когда же ты всё успел промыслить, Василий Денисович? — сказал он, беря в руки серебряную стопку и принохаясь к её содержимому. — Что за вино?

— Чистейшая романея, Богдан Матвеевич! Изволь отведать и закусить, — Хитрово выпил стопку и крикнул от удовольствия. — Я был много наслышан о сурской стерляди, — продолжил Золотарёв. — То, что возлюбил её царь Иван Васильевич, есть верная правда. У меня имеется кормовая книга с описанием изготовления блюд, какие бывали в старину. Так вот там об этом прямо сказано. Разве я мог побывать на Суре и не попробовать стерляди? Купил в Промзине бочонок, вот она перед вами.

Обедали неторопливо и долго, уже стало меркнуть небо, когда Хитрово откинулся от стола и молвил:

— Довольно, Василий Денисович, больше не потчуй.

— Тогда на крышечку ещё чарку романеи, — настойчиво сказал Золотарёв.

Отдыхать расположились на большом войлоке, расстеленном между деревьями. Приклонский догадался, что окольный желает поговорить с сыщиком наедине, и удалился.

— Ты, Василий Денисович, когда из Москвы? — спросил Хитрово.

— Дён двадцать, как выехал.

— Я тут, на черте, как в потёмках живу. Знаю, что бунтовала Москва, скажи, что там стряслось?

Золотарёв не был любителем разговаривать на щекотливые темы, но вино его расслабило.

— Я уже стар, Богдан Матвеевич, и давно живу. Родился при царе Фёдоре Ивановиче, жил при Годунове, при обоих Лжедмитриях, при Василии Шуйском, при Михаиле Фёдоровиче, дал Бог, живу при Алексее Михайловиче. И всегда я видел одно: у власти стоят большие воры, которые хапают и хапают, пока их не возьмут за глотку другие воры или забунтуют люди. Боярин Морозов из наибольших воров, но до мелочности доходил — укрывал беглых крестьянишек в своих поместьях. Я это знаю, до тысячи человек беглых у него и сейчас живут. А взять их оттуда моей мочи мало.

— А что великий государь?

— Алексей Михайлович на это закрывает глаза, слова не смеет сказать своему воспитателю. Но я так мыслю, что бунт случился к месту!

— Как так? — удивился Богдан Матвеевич. — Видано ли, чтобы царь лил слёзы перед черны?

— Что из того, что великий государь поплакал? — удивился Золотарёв. — Слёзы хорошо глаза промывают. Поплакал Алексей Михайлович и лучше стал видеть, кто ему верен, кому можно казну доверить, кому войско. Хватит царю младенцем быть и за боярский рукав держаться. Или не так?

— Опасные слова говоришь, Василий Денисович, — сказал Хитрово и, помолчав, продолжил: — Спасибо за правду.

— Не пора ли почивать? — спросил, позевывая, Золотарёв. — Ты здесь останешься или в избу пойдёшь?

— Васятка! — позвал Хитрово. — Дай мне что-нибудь накрыться.

Ночь была тихой и звёздной. В воздухе чувствовалась приятная, после жаркого дня, свежесть. Откуда-то из тьмы появились тихие и жалобно-непонятные звуки, они рождались сами собой, то усиливаясь, то смолкая, то сливаясь в убаюкивающую мелодию, наводившую на душу приятно-сладкую истому.

## Глава четвёртая

— 1 —

На берегу Волги возле костра сидели двое мужиков и жадно поглядывали на котелок, в котором булькало жидкое варево. Фёдку Ротова они заметили издали, как только он начал спускаться с береговой горы, но не обеспокоились, пришелец был явно сирота беглая. Один из мужиков был сухощав и мал ростом, звали его Филька, его товарищ выделялся широким разворотом плеч и, сидя на корточках, был похож на кряжистый пенёк, который выкатила на песок волжская волна. Его звали Власом.

Фёдка с первого взгляда определил, что встретил тех, кого искал, воровских казаков. Это можно было понять по тому, что за их поясами торчали большие ножи, в песок была воткнута пика, а на их лицах гулевая жизнь отпечаталась шрамами и медным загаром.

— Челом честным людям! — сказал Фёдка, останавливаясь в трёх шагах от костра. — Дозвольте присесть к огоньку?

Влас мельком посмотрел на пришельца и отвернулся к кипящему котелку, а Филька вскочил на ноги и уставился на незваного гостя.

— Ты кто будешь? — спросил он и остро глянул на Ротова воспалёнными глазами.

— Казак, Фёдка Ротов.

— Казак, — хмыкнул Филька. — Мы все тут казаки. Чего ищешь?

— Воли.

— Не много ли захотел? — удивился Филька. — Туда ли ты явился?

— На Волгу, здесь, бают, просторно людям.

— Добро, раз так, — сказал Филька. — Тогда садись к огнищу. Только жидко у нас варево, казак, два сухаря да молодая крапива. Коня-то оставь, не сбежит.

Фёдка присел к костру, развязал свою суму, достал мешочек с толокном и протянул Фильке.

— Это по-нашему, — впервые обратил внимание на гостя Влас. — Что твоё, то моё.

Ты откель бежишь?

— Из Карсуна, может, слышал?

— Как же, — проворчал Влас. — Только что близ того Карсуна через ров перелезали. Так, Филька?

— Была такая беда, чуть не утопи в том рву, лесина под Власом обломилась.

Похлебали горячего толокна, съели по сухарю, попили волжской водицы.

— Вот и добро, — сказал Влас, поднимаясь на ноги. — Пошли, Филька! Нам ещё топтать да топтать!

— Погодите! — испугался одиночества Федька. — А как я?

— Ты же нашёл, что искал, — хохотнул Филька. — Вот она воля вокруг тебя, бери, сколько вздумаешь!

Федька повернулся, подхватил суму и пошёл к своему коню.

— Годи, парень! — сказал Влас. — Ты казак, а мы ватажники, как нас кличут. Годно ли тебе идти с нами?

— Куда мне деваться, — с горечью сказал Федька. — Назад мне пути нет, только с вами.

— Смотри, парень! Воровское дело такое: попал коготок, всей птичке пропасть. Знай это. Хочешь, иди с нами, но себя не жалея.

По берегу Волги с малыми остановками они целый день шли, всё дальше углубляясь в Дикое поле. Федька не знал, куда они держат путь, но догадывался, к Жигулям, известному воровскому месту. Там ранней весной сколачивались ватаги и всё лето промышляли разбоями над торговыми судами, нещадно их грабя и убивая всех подряд, кто помедлит упасть ничком на палубу или землю.

Волга была не пуста, за день мимо них прошли несколько стругов. Их появление Филька встречал дурашливым воплем, Влас один раз обмолвился:

— Вот и для нас страда пришла. Явится Лом, и мы начнём.

Вечером они нашли укромное место и встали на ночлег. Филька разжёл костёр, Федька достал из сумы толокно и отдал Власу. После того, как поели, Филька сказал:

— Ты весь день с нами, а кто ты такой, Федька, мы не ведаем. Рассказывай!

Ротов без утайки поведал, что с ним случилось.

— А ты, оказывается, скор на расправу, — сказал Филька. — Я вот за жизнь и мужи не обидел. А ты взял и свернул шею товарищу, и за что? За плёвое дело!

— Он в игре на деньги сплутовал.

— А кто хоть раз в жизни не сплутовал? — сделал постную рожу, спросил Филька.

— Хотя один такой человек мне ведом. Это я.

Послышались частые звуки, но их издавали не птица, не зверь. Так всей утробой расхохотался Влас.

— Не дури человека. Скажи, где ты зиму обретался.

— Годи!

Филька отвернулся, и когда Федька снова увидел его, то вздрогнул от омерзенья. Лоб, нос и кисти рук бродяги были покрыты погаными язвами, глаза лишились век и были закачены в разные стороны. Филька упал на колени и, схватив Федьку за полу одежды, завопил страшным голосом:

— Подай и зарежь меня! Подай и убей меня!

Федька в ужасе попятился, а калека поволокся за ним по земле. Влас ухал и булькал, корчась от приступа хохота. Филька встал с земли, снял язвенные нашлепки с лица и рук, сунул их за пазуху. Затем вернул вывороченные веки на место. Он был доволен произведённым впечатлением.

— Что не подал калеке? — спросил Филька. — Я даром не скоморошничая. С первых денег отдашь полтину. Так, Влас?

— Будет с тебя алтына. На Москве, чай, больше полушки не давали.

— А вот врешь! На Пасху рубль получил.

— Будет врать, — сказал Влас. — Кто такие деньги при себе носит.

— Эх, тьма арзамасская! Царь дал, когда в Покровский собор шёл.

— Ладно, — махнул рукой Влас. — Дал так дал, может, я запомню. Ты лучше расскажи, как мы на Москве зимовали.

— Запомню, — недовольно сказал Филька. — Ты на тот рубль ведро вина выжрал... Что ж, про Москву всегда можно вспомнить. Мы в этом году, Федька, как Волга вставать начала, разбрелись из ватаги, кто куда. Одни по своим избам в деревни, другие на богомолье по монастырям, а мы с Власом на Москву двинули, как и всякую зиму. Я нацеплю язвенную личину и на папертях обретаюсь, а Влас своим делом промышлял. Каким? Пусть сам скажет. Так и перебились. Или не так, Влас?

— А теперь что, все ватажники опять вместе сходятся? — спросил Федька.

— Все, кто жив остался, — ответил Влас. — Будут и новики вроде тебя.

На следующий день, когда солнце стало спускаться за высокую гору, они подошли

к большой приземистой избе, скрытой в зарослях ивняка недалеко от берега. Почуяв чужих людей, залаяла собака. Изба казалась нежилой, но вскоре из неё послышался хриплый голос:

— Это кого лихоманка принесла?

— Открывай, Степан, свои! — крикнул Филька.

— У меня таких своих полна изба! И кипятком ошпаривал, и вымораживал, ничто их не берёт! — звякнуло железо, набухшая дверь со скрипом, тяжело отворилась, в проёме встал человек. Он был заметно стар, но ещё крепок, в жилистой руке Степан сжимал кистень. — Что, Филька, опять из Москвы клопов на себе приволок?

— Почём я знаю. Меня никто не ест. Может, Влас?

— Ступайте на берег и выбейте палкой одежонку, — сказал Степан. — Что за человек?

— Свой, — сказал Филька. — С карсунской черты сбёг.

— Иди с ними выбивать клопов, — велел Степан.

Федька позже остальных зашёл в избу, поднял руку, чтобы перекреститься и замер: в правом переднем углу образов не было. Хозяин заметил смущение Федьки и хохотнул:

— Крестись, парень! Здесь все крещеные, только по-своему. И тебя окрестим.

— Я — крещёный! — схватился рукой за нательный крест Федька.

— То тебя поп крестил, — жестко сказал Степан. — Ты несмышлёным был, а сейчас в полном уме. Будет срок, сам в купель красную запрыгнешь.

Влас и Филька, потупившись, молчали. Старик явно имел над ними власть.

— Лом был, — сказал он, зажигая в железном светце лучину. — Велел сказать, чтоб сидели здесь, его поджидали, скоро он явится, — потрескивала лучина, порой ярко вспыхивая и озаряя закопчённое нутро избы. — Укладывайтесь спать, ребята, — сказал Степан. — Набирайтесь сил. Атаман может в любой миг нагрянуть с ватажниками.

Впечатления от последних двух дней долго не давали заснуть Федьке. Побег из тюрьмы, прощение с братом Сёмкой, встреча с ватажниками, прибытие на воровской стан, всё это мелькало в его мыслях, вызывая вопросы, ответа на которые Федька не знал. Кто такой атаман Лом? Куда он поведёт свою ватагу? Возьмёт ли новика с собой или прикажет связать и бросить в воду?

Федька ворочался на полу, поудобнее устраивал голову на свою суму, но сон не приходил. На уме были родной брат, мать, отец. Ведают ли они, что стряслось с их старшим сыном? Наверно, ведают, казаки из их слободы дали знать о Федькиной беде. Разлука с родными будет, скорее всего, вечной, с неизбывной горечью начал понимать казак и молча заплакал.

Под полом избы, попискивая, завозились мыши, оседая, поскрипывал избяной сруб, потом эти звуки заглушил листовняной шум ветра и пошёл дождь. Влас и Филька, посапывая и посвистывая носами, давно спали, старого Степана не было слышно, наконец, и Федька уснул.

Ватажников поднял Степан, он тяжело бухнул дверью и возгласил:

— Разоспались, лежни! Сейчас спытаю, какие вы работнички! Филька, чисти рыбу! Влас, готовь кипяток! И ты, новик, с ними! Рыба в кошёлке на дворе!

Федька первым подхватился со своего лежбища, выскочил во двор, сбегал за угол, измолился в траве, мокрой от ночного дождя, нашел, где лежит рыба. Её было много, полуоснувшей и ещё трепыхавшейся, в сетяной кошёлке. Федька и Филька почистили рыбу, промыли в речной воде, тем временем у Власа поспел кипяток. Получилась не уха, а полный котёл сваренной рыбы. Не успела чайка до половины Волги долететь, как возле каждого едока выросла куча рыбьих костей.

— Вижу, знатные вы работнички, — сказал Степан. — А ты что, парень, башкой крутишь?

— Гляжу, коня моего нет, — растерянно пробормотал Федька.

— Цел твой конь, я его к своему отвёл. Пусть по травке погуляет. И то сказать, конь тебе сейчас ни к чему. Сядешь за весёлки дубовые и начнёшь, вольный сокол, ими, как крыльями, помахать!

День ватажники провели без дела. Хозяин куда-то исчез. Влас и Филька завалились спать, а Федька бродил по окрестностям. Место здесь было глухое, высокий гористый берег, поросший мелкоколесьем, с оврагами, уходившими неведомо куда, гладкие, обточенные водой большие камни, вкрут которых вскипали и пенились волны. Волга в этих местах делала крутой изгиб, называемый Самарской Лукой, и зажатая крутыми берегами река резко убыстряла своё течение.

Помотавшись по округе, Федька вернулся к избе. Его сотоварищи продолжали храпеть, а Степан плёл, сидя на брёвнышке, из ивовых прутьев морду для ловли рыбы.

— Тоскуешь, парень? Это зря. От этого избавляться надо, как от лихоманки. Раз пристал к ватаге, то вся прошлая жизнь напрочь отрублена. У тебя теперь на всю

жизнь один товарищ — острый нож.

— Ты, дедко, давно здесь бытуешь? — спросил Федыка.

— Я-то? Да всю жизнь живу на этом самом месте. И деды мои здесь жили, и прадеды.

— Значит, у тебя семья была?

— А как же, — усмехнулся Степан. — Жену вот схоронил, а два сына на Низу ватажничают. Прошлым летом от них привет получил. Хочешь знать как? Тогда слушай. Раззуделось у меня плечо, думаю, дай хоть ещё раз схожу с Ломом, погуляю на Волге. Прижались мы к берегу супротив Яр-Камня и дождались струт с красной рыбой. Подошли мы к нему вплотную, а отшель приказчики пищали выставили. Наш атаманушка страсть не любит, когда его воле супротивничают. Как крикнет громовым голосом: «Сарынь на кичку!» — пищали те в руках приказчиков и задрожали. Одна стрелила, да мимо, а две другие не загорелись, звать, зелье в них было порченным. А мы, ватажники, уже наверху. Всех приказчиков побили, а старшего пузана оставили для расспроса. Подвели его к атаману, а пузан от него харю воротит, на меня уставился и говорит: «Есть ли у тебя, старый ворище, сыны на Низу?» Есть, говорю, Фрол да Кирша. «Похожи они на тебя, как две слезинки, — сказал старший приказчик. — Только плачу ими я. Увели твои воровские наследники дочерей моих, воровскими жёнками нарекли. Так что мы с тобой сваты». Челом, говорю ему, дорогой сватушка, проходи в красный угол, дорогим гостем будешь. Влас подхватил приказчика и подволок на огнище. Стащили с приказчика сапоги и штаны и поставили на раскалённые уголья. Вот так, Федыка, я дорогого свата встретил и привет от сынов получил.

— А где он сейчас? — спросил после некоторого молчания Федыка.

— Кто? Приказчик? Перезимовал в Волге, а где сейчас, не ведаю, — сказал Степан с такой задушевной искренностью, что Федыку пробрал ледяной озноб, — бухнула дверь избы, Влас и Филька отлежали до судороги бока и встали, чтобы встряхнуться. — Как раз вовремя, соколки, пробудились, — сказал Степан, указывая рукой на Волгу. — Кажись, атаман к нам припожаловал.

— Глазаст ты, как пёс, Степан, — сказал Филька. — Точно — парус. Это откель Лом путь держит?

— Всё-то тебе выведать надо, — усмехнулся ватажник. — Вот придёт Лом, его и спроси.

— И спрошу! — заерепенился Филька. — Волк волка не съест!

Влас так его хлопнул по спине, что он чуть не упал.

— Молчи! — сказал он. — Перед Ломом ты мокрица, а хочешь летать, как птица.

— Оставь его, Влас! — вмешался Степан. — Гляди, наши парус скинули, на вёслах идут.

К берегу ходко шла длинная лодка. Скоро стали видны люди, сидевшие в ней и в лад взмахивающие длинными веслами. На носу лодки стоял человек, в руке у него была пищаль. «Вот он какой, Лом! — подумал Федыка. — Сразу видно, что атаман».

Лодка, зашуршав по песку, насунулась на берег. Лом спрыгнул на берег. Это был могучей детина в красном кафтане, синих штанах и жёлтых сапогах, на голове из китайской камки шапка, отороченная мехом горностая, за пояс заткнут боевой топор — чекан — и привешена сабля в серебряных с узорочьем ножнах.

— Челом, побратимы! — торжественно произнес атаман. — Пора начинать нашу гулёвую пугину! Так?

— Так! Так! Пора! — закричали ватажники.

Лом обнялся со Степаном, затем с Власом и Филькой. Далее нашёл и ожёг взглядом Федыку.

— Это кто, новик? — Филька было сунулся ответить, но Лом его отстранил рукой.

— Отвечай, казак, тебя спрашивают, — сказал Влас.

— Пожалуй меня, ватаман, прими в свою ватагу, — произнес Федыка, стараясь смотреть в глаза Лома.

— Много просишь, — важно подбоченясь, сказал атаман. — Могу позволить остаться тебе пока живу. А дальше как решит ватажное товарищество. Оружие у тебя есть?

— Только нож, — ответил Федыка, не поняв, оставляет ли его атаман в своей ватаге или прогоняет.

— Так ты вполне ватажник, — усмехнулся Лом. — Имей нож и ложку и проживешь понемножку. Наутро поглядим, на что ты годеи.

Степан с Ломом скрылись в избе, им предстояло обсудить завтрашний выход за зипунами на Волгу. Под зипунами ярыжные люди разумели добычу, которую можно было захватить и разделить между ватажниками.

Тем временем люди разгрузили лодку. На берег были вынесены кули с сухарями и толокном, с десяток стоп выделанной кожи, бочонок с порохом и несколько пищалей. Было ли это добычей, Федыка не знал, но разглядывал всё с любопытством.

Филька с появлением старых друзей повеселел и смотрелся козырем. Влас остался прежним молчуном и сидел в стороне, мрачно поглядывая вокруг. Федыка подошёл к нему и сел рядом на бревно. Он хотел спросить бывалого ватажника, как ему быть дальше, но сдержался.

Из избы вышел Степан и поманил к себе Федыку.

— Ступай за мной, — сказал хозяин. — Поможешь неводишко вынести.

За избой стоял большой и приземистый амбар. Степан отворил дверь, и оттуда повеяло затхлостью. Невод висел растянутый два раза во всю длину амбара на жердях. Они стали собирать его, чихая и кашляя от пыли. Невод был не тяжёл, и Федыка один донёс его до берега.

— Кто рыбу чистить не любит, пусть едет неводить, — объявил Степан.

Ехать вызвались Влас, двое ватажников, прибывших с Ломом, и Федыка. Тот поехал только затем, чтобы унять мучившую его тревогу от неопределённости своего положения.

К вечеру Волга устала качаться и плескаться волнами, успокоилась и ровно несла свои воды мимо крутого берега. Ватажники знали здешние рыбные места и погребли в небольшой залив неподалеку от их становища. Лодка медленно шла по неподвижной воде, на которую падала тень от берега. Было так тихо, что сорочий стрекот, донесшийся из березняка в подгорье, ударил по ушам Федыки оглушающе резко.

Лодка подошла к берегу. Влас взял в руку верёвочный конец невода и вылез вслед за Федыкой на песок. Федыка оттолкнул лодку от берега, и сидевший на корме рыбак стал опускать невод в воду. Он был невелик, лодка сделала полукруг, и пришла пора тянуть невод. Его вытягивали не торопясь, стараясь, чтобы крылья невода шли ровень. Вскоре вода между берегом и снастью начала закипать от вспугнутой рыбы. Низ невода коснулся прибрежного дна, рыбаки за него ухватились и, держа каждое крыло вдвоём, начали их, сходясь, тянуть. Вода закипела ключом, более сильные рыбы начали перепрыгивать за верхний край невода в сторону реки.

— Своди мотню! — крикнул Влас.

Много рыбы попали в крылья невода, а его центровая часть, мотня, была полностью заполнена ею. Рыбы было так много, что мужикам пришлось поднатужиться, чтобы вытащить мотню на край берега. Федыка столкнул лодку с песка и подвёл её вброд к неводу. Рыбу вытрясли из крыльев, потом подхватили вчетвером мотню и опрокинули в лодку.

— Добрая тоня, — сказал ватажник. — Ребята будут довольны.

— Как бы не так! — рассмеялся Влас. — Им же её чистить.

Для артельной ухи Степан взял из амбара самый большой котёл. На вкусный запах варева из избы вышел Лом. Ватажники уставились на него с молчаливым ожиданием.

— Ладно! — махнул рукой атаман. — Дозволяю по одной чарке вина. Не боле! — это решение было встречено одобрительными криками. Чарки у всех, кроме Федыки, были свои и большие. После вина и еды ватажники пришли в гулевое настроение. — Филька, песню! — и полетела, как птица, над Волгой берущая ватажников за душу песня:

*Не для меня, молодца, тюрьма строена,  
Одному-то мне, доброму молодцу, пригодилась.  
Сижут-то я в ней, добрый молодец, тридцать лет  
И тридцать лет и три года.  
Появилась сединушка во русых кудрях,  
А бородушка у молодца стала белый лён;  
На резвых-то ногах железушки перержавели,  
Все дверюшки-верёюшки развалилися.  
Пошёл-то я, добрый молодец, из тюрьмы-то вон:  
«Ты прости, прости вор-злодеюшка, земляна тюрьма,  
И не ты ли меня, молодца, состарела!»*

Федыка такую песню ещё не слышал и не певал, но она с первого раза царапнула его за душу. Были взволнованы песней и ватажники, у многих по щекам покатались слёзы, что Федыку сильно поразило. Он не ведал, по молодости, того, что вор слезлив, а плут богомолен.

Всем места в избе не хватило, и Федыка спал в амбаре. Ещё до света его разбудил Степан.

— Хватит дрыхнуть, парень, — сказал он, позевывая. — Поди вымой котёл из-под ухи. Да кипяточка не жалея, ошпарь как следует!

Волгу плотной пеленой окутал туман, и было зябко. Федыка вернулся в амбар, нашёл топор, взял сухое полено и наколот растопку. Огонь мигом охватил лучины, затем, пошипев, загорелись слегка отсыревшие от росы дрова. Федыка наполнил котёл водой

и сел возле костра. Было тихо и сумрачно. Туман шёл с воды на берег, лез на гору. Где-то невнятно крикнула птица, и опять вокруг стало тихо.

Вода нагрелась, Фёдка нарвал травы и стал тереть ею нутро котла. Выплеснул грязную воду и налил чистой из Волги. Подбросил в костёр дров и снова сел возле костра. За Волгой в тумане проявилось бледно-желтое пятно, вставал новый день, а что он принесёт ему, Фёдка не ведал. На душе было ощущение тревоги и близкой опасности. Фёдка вспомнил слова атамана, что сегодня начнется гулевая путина, и у него засасало под ложечкой, будто он заглянул в пропасть, и глубина поманила его прыгнуть в бездну, а отшатнуться от края не было сил.

Вода в котле закипела, Фёдка отгрёб из-под него самые жаркие поленья, чтобы вода кипела не сильно. Ватажники стали просыпаться, выходить из избы, потягиваться, покряхтывать, подходить к реке и смачивать волосы сначала на лице, а потом и на голове. Вставших на утреннюю молитву Фёдка не заметил, да и сам он ещё лба не перекрестил этим утром, как, впрочем, и вчера, и позавчера. Сидя в тюрьме, он молил Бога о выволнении из узилища, а получил волю, и сразу все клятвы выветрились из его памяти.

К котлу подошёл Степан, насыпал в него толокна и стал помешивать палкой. Едва только успели взять в руки чашки с толокном, как со стороны береговой горы послышались шум и треск. Все поворотились в ту сторону и увидели, как из ежевичных кустов выбежал Филька, очумело глянул на ватажников и кинулся в избы.

— Торопитесь, ребята, есть, — сказал Степан, — а то не поспеете.

Из избы выскочил Филька, на бегу достал из-за пазухи ложку и принялся есть толокно из котла. Бывалые ватажники тоже поспешили насытиться. Только Фёдка сидел с чашкой на коленях, не зная, почему разразилась такая спешка.

Из избы вышел Лом, он был одет по-боевому: на голове — блестящий железный шлем, от плеч до бедер — кольчатый доспех, на поясе сабля и чекан.

— Филька принес добрую весть, — сказал атаман. — Подле Надеино Усоля ночевал купецкий струг. По мале он будет супротив нас на Яр-Камне. Купцы тароваты, казну на струге держат богатую, на Низ идут за икрой и рыбой. Как решите, побратимы?

— Брать казну! — завопили ватажники и кинулись за оружием.

Лом подошёл к костру, возле которого остался один Фёдка.

— А ты что, новик, не поспеаешь? Или здесь будешь?

— Нет, я как все, атаман, — ответил Фёдка. — Нож при мне.

— Он тебе нынче понадобится, — сказал Лом. — Будь рядом со мной. Погляжу, на что ты годен, — вооружившись, ватажники собрались вокруг атамана. Почти у всех на поясах были сабли, некоторые держали в руках пищали. — Помните, люди ярыжные, — властно сказал Лом. — Здесь я вам старший товарищ, а в бою — атаман! Зарублю любого, кто посмеет мне противиться!

Ватажники, тесня друг друга, полезли в лодку. Фёдка успел прежде всех, вскочил за борт одним махом и сел на дно близ атамановых ног. Сам Лом стоял на носу лодки и жадно озирал Волгу. Утренний туман рассеялся, водная гладь блистала отражённым блеском солнца. Ватажники в восемь вёсел гнали лодку к острову, который звался Яр-Камнем из-за того, что было там наиболее сильное течение, которое с шумом разбивалось об острый каменный выступ. Немало здесь погибло стругов от камней, но не меньше было захвачено, разграблено и пущено на дно лодок ватажниками.

Лодка добежала до острова, Лом спрыгнул на берег и быстро стал взбираться на утёс, чтобы ждать подхода купеческого струга. От Надеино Усоля до Яр-Камня было недалече, и он должен был скоро появиться. Фёдка полез вслед за атаманом. Тот глянул на него и усмехнулся.

— Смотри в оба, — сказал Лом. — Узришь струг раньше меня, дам золотой.

На утёсе было зябко. Небольшая берёзка, чудом вросшая в трещину между камнями, пошумлиwała листвою и звенела треплющейся на ветру молодой и тонкой берестой. Фёдка лёг грудью на холодный камень и, до рези в глазах, вглядываясь вдаль. Волга была пуста, ничего приметного на ней не шевелилось, кроме разбежливых волн и плеска крыльев орливых чаек. Лом неотступно вглядывался вдаль, он тоже хотел узреть струг первым, на то он и атаман.

Сначала Фёдка подумал, что ему попала в глаз соринка. Он стал промаргиваться, но соринка не уходила из глаза. И тут его будто что толкнуло.

— Струг! — завопил он. — Струг!

— Где струг? — спросил Лом. — Может, поблазнилось. Я не вижу.

— Вон, супротив черной горы, — указал рукой Фёдка.

— Смотри, какой глазастый, — хмыкнул Лом, найдя взглядом струг. — У меня слово — к ответу.

На камень упал, тихо звякнув, золотой. Фёдка схватил его и сунул за щеку.

— Смотри, учён, где прятать, — усмехнулся Лом. — Пошли вниз.

Ватажники начали действовать по заведенному обычаю, прижали лодку ближе к берегу, чтобы её не обнаружить раньше времени, пицальники достали пороховницы и стали насыпать порох на полку. Влас и ещё один не уступающий ему статью ватажник взяли багры и встали на нос лодки. Атаман занял место кормщика, а Федыка, нянча во рту полученный золотой, был подле него.

На купеческом струге люди знали, что возле Яр-Камня идти опасно, и были насто-роже. Приказчики оглядывались, ожидая подвоха, но, как ни сторожились, появление ватажной лодки было неожиданно. Мощными гребками всех вёсел она стрелой подде-тела к стругу. Приказчики схватились за пицали. Влас метнул багор, железный крюк зацепил борт струга, ватажники дали из четырёх пицалей залп и с ужасными криками бросились в рукопашную. Первым на струг заскочил Лом, Федыка метнулся за ним следом. Атаман выхватил из-за пояса чекан и метнул его в лицо приказчика, размахи-вающего саблей. Тот, обливаясь кровью, рухнул ниц. Ватажники взялись за сабли, и сопротивление защитников струга было недолгим.

— Где казна? — спрашивал Лом у приказчика, представив ему под горло конец сабли.

Тот, боясь шевельнуться, указал рукой на богато одетого человека, который лежал без движения поперёк струга. Лом нагнулся над убитым, откинул полу кафтана и сре-зал с пояса кошель.

— Так! — громко сказал Лом. — Значит, и у тебя есть золотые!

Ватажники обыскивали убитых, снимали с них одежду и сапоги, а тела сваливали в воду.

Федыка зачарованно смотрел, как нагой труп отплывает, разбросив в стороны руки, от струга. Глаза мертвеца были открыты, рыжие волосы шевелились, как на ве-тру, в зелёной воде.

— Где новик? — спросил Лом. Федыка оторвался от борта и встал на ноги. — Поди сюда, — с загадочной усмешкой промолвил атаман. — Нож есть? — Федыка достал нож и посмотрел на приказчика, который по-прежнему стоял на коленях. — Зарежь его, — лениво сказал Лом.

Федыка растерянно огляделся. Вокруг него стояли ватажники, ещё не остывшие от пролитой им крови, и в их взглядах он увидел и свою смерть. Он крепко сжал в руке нож, хотел двинуться с места, но ноги не шли, будто приросли к деревянному настилу. Тогда Влас сильно толкнул Федыку в спину, и тот упал на приказчика, на миг потеряв память. Федыка пришёл в себя от криков ватажников в ответ на слова атамана:

— Берём новика в свою ватагу?

— Берём! Берём!

Федыка посмотрел на свои руки, они были в крови, а в левом боку приказчика тор-чал нож. Над трупом склонилось двое ватажников и стали быстро его разоблакать. К ногам Федыки, зазвенев, упал нож. Он поднял его и, не обтирая от крови, засунул за пояс.

Ватажники обыскали струг и нашли, кроме дубового бруса, который в безлесной Астрахани был в цене, два кожаных мешка с чем-то мягким. Развязали — соболя! На радостях поначалу забыли пересчитать сами себя. Огляделись, двух ватажников нет, значит, упали в воду. Но было не до мёртвых, живых ватажников переполняла радость оттого, что они живы.

Соболей и одежду перенесли в лодку. На струге оставались только Влас и Лом, в руках у них были топоры. В несколько взмахов они проломали днище струга, и в него хлынула вода. Таков был у волжских воров обычай — убить всех и утопить всё, что нельзя взять с собой, чтобы некем и нечем было доказывать совершённое преступле-ние. В свою очередь государевы воинские люди пойманных воров не щадили: вешали и топили без всякого на них розыску.

Струг медленно погружался в воду, но деревянный груз удерживал его на плаву, и он медленно поплыл, увлекаемый течением реки. Где-нибудь струг приткнётся к бере-гу или попадёт на отмель и будет напоминать путешествующим о случившейся беде. А увидевшие его люди снимут шапки и перекрестятся, поминая погибших скорбной молитвой.

Лодка ватажников, отягчённая добычей, шла к берегу. Люди в ней были веселы и довольны удачным началом гулевой путины. Филька, ворочая тяжёлым веслом, зубо-скалил над Власом, остальные ватажники над этим похохатывали, понуждая забавни-ка к продолжению веселья. Федыка опаматовался от совершённого им убийства и хотя не смеялся, но смотрел вокруг живо и весело. Жизнь обрела для него новую, доселе им не испытанную полноту и насыщенность, то есть то, что люди называют счастьем. Но из-под воровского счастья всегда сочится кровь, однако этого Федыка ещё не ведал.

На берегу ватажников встречал Степан. По старому обычаю, после гулевой работы

ватажники мылись и парились, чтобы смыть с себя грязь и кровь. Первый пар, опять же по обычаю, достался атаману, он голяком выскочил из бани и с разбега упал в воду. За ним пошли париться и полоскаться в реке другие ватажные люди.

Награбленным имуществом занимался Степан, который был казначеем ватаги. Он разложил на берегу на отдельные кучи верхнюю одежду, шапки, кафтаны, зипуны, рубахи, штаны, сапоги, рядом поставил короба с солёной рыбой и вяленным мясом, кули с мукой, гречкой, горохом, луком и чесноком. Отдельно лежало оружие: пищали с пороховницами, сабли и ножи. Золотая казна была у атамана.

Помывшись, ватажники собрались вокруг награбленного добра, чтобы его раздуванить, то есть поделить между участниками набега. Дуван был высшим проявлением воровского равенства, в нём участвовали все ватажники, и каждый имел право голоса. Умело провести дуван значило для авторитета атамана не меньше, чем его отвага в бою. У ватажников были свои понятия о чести и справедливости, скроенные по воровским правилам, и переступить через них не мог никто, даже атаман. Поэтому Лом отнёсся к дувану со всей серьёзностью.

— Здесь двести золотых, — важно возгласил он, поднимая кошель с деньгами. — Нас десять душ. На каждого выходит по двадцать золотых. Подставляйте шапки! — ватажники по очереди подходили к атаману, и он отсыпал каждому его долю золотых. Фёдка, щупая языком во рту полученный ранее золотой, томился сомнениями: подходит ли ему за деньгами. — А ты что стоишь? — разрешил его неуверенность Лом. — Подставляй шапку. И мой золотой сюда же выплюни. Или проглотил?

— Цел! — радостно сказал Фёдка и выкатил на ладонку отмытый слюной золотой, который жарко вспыхнул на солнце.

Лом встал с колоды, где сидел, как на троне, и, обращаясь к своей ватаге, державно возгласил:

— Жалую Фёдку правом носить золотой на шапке!

— Атаману слава! — закричал Филька, жадно поглядывая на пятиведёрный бочонок с хлебным зеленым вином, добытый на струге.

— Одежду смотрели? — спросил Лом. — Разбирайте, кому что по нраву.

Ватажники кинулись расхватывать добычу. Хватали всё, что попадётся под руку. Потом начался размен. Фильке достался левый сапог, Власу — правый. Оба сапога пошли к тому, кому они были впору — Фильке. А тот пожаловал своего друга шапкой.

Оружие не подлежало дувану, Степан отнёс его в амбар и крепко запер.

— Что, дружье, не пора ли начинать пир? — спросил Лом.

Ответом ему были радостные крики. Фёдку, ставшего полноправным членом шайки, Лом назначил виночерпием. Ватажники подходили к нему со своими чарками, и он наполнял их вином. Мясо и рыбу из коробов брал всяк сам, сколько хотел. Особо налегали на чеснок и лук, исконно русские закуски.

Первой чаркой вина ватажники поздравили атамана и друг друга за удачный и прибыльный набег на купеческий струг. Вторую чарку выпили за ватажное товарищество, забыв помянуть своих приятелей, убитых в схватке, но это было не в новинку, у воров не в обычае помнить убитых. И тут, запьянев, обиделся Филька, никто не вспомнил и не похвалил его за весть о струге, а ведь он с риском для жизни бежал в Надеино Усолёе и всё вызнал о купцах, направлявшихся в Астрахань за икрой и рыбой. Филька начал заирать ватажников, бузить, буяннить, в конце концов его скрутили верёвкой, забили в рот ветошный кляп и бросили в колючие кусты ежевики. А без Фильки не стало голосистого запевалы, и пир превратился в тоскливое попойще. Бочку зелена вина наполовину выпили, наполовину пролили, наконец, все обеспамятели и попадали наземь, забывшись в тяжёлом пьяном сне.

Фёдка пришел в себя от холодных капель росы, которые сыпались ему на лицо с ивового куста. Едва открыв глаза, он первым делом схватился за шапку. Пришитый вчера к её отвороту золотой был цел, как и другие, за пазухой. Ватажники начали шевелиться, на крыльцо избы вышел Лом.

— Все живы? — спросил он, оглядывая своё воинство. — А где Филька?

— Тут, — сказал Влас. — От тебя, атаман, хоронится, дрожит с перепугу за вчерашнее.

— Поспешайте, — сказал Лом. — Пора прогуляться по Волге, небось, купцы без нас заскучали.

Целый день ватажники простояли в засаде у Яр-Камня, но мимо прошёл всего один струг с крепкой воинской охраной, и нападать на него Лом не решился. Но день на день не приходится, и через неделю людям Лома повезло, они ограбили струг гостя Гурьева. Самого именитого купца там не было, но он не замедлил ударить челом царю. С тех пор Лома стали знать на Москве, а окольному Хитрову был дан указ поймать Лома и вздёрнуть на рели.

Работных людей на Синбирской горе к середине лета было в достатке, ежедневно на строительстве крепости работали до полутора тысяч землекопов и плотников полный световой день. Крепость, или кремль, стали возводить со всех четырех сторон одновременно, и что ни день, стены прирастали, где на один, где на несколько венцов срубов. Сразу строились и шесть крепостных башен: четыре наугольные и две проездные. Последние делались особо прочными, целиком из дубовых брёвен, которые укладывались с наружной стороны в два ряда, с окованными железными полосами воротами, бойницами для пушечного и пищального боя, надвратной часовой, над которой устраивалась колокольня, где должен быть поставлен государев набатный колокол. Его уже доставили из Свияжска, он лежал на земле возле проездной Крымской башни и внушал людям уважение своими размерами и весом — триста пудов, таких здесь не выдввали. Колокола чуть поменьше были привезены и для других башен, чтобы своим звоном поддерживать в осаждённых отвагу и веру в победу.

В полутора сотнях сажень от кремля на Крымской стороне был заложен острог для защиты подступов к Синбирску. От него к граду началось строительство нескольких надолбов из крепкого дуба. Надолбы перекрывали двухсаженной стеной подступы к кремлю, по ним могли передвигаться ратные люди между острогом и главной крепостью. Острог делался по образу подобных укреплений на засечной черте, он был невелик, но крепок своим дубовым частоколом и четырьмя угловыми башнями, приспособленными для огневого боя. Здесь должны были постоянно нести службу ратные люди, и для них строились жилые избы, поварня, амбары оружейной и пороховой казны. В случае осады, острог надёжно защищал Синбирск с Крымской стороны. Неприятелю, чтобы подойти к кремлю, надо было уничтожить острог и надолбы, а для этого растратить свои силы, которые он нацелил на захват главной крепости. На этом и строился расчёт русских военных строителей, который оправдал себя полностью во время первой русско-польской войны за Украину. Защищённая землей и деревом Вязьма успешно отразила осаду польских войск, вооружённых пушками и имеющих опыт взятия каменных крепостей. На волжской границе против степняков Синбирск был неприступен.

Город строили простые люди, крестьяне, взятые от сохи и оторванные от родного очага. Условия их жизни были очень тяжёлыми, работные люди жили в шалашах, ели однообразную и скудную пищу, приказчики и сотники били их палками за всякую провинность. Спасения ослабевшим и больным не было, люди умирали каждый день, и отцу Никифору вошло в тягостную привычку каждый вечер идти на кладбище, устроенное на Казанской стороне неподалёку от крепости, и совершать погребальный обряд.

В конце июля резко похолодало, пошли дожди, люди простывали, поскольку негде было высушить одежду, заболели скоротечной горячкой, и счёт смертей уже шёл до десятка на каждый день. Из-за ненастья работы пришлось прекратить, люди сидели в шалашах, зябли и мокли, не имея возможности развести костры и согреться. Когда кто-нибудь рядом умирал, бывшие с ним рядом люди криками звали похоронщиков, нескольких отпетого поведения ярыжек во главе с Коськой Хариным, которые брали покойника и относили его на кладбище. К вечеру приходил промокший насквозь отец Никифор и отпевал всех скопом. Воевода велел никого без гроба не хоронить, но бывало и так, что подручные палача тайком покойника раздевали и бросали голяком в яму. Поп Никифор видел творимое ярыжниками окаянство, но ничего не мог с ними поделать. Только заикнулся, что скажет воеводе, как его притиснули к сосне и приставили к горлу нож.

— Никшни, поп, а то порешим, как курёнка!

Хитрово весьма беспокоило, как бы работные люди не возмутились и не устроили бунт, и он сказал об этом Кунакову.

— Не кручинься, Богдан Матвеевич, — успокоил воеводу многоопытный дьяк. — Бунтовать люди не станут. Я мужиков насквозь ведаю. Они согласны терпеть, а раз так, то скорее помрут, чем забунтуют.

Вскоре простудная болезнь начала косить и начальных людей. Одним из первых занедужил градоделец Першин. Когда начались ливневые дожди, он кинулся устраивать канавы для стока воды, чтобы не заливало ямы, выкопанные под основания башен. Пробыл два дня под дождём и слёг с великим жаром и трясучкой во всём теле. О болезни градодельца донесли Хитрово, и он срочно вызвал к себе знахаря Ерофеича, единственного на Синбирской горе лекаря. Тот явился, седой, как лунь, борода во всю грудь, длинные волосы на голове подвязаны кожаным ремешком, взгляд колючий и темный.

— Сделай, старинушка, невозможное, но подними Прохора на ноги, — сказал вое-

вода. — Говори, что для этого тебе надобно.

— Вели, милостивец, отпустить большую чарку вина, — сказал знахарь. — У меня было, да всё растратил.

На другой день Васятка донёс Богдану Матвеевичу, что здоровье Першина не улучшилось, винные примочки ему не помогли, градоделец впал в сильный жар, бредит и призывает к себе воеводу.

Першин лежал на лавке, укрытый овчиной, и тяжело стонал. На скамейке стояла чаша с отваром, к стене был прислонён игрушечный город. Воздух в избе был спёртый, крепко пахло вином и сыростью.

— Прохор! — сказал Хитрово. — Ты меня слышишь?

Першин открыл глаза, понемногу его взгляд стал осмысленным.

— Вот, Богдан Матвеевич, — жалко попытался улыбнуться больной. — Отхожу я и град не успел поставить.

— Не торопись на тот свет, — сказал Хитрово. — Бог даст, поправишься.

— Видно, уж нет, — Першин скривился и закашлялся. — Град не построил, ты уж прости. А на моё место поставь Авдеева, он плотник добрый, и все мои хитрости ему ведомы.

Градоделец зашёлся приступом кашля, к нему наклонился Ерофеич и стал обтирать тряпичей мокрую бороду.

Выйдя из избы, Хитрово сказал Васятке, чтобы он позвал к Першину священника. Вечером градоделец скончался. Авдеев собственноручно сделал гроб из сосновых горбылей, на погребение пришли Хитрово, Кунаков, сотники и приказчики. Хоронили Першина возле построенного им храма.

Шёл нескончаемый дождь, заливая могилу. Землекопы торопливо забросали её землей, и Никифор, подобрав рясу, побежал к своей избе. На крыльце, прижавшись к дверям, стоял человек в церковной одежде. У его ног лежал перевязанный верёвками рогожный куль.

— Ты кто? — спросил Никифор. — Почто не заходишь?

— Жду, пока вода с меня стечёт, — ответил незнакомец. — Ты, видно, Никифор, а я — Ксенофонт. Послан из митрополии к тебе диаконом.

— Как же ты до нас в такую непогоду дошёл?

— На струге. В Казани сухо, ливень только на подходе к Синбирску начался.

— Идём в избу, — сказал Никифор. — Тебе нужно переодеться и обсохнуть.

Марфинька кормила грудью Анисима. Увидев чужого человека, она ушла за занавес, а Ксенофонт развязал куль и достал из него штаны и рубаху. Когда он переодевался, Никифор не мог надивиться: диакон имел могучую статью и был облачен мышцами, как стальным панцирем. В избе потянуло дымком, Марфинька подошла в печи растопку, чтобы разогреть уху. Белёсый жгут дыма пополз по потолку в волоковое оконце. Никифор выжидающе смотрел на диакона, что тот ему скажет о себе. Ксенофонт это понял и достал из своего куля грамотку.

— Вот, велено отдать воеводе, — промолвил диакон. — Но я знаю, что в ней писано.

— И что же? — робко спросил Никифор.

— А то, что бываю не сдержан на язык и на руку.

— Батюшки! — воскликнул Никифор. — Ты что, попов бьёшь?

— Не страшись, батька, — сказал Ксенофонт. — Прогнал я в Челнах питухов, что разоряли винопитием свои семьи, от кабака, а целовальник донёс о сём воеводе Прозоровскому.

— А как на язык не сдержан бываешь, хулишь кого?

— Звоню порой в колокол не ко времени, — смущенно сказал диакон. — Люблю колокольное благолепие, ажно рассудком затемняюсь от счастья.

— Что ж, надо теперь колокольню от тебя запирать, — промолвил Никифор. — Так ведь замок выломаешь?

— Не знаю, — потупившись, ответил Ксенофонт, — но терпеть буду.

«Чисто дитя, — подумал Никифор. — А ведь так Господь свои люди строит».

Для житья диакону определили избу, где жил градоделец Першин. Утром Ксенофонт отправился к храму. Дождя не было, но тучи над Синбирской горой громоздились тяжёлые и низкие, с Волги дул холодный ветер. Работные люди продолжали отсиживаться в шалашах, и в крепости было безлюдно.

Среди приземистых изб града храм возвышался на пятнадцать саженой и был виден далеко окрест. На дубовой подклети стоял восьмиугольный сосновый сруб, покрытый лемеховой кровлей. С восточной стороны к храму был сделан алтарный прируб, покрытый бочкой. Навершием храма были три луковичные главы, крытые лемехом. Рядом стоял колокольный сруб, увенчанный шатром на столбах. К нему в первую очередь и устремился Ксенофонт.

По узкому лестничному проходу диакон протиснулся наверх, на открытую пло-

щадку под шатром и огляделся. С десятисаженной высоты ему стала видна коренная Волга, изгиб Свягия и за ней избы казачьей слободы. От свежего и острого ветра Ксенофонта пробрал легкий озноб, он встал спиной к столбу и с вожделием устоял на колокола, один большой и три малых. Руки сами собой потянулись отвязывать от бруса верёвку, прикреплённую к языку большого колокола. В голове уже звучало: «Дон! Дон!» — а вслед перепляс и перепев малых колоколов.

— Не полоши народ, диакон! — из проёма лестничного хода высунулся Никифор. — Привяжи била и ступай вниз! — поп ждал Ксенофонта на крыльце с замком в руке. — Пришлось ради тебя солгать, диакон, — сказал Никифор. — Дьяк Кунаков спрашивал, зачем запираешь колокольню. Сказал, что кто-то по ночам шарится. Ловок ты на колокольню лазать! Поглядим, как знаешь службу.

Богослужебный чин Ксенофонт знал назубок, а басовые распевы диакона умилили попа до глубины души.

Никифор и Ксенофонт так увлеклись, что не заметили, как промелькнул день, и в храм прибежал могильщик:

— Батяка! Тебя ждут покойники!

В этот день умерли восемь человек. Они лежали на деревянном помосте, один рядом с другим. Тут же стояли Коська Харин и его подручные, заметно во хмелю.

— Шапки бы поснимали, ироды! — сказал Ксенофонт. — Это ж не брёвна, а люди.

Ярыжные и не подумали подчиниться диакону, а Коська смрадно начал лаяться и медведем пошёл на Ксенофонта. Никифор затрепетал от обуявшего его страха и не смог даже двинуться с места. Однако ни кровопролития, ни драки не случилось. Диакон ухватил, как куль, нависшего над ним Коську и бросил в пустую могильную яму. Его подручные, спотыкаясь и подскальзываясь на комьях глины, кинулись врассыпную, а из ямы доносилось повизгивание низвергнутого туда синбирского палача. Вокруг никого не было и поп с дьяком опустили покойников в могилу, присыпали их слоем песка и глины.

— Надо бы вынуть Коську из ямы, — робким голосом произнёс Никифор.

— Пусть сидит! Если хочешь, доставай его сам, — сказал Ксенофонт. — Я не буду марать об него руки.

— Как же я его, борова, вытяну? Он меня утянет к себе.

— Вот и пусть сидит, — усмехнулся диакон. — Пойдём, батяка, уху хлебать.

Тем же вечером Богдан Матвеевич почувствовал себя зябко и неуютно от звона в голове. Он лёг на лавку, накрывшись шубой, и попытался уснуть. Сон пришёл, но был недолгим. Хитрово откинул шубу, сел на лавку, в голове звон стал ещё слышнее. Он коснулся ладонью лба, посмотрел на неё, она стала мокрой от пота. На зов господина явился Васятка, и тот велел ему позвать Кунакова. Дьяк немедля пришёл и вопрошающе посмотрел на воеводу.

— Как на дворе, Григорий Петрович? — спросил Хитрово.

— Льёт, как из решета, — ответил дьяк. — Конца и краю ненастью не видно.

— Я, кажется, захворал, — сказал Хитрово. — Смотри тут за всем в Синбирске, пока я отлежусь. И пришли ко мне Ерофеича.

Дьяк шагнул к воеводе и взял его руку.

— Да у тебя горячка! — воскликнул Кунаков. — Вот беда! Годи, Богдан Матвеевич, я сейчас! А знахаря не зови, залечит, как Першина.

Вскоре дьяк вернулся с сумой и, присев на лавку рядом с Хитрово, достал из неё небольшой мешочек.

— Что это? — спросил Хитрово.

— Это, Богдан Матвеевич, овсяная солома. Я без неё никогда не езжу из дома. Эй, малый! — мигом явился Васятка. — Спроворь-ка быстренько кипятку!

Слуга побежал исполнять приказание, а Кунаков взял большую чарку и насыпал в неё горсть мелко нарубленной овсяной соломы. Из другого мешочка дьяк взял горстку снадобья, где были смешаны цветы липы, чёрной бузины, и насыпал в другую чарку.

Держа на вытянутых руках посудину с кипятком, явился Васятка.

— Заваривай, вот по сию пору, — сказал Кунаков, указав перстом, сколько наливать в каждую чарку кипятку. Подойдя к вешалке, он снял с крюка чистое полотенце и накрыл им отвары, чтобы круче заварились. Богдан Матвеевич слова Кунакова слышал будто издали. В глазах стало мутно, грудь стеснило, телесная дрожь усилилась.

— Испей, Богдан Матвеевич, отвару, — сказал Кунаков, поднося к губам больного чарку. — Вот и хорошо! Теперь испей из другой. Так, молодец! А теперь приляг, — дьяк помог Хитрово лечь на постель и накрыл его шубой. Выходя из комнаты, он строго сказал Васятке: — Будь всю ночь с воеводой и глаз не смыкай! Как очнётся, дашь пить того и другого отвару!

Дьяк вышел на крыльцо и недовольно глянул вокруг. Небо было затянуто тучами,

моросил мелкий холодный дождь, вокруг не было ни души, и лишь на надвратной был человек, об этом известил удар государева колокола. Кунаков спустился с крыльца и, обходя залуженные места, подошел к избе Никифора. Поднял палку, с которой некогда не расставался, и стукнул в дверь. В избе заплакал младенец, Кунаков ещё раз ударил в дверь, которая тотчас распахнулась, и на пороге появился Никифор, а из-за его плеча выглядывал Ксенофонт.

— Это кто у тебя гостует? — спросил дьяк, впиваясь взглядом в диакона. — Чужих людей в крепости быть не должно.

— Ах, ты, господи! — всплеснул руками Никифор. — Это присланный из Казани диакон Ксенофонт. Только что пришёл.

— Не крути, поп, — жестко сказал Кунаков. — Мне ведомо, что он целый день по крепости бродит. Отписка от митрополии у него есть?

— Сейчас явлю грамоту, — сказал Ксенофонт.

— Завтра явишь на съезжей, не до этого пока. Идите, отцы православные, в храм и сотворите молебен о здравии раба Божьего окольничего Богдана Матвеевича!

Проводив взглядом Никифора и Ксенофонта, поспешивших в храм, дьяк вернулся в воеводскую избу, зашёл на свою половину и крепко задумался. Опасная болезнь Хитрово, в случае, не приведи Господи, печального исхода, разрушала надежды Кунакова на ближайшее будущее. На днях он получил из Москвы грамоту от своего товарища по прежним службам дьяка Волюшанинова. Государев дьяк сообщал, что царю нужен человек для посылки на Украину, где пламя казацкой войны запольхало вовсю, к гетману Хмельницкому, и Волюшанинов назвал имя Кунакова как умельца во всяких посольских хитростях, и вскоре должен последовать его вызов в столицу.

Синбирск уже надоел Григорию Петровичу, не та это служба, где можно было ожидать больших пожалований землей и деньгами, обычное городское строительство, конца которому не предвиделось ещё лет пять, а у него две дочери невесты и почти бесприданницы, если сравнивать с другими, чьи отцы успели, сидя на воеводствах, нахапать и набить кошу под завязку купеческими посулами и грабежом тяглого люда. «Если с Хитрово что случится, — размышлял дьяк, — то я застряну в Синбирске надолго. Пока другого воеводу пришлют, пройдет немало времени, и поездка к Хмельницкому достанется другому».

За этим раздумьем Кунаков не забывал присматривать за работными людьми. Хотя непогода и заставила их сидеть по шалашам, но дьяк примечал, что многие впали в уныние и задумчивость, а это плохо. Мужика нужно всегда держать крепко, чтобы он работал до седьмого пота, после наедался до отвала, и ложился спать, желательно без мечтательных сновидений. Вот тогда мужик послушен и надёжен, что не забунтует.

Два дня Богдан Матвеевич находился в беспамятстве, Васятка не отходил от него, поил отварами, укутывал. Что ни час, к хворому заглядывал Кунаков. Несколько раз приходил отец Никифор. Наведывались приказчики и сотники, но в избу их не пускали. Постояв у крыльца и получив от Кунакова наказ говорить своим людем, что воеводе стало лучше, они скрывались в клубах влажного тумана, который по вечерам стал укутывать Синбирскую гору.

В какое-то утро этих несчастливых для синбирян дней к граду подошёл струг, с него сошёл стряпчий, из тех, что отираются в Кремле подле царских сеней, и объявил, что он послан великим государем к синбирскому воеводе с важным поручением. Стрелецкий полсотник, начальник подгорной сторожи, немедленно доставил царского вестовщика к воеводской избе. Дьяк Кунаков принял его хмуро.

— Объяви, с чем послан, — сказал он, неприветливо поглядывая на хлыщеватого молодого дворянина с золотой серьгой в ухе.

Вестовщик не смутился холодным приёмом и уел дьяка тем, что начал громко вычитывать полный титул великого государя, и Кунакова, небрежно сидевшего в кресле, словно пружиной подняло на ноги. Стряпчий говорил титул, медленно отчитывая каждое слово и мстительно поглядывая на дьяка: «Что, уел-таки я тебя, синбирский лежень!»

Затем он поставил на стол ларец из дорогого кипарисового дерева, изукрашенный серебряной чеканкой. Кунаков отворил крышку и замер от увиденного: в ларце находился серебряный позлащенный крест, убранный жемчугом и драгоценными камнями. Он истово перевернулся трижды и с благоговением вынул из ларца государев дар. На кресте была надпись. Григорий Петрович надел оловянные очки и медленно прочел: «Повелением Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича и его благоверных Царицы и Великой Княгини Марии Ильиничны сделан сей крест в Синбирск во град в соборную церковь Живоначальныя Троицы»...

Кунаков бережно возвратил крест в ларец, кликнул своего подьячего и велел тому поместить царского стряпчего в лучшую комнату и угощать его всем, что он пожелает.

Оставшись один, дьяк задумался, затем достал из ларца крест и положил его перед

собой. В комнате было сумрачно, и через некоторое время Кунаков стал замечать, что порой от креста исходит дрожащее свечение. Он простёр под ним ладонь и почувствовал тепло, поднимающееся от креста подобно живому дыханию. Кунаков отнял руку, потом вновь простёр, и тепло опять обволокло ладонь и проявилось лёгким покалыванием в кончиках пальцев.

Ещё не веря открывшемуся ему чуду, Григорий Петрович встал на ноги, потёр виски и вышел на крыльцо. Дождь перестал, облака поднялись выше, сквозь них узким лезвием просочился солнечный луч, и дождливые капли на заборах и крышах заиграли многоцветием множества крошечных радуг. «Если крест чудотворен, — подумал дьяк, — то почему он явился передо мной. Аз многогрешен...» В этот миг над головой дьяка что-то прошумело, в лужу подле крыльца сел дикий голубь и стал омываться водой, топорща крылья и воркуя. И в этом Кунаков увидел некий вещий знак, посланный ему не отсель.

Он вернулся в свою избу, бережно положил крест в ларец и пошёл к Хитрово. Утомлённый двумя бессонными ночами Васятка вскинулся с лавки, на которой лежал, но дьяк предупредительно поднес к губам палец.

— Как Богдан Матвеевич? — шепотом спросил Кунаков.

— Ни разу не опаматовался, совсем плох.

— Выйди отсюда.

Васятка, осторожно закрыл за собой дверь, а Кунаков сел на лавку рядом с больным. Лицо воеводы осунулось, нос заострился, при дыхании из груди слышались хрипы. Дьяк сухой тряпичей отёр с его лица пот и убрал белизну из уголков глаз. Затем он взял из ларца крест и, приподняв Хитрово, сунул под подстилку.

Утром к Григорию Петровичу прибежал взволнованный Васятка.

— Воевода очнулся! Тебя требует!

«Ужели распятие помогло?» — подумал дьяк и поспешил к воеводе.

Хитрово сидел на лавке, опустив босые ноги на пол, и пил из чарки отвар.

— Как можется, Богдан Матвеевич? — спросил Кунаков.

— Глаза открыл, значит, ожил. В голове пошумливает, а так здоров.

— Рано быть здоровым, Богдан Матвеевич, рано, — запротестовал Кунаков, бережно укладывая Хитрово на лавку.

— Как там погода? — спросил Хитрово.

— Сегодня, кажись, вёдро, — ответил Кунаков. — Надо людей поднимать на работы, а то, поди, все бока пролежали. Да и сам народ ожил, одежонки сушат.

— Сколько людей умерло за эти дни?

— Ближе к сотне, — ответил Кунаков. — Много хворых.

— Что ещё? — спросил Хитрово.

— Стряпчий прибыл из Москвы, привёз крест для соборной церкви от царя и царицы.

— Наш государь Алексей Михайлович не оставляет нас своим попечением, — сказал Хитрово. — Неси, Григорий Петрович, распятие.

— Здесь оно, Богдан Матвеевич, — смущенно сказал Кунаков.

— Где же?

— Я вчера, как взял в руки крест, так сразу почувал, что в нём есть чудесная сила.

Сияние узрил и тепло, источаемое от государева дара, — дьяк ещё пуще смутился. — Вчера, когда ты был без памяти, подложил под тебя в надежде на исцеление. И помогло, как видишь, — Кунаков сунул руку под подстилку, достал крест и подал Хитрово.

— Надо бы известить патриарха о сем чуде, — сказал Кунаков.

— Оставь и думать об этом, Григорий Петрович! — воскликнул Хитрово. — Какие мы святые угодники, нам за наши грехи прямая дорога в ад. Отдай крест Никифору, ему место в храме. Подай мне кафтан, пора явиться перед приказчиками и сотниками.

Струг, на котором полоцкие шляхтичи прибыли в Казань, отчалил от пристани. С него до Максима Палецкого донёсся голос попа Никифора, благославляющего новопоселенцев крестным знаменем. Стрелецкий капитан Нефёдов молча стоял на корме и, как показалось Палецкому, насмешливо на него глядел. Шляхтич зло плюнул в воду и отвернулся в сторону города.

Большого волнения от того, что они добрались до Казани, приезжие не испытывали. Они знали, что будут находиться здесь временно, до определения им поместных владений на Майне, поглядывали вокруг с осторожным любопытством. На пристани четырьмя кучами лежали сброшенные со струга вещи, рядом с ними стояли жёны и дети.

— Спешу вас поздравить, панове, — сказал самый молодой из шляхтичей, Сергей

Лайков. — Мы добрались со столицы Казанского ханства. Пше прошем в Казань!

— Надо бы возчиков кликнуть, — произнёс ворчливым тоном Удалов. — Да где их тут взять?

Третий шляхтич, Степанов, молчал, тупо уставившись в землю. Он давно понял, что пороха не выдумает, и всегда послушно следовал мнению большинства.

Палецкий на струге даром времени не терял, он подолгу вёл беседы с бывалым кормщиком, и много чего вызнал о русских порядках и обычаях, без знания которых в неведомом краю нельзя было сделать и шагу.

— Эй, малый! — крикнул шляхтич ярыжного человека, который вился вокруг них, поджидая случая спереть что-нибудь у приезжих. — Где тут начальник пристани? Веди к нему! — дверь избы пристанского начальника была распахнута настежь. Палецкий шагнул в полумрак и скривился от сивушной вони. На лавке лежал человек и храпом отпугивал мух, которые норовили залететь и залезть в его отверстие хайло. — Эй, начальник! — громко произнес Палецкий. — Очнись, у тебя Волгу украли! — ответом ему был могучий выплеск храпа, в котором были и бульканье, и свист, и хрипение. Шляхтич покачал головой, взял бадью с водой и вылил на пьяного. Тот вскопчил, как ошпаренный, и завращал полумутными очами. Палецкий для полного отрезвления наградил его щедрой оплеухой. — Так-то ты государеву службу правишь! — грозно вскричал шляхтич. — Я тебя посажу в воду!

Через малое время возы для приезжих были поданы, на них погрузили вещи, посадили малых детей, и обоз направился к Казани. Дорога до города была топкой, в половеде пойму широко заливало водой. Палецкий ехал на коне обочь дороги и приглядывался к казанскому кремлю, который возвышался каменными башнями и стенами на холме. Опытный воин, шляхтич оценил сразу, что твердыня практически неприступна, и взял её в свое время царь Иван Грозный большими людскими потерями и перевесом сил в огненном бое.

Ворота в кремль были открыты и никем не охранялись. Обоз шляхтичей въехал на площадь и остановился возле коновязей. Палецкий слез с коня и огляделся: вдоль крепостной стены стояли несколько изб, а одна, что стояла супротив ворот, выделялась своими размерами. Эту избу можно было назвать теремом — на каменной подклети, в два этажа, с высоким и просторным крыльцом, шатровой узорчатой, как печатный пряник, крышей. На крыльце стоял высокий и худой старик в шубе и остро поглядывал на приезжих. Палецкий решил, что это, должно быть, воевода, и галантно поклонился ему на свой польский манер. Его примеру последовали другие шляхтичи. Старик взмахнул рукой, что-то крикнул и ушел в избу. Приезжие переглянулись, к ним быстрым шагом шел служивый человек.

— Воевода князь Прозоровский, — сказал он, отчеканивая каждое слово, — спрашивает, что вы за люди?

— Мы, — ответил за всех Палецкий, — половецкие шляхтичи. Определены великим государем в свои поместья на Майне.

— Ступайте за мной, — сказал служивый. — Воевода хочет вас узреть. И не заноситесь. Князь скор на расправу.

Прозоровский принял шляхтичей в просторной палате, сидя в высоком кресле с резными подлокотниками, на которых лежали его руки с сухими длинными перстами, унизанными золотыми кольцами с алмазами и рубинами. Пол в помещении был застлан громадным персидским ковром. Стрельчатые окна забраны пластинами горного хрусталя. Все это были остатки прежнего богатства и величия казанских ханов.

Шляхтичи низко поклонились воеводе, Палецкий объяснил ему, кто они такие, подал государевы ставленные грамоты. Князь нацепил на нос круглые очки и начал, шевеля бледными губами, их вычитывать.

— Добро, — сказал он. — Раз пришли, так и живите.

Прозоровский откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, став похожим на покойника. Палецкий вопрошающе посмотрел на стоящего подле воеводы дьяка Зряхова. Тот предупреждающе поднёс палец к своим губам, затем поманил шляхтичей за собой. Осторожно ступая по мягкому ковру, все вышли в другую комнату, где на полках было много свитков, стоял стол с чернильницей и кресло.

— Князю сильно неможеться, — сказал дьяк. — На Казань назначен воеводой боярин Шереметев. Вам, паны, придётся ждать его прибытия. А Прозоровский завтра едет в свою коломенскую вотчину.

— Как же нам быть? — спросил Палецкий.

— Я сказал, что ждать боярина Шереметева.

— Скоро ночь, — вскипел Лайков. — Нам нужно устроить семьи!

— Не горячись, панок, — дьяк Зряхов кисло сморщился и призвал подьячего Клюкина. — Порфирий! Отвори осадную избу, пусть паны живут в ней, сколь похотят.

Осадная изба стояла неподалёку от воеводских палат. Клюкин достал откуда-то из-

под крыльца ключ, отпёр и распахнул дверь.

— Пожалуйте, господа! Комнат на всех достанет. Солому для постелей можно взять на конском дворе.

В избе стоял кислый дух, но комнаты были чисты и просторны. В каждом помещении имелся стол и несколько коротких, на одного человека, скамеек, вокруг стен находились широкие лавки для спанья. Палецкий выбрал себе для житья две смежные комнаты, остальные шляхтичи поместились так же просторно.

Утром Палецкого разбудил скрип тележных колес и ругань. Он вышел на крыльцо и увидел перед воеводскими палатами два десятка возов. Крепостные стрельцы грузили на них узлы с одеждой, короба с посудой. На отдельный воз шестеро дюжих стрельцов с трудом взвалили огромный ковёр. Палецкий присмотрелся, ковёр был из воеводской палаты. Шляхтич подивился: сколько воевод ковёр топтали, а покусился на него немощный князь Прозоровский, который уже двумя ногами по колено в могиле.

Воевода за погрузкой присматривал с крыльца, рядом стоял дьяк Зряхов.

— Почто прощальных поминок не зрю? — просипел князь.

— Как нет, батюшка! Вон гости, торговые люди и татары ждут твою милость.

— Скажи им, чтоб шли к крыльцу.

По зову дьяка лучшие люди Казани приблизились к воеводе. Шляхтич Палецкий подивился: июньское солнце, несмотря на утро, уже всюю припекало, а они были одеты по-зимнему, в меховых шапках, шубах и подбитых мехом азиатских халатах, которые полами мели площадную пыль. Перед воеводой все, после земного поклона, встали, сняв шапки, блестя под солнцем потными бритыми головами, и русские, и татары.

Вперед дароносцев вышел купец гостиной сотни Конобеев.

— Прими, милостивый князь, наши поминки, — сказал он. — Пусть твоя дорога будет лёгкой, а милость великого государя к твоей особе безграничной. А мы, худородные торговые людишки, будем славить имя твоё, князь, в молитвах во здравие.

И православные, и магометане подтвердили слова Конобеева поклонами, крестным знаменем и омовением лица и бород. Затем лучшие люди дали знак своим слугам, и к ногам воеводы были возложены дары: кошельки с золотыми, роскошные меха, связки дорогой юфтевой кожи, сукно, ичиги с расписной татарской вязью, на позолоченных каблуках. Два молодых татарина подвели к крыльцу скакуна в богатой сбруе. Довершило подношения казанское мыло, коим славился город на всю Русь: твёрдое, от дегтярного до розового и жидкое, всяких цветов и ароматов.

Старый князь был растроган, даже прослезился от восторга, какими отзывчивыми людьми он правил: на прощанье их и грабить не надо, сами принесли лучшее, что у них было.

— Порфирий! — вскричал воевода. — Неси православным по большой стопке водки, а татарам халву с изюмом. Да не жалея — лей всклень, а клади с верхом!

Отъезд воеводы занял весь день. Он уже был на пристани, а его слуги обшаривали крепость, нельзя ли что ухватить и уволочь с собой. Один мордатый парень даже забег в осадную избу к шляхтичам и ухватился, чтобы утащить, за медный котёл, однако не успел, получил укорот от скорого на руку Лайкова.

Дни шли за днями, а новый воевода Шереметьев всё не ехал, и шляхтичи начали тосковать. Они горели желанием поскорее осмотреть свои владения на Майне и приступали к дьяку с просьбой поскорее решить их дело, но тот вяло отнекивался, дескать, немочен без Шереметьева этого позволить, и кисло морщился. Постепенно до шляхтичей дошло, что на Руси власти не привыкли без нужды поспешать. Здесь для того, чтобы добиться от них правого суда, нужно жить очень долго, лет до ста, а лучше дать посул, то бишь взятку. С этим и собрались они в комнате у Палецкого.

— На Казани безвоеводье, — сказал он. — Надо, други, обмыслить своё положение. Назад на Москву нам пути нет. Государеве жалование и поместные грамоты мы взяли. В другой раз бить великому государю челом стыдно и опасно. Москва не Речь Посполитая, здесь шляхту запросто бьют и кнутом, и батогами.

— Надо идти к дьяку, — предложил Удалов. — Пусть решает. А нет, так и за бороду его потаскать!

— Ой ли! — запротестовал Степанов. — У него два приказа стрельцов да мурзы татарские под началом. Как раз упрячет нас в тюрьму.

— Тогда остается одно, — сказал Палецкий. — Дьяку добрый поминок дать надо. Распарывайте пояса и доставайте по два золотых.

Узрев рубли, дьяк Зряхов враз утратил кислое выражение лица и сказал Ключину:

— Порфирий! Приведи из подгородной слободы сорок плотников. На всё тебе завтрашний день, и отсчитай каждому шляхтичу по двести брёвен на домовое строение.

— Зачем нам плотники и брёвна? — удивился Палецкий. — Нас на Майне земля ждёт.

Зряхов укоризненно посмотрел на него и усмехнулся.

— Слушай меня, шляхтич. Великий государь повелел крепкий пригляд за поселенцами держать. Что вам делать в Диком поле с жёнками и малыыми детьми? Там же пустое место. Порфирий приведёт плотников, поставите избы. Тем временем боярин Шереметьев доволокётся до Казани. Ударите ему челом, он даст вам дворцовых крестьянишек, отказчика земли. Вот с ним и поедете на Майну. Поставите там межи, а осенью пришлёте своих мужиков, чтобы избу срубили и целину начали ломать. Это же непросто — устроить поместье. Раньше, чем через два лета, не управитесь. А пока живите в Казани. Государево жалованье у вас — дай Бог каждому: по три рубля в месяц на семью.

Дьяк утомила долгая речь, он кисло скривился и махнул рукой, мол, ступайте, майнские помещики!

Нашлось дело — ставить избы, и шляхтичи повеселели. Все дни проводили на работах, понукали плотников, не давали им без дела на брёвнах просиживать да поплевывать. Повеселели их жёны, они обрадовались, что остаются в Казани на долгий срок.

Плотники работали споро, и вскоре на посаде поднялись четыре свежих сруба. А тут и новость послела: боярин Василий Петрович Шереметьев стоит на струге возле пристани и требует к себе всех лучших людей Казани. И вспыхнула в городе суматоха. Со стороны посмотреть, можно подумать, что пожар случился, но дыма-пламени не видно. Дворяне и посадские люди устроили страшное шевеление, все куда-то бегут, торопятся, русские матерятся, татары гогочут.

Новый воевода Казани боярин Шереметьев сидел под навесом на струге и с ненавистью смотрел на доставшийся ему в кормление град. Он скверно отъезжал из Москвы, недруги почти в открытую уязвляли его, говоря, что его сын Матвей — блудолюбец, прихвостень немцев, от них перенял поганые обычаи брадобрития и питья табака. Шереметьев безмерно любил сына, у него рука не поднималась наказывать его батогами, а малый усвоил повадку помыкать родителем и не слушал не только его, но и самого святейшего патриарха Иосифа.

По дороге в Казань струг боярина остановился близ села Лопатицы, куда вернулся после бегства в Москву неистовый поп Аввакум. Шереметьев призвал его на струг, принял благословение, а от сына Матвея поп в ужасе отшатнулся и начал его предерзко обличать в блудолюбии, имея в виду весьма распространённый в ту пору среди высшего сословия порок мужеложества.

— Схватить попа и бросить в воду! — вскричал уязвлённый в самую душу боярин.

К счастью, слуги замескались, Шереметьев остыл и велел запретить Аввакума на струге. На следующее утро попа крепко побили и выкинули на берег. Это происшествие отравило дальнейший путь воеводы в Казань раскаяньем о своем поступке. Через несколько лет он встретился с Аввакумом в царских сенях и просил у него прощения о содеянном.

Среди лучших людей Казани были и такие, кто порывался первым прибежать к воеводе на пристань, но дьяк Зряхов таких укоротил, и встречать боярина Василия Петровича Шереметьева все двинулись вместе: впереди митрополит Корнилий, чуть позади дьяк, гости, торговые люди, именитые татары, за ними приказ стрельцов в красных кафтанах с алебардами на плечах и толпа татарских мурз на конях. На подходе к пристани дьяк сделал знак, и оглушительно загремели барабаны и заухали тулумбасы.

На берегу митрополит отслужил молебен в честь прибытия нового казанского воеводы, затем боярин Шереметьев, сопровождаемый сыном, прошёл мимо лучших казанских людей, которые стояли, подобострастно взирая на воеводу. Митрополит Корнилий шёл с ним рядом. Иногда боярин о чём-то его спрашивал, и архипастырь что-то ему отвечал на ухо. Видя это, дьяк Зряхов кисло морщился, оказывается, на роль советчика и шептуна претендовал не он один.

Въезд воеводы Шереметьева в Казань был торжественным и многозвонным. От всех церквей и соборов растекался окрест колокольный звон, на стенах кремля, вдоль дороги, на холме находилось множество людей, облачённых в свои лучшие одежды. Казань по старой привычке кичилась своим многолюдием и зажиточностью. Шереметьев, увидев большое число достаточных и сытых людей, потеплел взором, будет кого взять посулы, в последние годы его боярская казна изрядно прохудилась.

Не минул вниманием Василий Петрович и шляхтичей. Среди встречающих они заметно выделялись своим видом — в ярких малиновых кунтушах, синих шароварах и лихо заломленных набекрень шапках с лебяжьим пером. Он спросил о них, к досаде дьяка, у митрополита, и тот что-то шепнул ему на ухо.

К приезду нового воеводы палаты кремлёвского терема были тщательно выскоблены, вымыты и проветрены от кислого старческого духа князя Прозоровского и его присных. В нескольких комнатах были поставлены столы и скамьи, в стрелецкой поварне парились и жарились кушанья, из подвалов выкатили бочку романей. На другой кухне готовили блюда для лучших татар из баранины и жеребятины, а на земляном

полу вповалку лежали бурдюки с охлаждённым кумысом.

Почётный пир во здравие и многие лета нового казанского воеводы начался после церковной службы, ближе к вечеру. Шляхтичи также были на него званы, к своему удивлению, обнаружили, что их усадили на самые почётные места рядом с дьяком Зряховым и двумя московскими стольниками, прибывшими вместе с воеводой из Москвы. Скоро выяснилось, что этим они обязаны боярскому сыну Матвею, большому любителю иноземцев, коими в Казани их продолжали величать из-за их полоцкого происхождения, хотя шляхтичи были природными русаками.

Пированье шло согласно дедовским обычаям — пили допьяна, закусывали до отвала. Палецкий, как ни исхитрялся пропустить мимо себя чарку вина, к ночи стал вполнину пьян, крепко пьяны были и остальные шляхтичи, а Лайков съюзился под стол и там захрапел с причмоком и посвистом. Крепко хмельны были все гости, и только Шереметьев держался крепко, зная, наловчился на царских пирах пить, не пьянея.

Три дня воевода занимался подсчётом всего, что досталось ему от его предместника князя Прозоровского, а на четвёртый день призвал к себе полоцких шляхтичей.

— Говорите ваши нужды, поселенцы, — молвил Шереметьев. — Не забижал ли вас кто на Казани?

— Мы довольны премного казанским гостеприимством, — ответил Палецкий. — Однако в гостях хорошо, а дома лучше. Пожалуй ты нас, благодетель, теми крестьянишками, кои дадены нам великим государем, из дворцовых деревень, да вели, милостивец, отрядить с нами на Майну подъячего, поместного отказчика, чтобы тот поставил межи на пожалованной нам, полоцким сиротам, великим государем земле.

— Дьяк Зряхов, — приказал воевода, — немедля отправь отказчика и запиши на шляхтичей дворцовых крестьянишек, сколько кому великим государем определено. А вы, шляхтичи, ступайте в Дикое поле да держите там ухо остро. Для сбережения даю вам десять конных стрельцов.

Дней через десять из ворот казанского кремля вышел небольшой отряд пеших и конных людей. Впереди ехали на конях шляхтичи, за ними двигались несколько телег в окружении двух десятков мужиков, взятых из дворцовых деревень, далее на своём возке ехал отказчик Говоров, а замыкали шествие конные стрельцы.

Подъячий на Майне не был, но дорогу туда ведал. Несколько лет назад он размежевывал в ближнем Закамье два десятка поместий для татарских мурз, которые повелением царя Алексея Михайловича были поверстаны в дворяне с указом: магометанам православных людей в крепости не держать, поэтому мурзы скоро уверовали в Христа и стали заправскими русскими помещиками. К одному такому новокрещёному, жившему на берегу Камы, после некоторых блужданий привёл Говоров шляхтичей и стрельцов.

За несколько лет бывший мурза, а ныне православный помещик Василий Шарафутдинов сумел обжиться на новом месте, построил просторную избу, амбары, скотный двор и конюшни. Гостей он встретил настороженно, но, узнав, что они новые поселенцы, свой брат помещики, стал общительным и радушным. Шарафутдинов показал им всё, чем владел: коров, бычков и нетелей, овец, лошадей, но особо гордился пашней, двадцатью четями чернозёма, на которой уже начала набирать колос озимая рожь. Он мог бы и расширить запашку, земля у него была, но этому мешало отсутствие рабочих рук, крестьян у Шарафутдинова было всего пять семейств, тоже принявших православие. Шляхтичей интересовало, есть ли угроза со стороны башкирцев и калмыков.

— Слава Богу, меня до поры не наведывали, — ответил Шарафутдинов. — А вот на левом берегу иногда маячат их станицы.

Шляхтичи переглянулись и приуныли.

Ради приезда нечаянных гостей Шарафутдинов распорядился зарезать двух баранов и устроил небольшое пированье. Столы поставили под большой раскидистой березой. Кроме мяса, на угощение подавали блюда из камской рыбы. Пили брагу, настоящую на меду, домашнее пиво. Шляхтичи ели и пили с неохотой: известие о возможной встрече со степняками на Майне порядком испортило им настроение. На брагу налегали только подъячий и десятник стрельцов. Хозяин тоже примерно поспеивал за ними.

Палецкий вышел из-за стола и направился к берегу Камы. Утром предстояло через неё переправляться, и он хотел взглянуть на реку, которую считали соперницей Волги. Вода в ней была темна и быстротечна, немалой была и её ширина, опасны водовороты. Палецкий поёжился от холодного ветерка и пошёл вдоль берега, подыскивая место, где способнее спускаться к воде повозки. Через сотню шагов его привлёк запах дымка. Шляхтич миновал заросли ивняка и вышел на поляну, где стояла избёнка, рядом с ней на бревне сидел оборванный мужик и чинил верёвочную упряжь. Заметив Палецкого, мужик рванулся бежать, но ему под ноги из избёнки выбежал голый ребёнок. Мужик

замер на месте и смотрел на шляхтича затравленным взглядом. Услышав шум, к нему подошла баба с ребёнком на руках и встала рядом.

— Что вы обочь от других людей живёте? — спросил Палецкий. Мужик молчал. Задав ещё несколько вопросов, шляхтич понял, что ответов он не услышит, повернулся и пошёл прочь.

— Знамо дело, беглый, — сказал Говоров. — Летом крестьянишки утекают от своих хозяев. У этого новокрещёна, поди, ещё можно сыскать беглых мужиков. Здесь это дело обычное.

За Камой людских поселений не было до самых башкирских и калмыцких кочевий. Скоро должна быть Майна, и шляхтичи стали с пристрастием озирать всё вокруг, начались земли, на которых, должно быть, их поместья. Они шли от Казани уже больше недели через пустые незаселённые земли, сплошь и рядом попадались прекрасные места, где можно было ставить усадьбы, но государев перст указал им именно Майну, и шляхтичи послушно шли туда, куда им было велено.

После завоевания Казанского и Астраханского ханств Московскому государству стали подвластны пустынные незаселённые людьми земли величиной с пол-Европы. Их надлежало освоить и заселить, но сначала создать мелкие и крупные гнёзда русских поселений, чтобы, опираясь на них, производить переселение людей из центральных уездов. От Камы до Майны и далее было пусто, и полоцким шляхтичам предстояло поставить на безлюдной реке первые усадьбы, распахать целину, укорениться в Заволжье, чтобы им вслед, уже с меньшей опаской, пришли другие.

— Вот и Майна! — сказал подьячий Говоров, указывая рукой на неширокую речку, которая тихо несла свои воды среди невысоких берегов, заросших тальником, камышом и осокой.

Шляхтичи привстали на стременах и заозирались, настал решительный час выбора земли для поместий, и каждый стремился угадать самое удачное и выгодное место. Лайков поднял коня на дыбы, готовый броситься к дубраве, за которой угадывалось просторное поле, поросшее сочной травой.

— Годи, Сергей! — остановил его Палецкий. — Давайте, други, условимся, чтобы в будущем споров промеж не было, двое едут на ту сторону Майны, двое остаются здесь, и все разъезжаются в разные стороны.

— Добро! — крикнул Лайков, прищипывая коня. — Я свою землю нашёл!

— Кто со мной на ту сторону? — спросил Палецкий.

— Я поеду, — сказал Степанов. — От этого Лайкова надо жить подальше.

— Разбивай здесь стан, — велел Палецкий стрелецкому десятнику. — А я с отказчиком и Степановым пойду за Майну.

Выехав на другой берег реки, Палецкий бросил поводья. Конь остановился, пожевал удилами и, медленно ступая, пошёл, круто забирая вправо, в травяное поле. Степанов направил своего коня в другую сторону, а Говоров поехал следом за Палецким, Ему, старому отказчику помещичьих угодий, не впервой приходилось видеть, как поселенцы, увидев свою землю, приходят в лихорадочное возбуждение, словно нашли сундук с золотом. Вот и Палецкий ехал по своей земле, чувствуя, как его переполняет безграничный восторг от всего, что он видел вокруг. Это широкое и ровное поле, обильно поросшее медоносными травами, эта дубрава, эта берёзовая роща, этот пойменный луг — всё это может, дай он знак подьячему, перейти в его владение, стать собственностью его рода. Но шляхтич не стал торопиться с решением столь важного дела. Он проехал поле вдоль и поперёк, несколько раз сходил с коня и раскапывал землю, каждый раз убеждаясь, что это чернозём, а не глина, как в оставленном полоцком поместье. Обратил внимание Палецкий и на то, что здесь имеется небольшая впадина и ручей, значит, можно будет поставить свою мельницу. Прельстило шляхтича и то, что невдалеке от его владений имелся преобширный чёрный лес, а на усадьбу, крестьянские избы и прочие постройки требовалось немалое число брёвен.

Подьячий Говоров лежал в траве и, лениво хрумкая сухарём, разглядывал кучевые облака, которые стали наливаясь предгрозовой синью. Услышав конский топ, он поднялся на ноги. Подъехал Палецкий и, не сходя с коня, объявил:

— Пиши, Говоров, отказную грамоту на эту землю.

— Куда спешить, — сказал подьячий. — Написать недолго, да ты погуляй вокруг, может, что ещё приглянется.

— Нет, беру эту землю, — заявил Палецкий, — лучше не бывает!

— Смотри не передумай, — проворчал Говоров, забираясь на своего коня. — В другой раз писать не буду. У меня и бумаги, и чернил только на одну грамоту.

— Экая незадача, — усмехнулся шляхтич. — На это дело у меня золотой всегда найдётся.

— Тогда поехали! — повеселел подьячий. — Вон, зришь, горелый дуб, от него и начнём, вешка приметная, ещё лет сто простоит, — между дубравой и берёзовой рощей,

на краю выбранного шляхтичем поля стоял громадный дуб, вернее, чёрный обгорелый остов от дерева. Возле него Палецкий и Говоров на малое время остановились. Подьячий зажмурил левый глаз, прицелился правым и промолвил: — Начнём, благославясь! — и тронул коня в сторону рощи. Шляхтич двинулся за ним следом. Проехав немного, он заволновался:

— Стой, Говоров! Как же ты землю меришь?

— А ты на моего коня гляди, шляхтич, — рассмеялся подьячий. — Конь у меня, как и я сам, дошлый отказчик. Как головой махнёт, так есть пять сажен.

— Не может того быть! — изумился Палецкий.

— Не ты первый в сомнении, — сказал Говоров. — Я на спор этим конём не один штоф вина выпил.

— Значит, всё ладно будет? — спросил шляхтич.

— Об этом не горюй, — сказал подьячий. — Земля — не сукно в торговом ряду, я мерю её не в натяг, а слабину даю. Будешь доволен, — не успели обойти всю землю, как на взмыленном коне примчался Лайков и заторопил отказчика на выбранную им землю. — Не мешайся, шляхтич! — грозно рыкнул на него подьячий, обнаружив, что под приказным затрапезным обличем скрывается свирепый нрав. — Никуда твоя земля не денется. Отсель хоть день скачи сломя голову, других помещиков нет. И до тебя дойдёт черед! — от этих слов обычно драчливый Лайков как-то увял и отправился восвояси. — Пора грамоту делать, — сказал Говоров, когда они объехали выбранную Палецким землю по всему кругу, — он развязал свою суму, вынул из неё чернильницу, перья, бумагу, сел на пенёк и задумался.

— Что не пишешь? — спросил шляхтич.

— А чем писать? Чернила-то высохли, — Палецкий расхохотался, достал из-за пазухи золотой и кинул подьячему. Тот ловко поймал его на лету и сунул за щеку. — Начнём, благославья, — промолвил подьячий и, взяв перо, застрочил по бумаге с такой скоростью, что малограмотному шляхтичу стало не по себе: то ли пишет приказной выжига? А тот на одном дыхании исписал более пол-аршина бумаги, посыпал мелким песком написанное, затем сдул его и протянул отказную грамоту: — Вычти, шляхтич, всё ли ладно, — сказал Говоров и, выплюнув на ладошку золотой, обтёр его рукавом и сунул куда-то вглубь своей одежды.

— Вроде всё верно, — нерешительно сказал Палецкий. — Значит, эта земля теперь моя?

— Твоя, шляхтич, пока великий государь тебя своей милостью жалует. Жалованную и отказную грамоты храни пуще глаза. В них вся твоя жизнь и твоих детей.

Подьячий сложил чернильницу, перья и бумагу в суму и отправился к поджидавшему его Степанову, который уже выбрал землю и торопился получить на неё отказную грамоту. Палецкий остался на своей земле один. Первые самые острые чувства уже его покинули, хмельное ощущение восторга сменилось трезвым взглядом на всё вокруг. К работе на земле нужно было приступать, не мешкая, и Палецкий, свистом подозвав коня, поехал к стану, который разбил стрелецкий десятник на берегу Майны.

В десяти крестьянских семьях, пожалованных Палецкому царём, мужиков, годных к работе, было пятнадцать душ, в некоторых семьях жили младшие братья и племянники хозяина. Из них на Майну шляхтич взял пятерых неженатых мужиков. Они шли в Дикое поле с большой неохотой и угрюмо глянули на Палецкого, когда тот подъехал к ним, велел взять топоры и косы с телеги и идти за ним следом на другую сторону Майны.

Через реку мужики перешли голышом, держа одежду над головой. На берегу переоделись и усталились на поджидавшего их шляхтича.

— Великое дело начинаем, ребята, — сказал Палецкий. — Будем ставить деревню, ломать пашню, сеять хлеб — жить здесь будем. Вот вам мой урок: накосить и сметать тридцать копен сена, затем поставить большую избу. Ближе к осени вас сменят ваши родичи. Работайте, чтобы им было где укрыться от ненастья и чем кормить лошадей. Всем понятно? — мужики молчали, уставившись в землю. Палецкий не удивился: русский мужик тяжёл на подъем, без погонялы с места не сдвинется. — Как звать? — спросил он ладного парня, единственного, кто с виду показался шляхтичу смышлённым.

— Прокопка, — широко улыбнувшись, ответил тот.

— Будешь в ответе за всех, — сказал Палецкий. — Берите косы и ступайте на луг. Там трава такая, что с одного прокоса три копны выйдет. И знайте, лентяю потачки не будет.

Подьячий Говоров за день успел наделить землей всех шляхтичей. Он был доволен: и дело сделал, и себя не забыл — четыре золотых, по полтине каждый, это тебе не кот чихнул, а его полугодовое жалованье. Задерживаться на Майне он не хотел и сразу объявил, что едет в Казань. Его не удерживали. Шляхтичи, получив отказные грамоты, были заняты мыслями о своих поместьях. Все они, подобно Палецкому, были

намерены поставить временные избы и заготовить сено для рабочих лошадей, а затем вернуться в Казань и уже с приказчиками послать с десятков крестьян каждый на Майну для пахотных работ.

С той поры шляхтичи разделились, стали жить всяк сам по себе на своей земле. И сразу в каждом проявился свой норов хозяина. Лайков без удержу лаял мужиков, одного парня, сломавшего косу, отодрал плетью. Удалов во всём следовал повадкам своего соседа, правда, без битья, но лаялся страшно. На другой стороне Майны было тихо. Палецкий давал с утра урок, а вечером смотрел, что сделано. Поначалу мужики было заленились, но шляхтич поставил на расправу старшего, Прокопку: привязал его к дереву под комариные жала. Парень сначала крепился, а потом так завыл, что майнским волкам не по себе стало. Однако всех сноровистее оказался тихоня Степанов. Он каким-то неведомым способом и мужиков отучил от лени, и стрельцов запряг в работу за три полушки в день. Те начали в чёрном лесу заготовливать брёвна для помещичьей усадьбы. Другие шляхтичи, узнав об этом, дивились, как эта придумка не могла прийти им в голову.

Новопоселенцам в их делах способствовала погода. Стояли тёплые безветренные дни, кроме комаров, их ничто не беспокоило. Питались люди справно: кроме толокна и сухарей, каждый день варили уху с большим количеством рыбы. Сорожки, окуней, щук в Майне было много, и рыба битком набивалась в морды. Палецкий, осматривая свои угодья, в лесу наехал на старое дерево, из которого доносился неумолчный пчелиный гуд. Своего смельчака не нашлось, вызвался один из степановских мужиков, залез на дерево и разорил борт, наковыряв из дупла полный берестяной кузов пчелиного мёда. Все тогда посластились вволю, и шляхтичи, и мужики.

Крестьяне знали, что домой они пойдут лишь после того, как сделают всё, что им велено, поэтому работали споро. Трава была густой и укосной, за каждым взмахом косы оставался тяжёлый валок, солнце быстро его подсушивало, и скоро сено начали сгребать и метать в копны, которые затем приваливали с боков и сверху ветками. Палецкий был доволен, сенокос завершён, и можно начинать ставить избы. Он уже наметил, где и какие деревья срубить. В нём проснулся хозяин, для временной избы выбирал деревья похуже, а жилище для крестьян решил сделать полуземляным, с небольшим, в аршин поверх земли срубом, и пластяной крышей.

На следующее утро четверо мужиков отправились в рощу на заготовку брёвен для избыного сруба и крыши, а Прокопка пошёл за Майну взять у стрельцов лошадь с телегой для вывозки леса. Утро было туманным, мокрая от росы трава приятно холодила парню ноги, недалеко постукивал дятел. Река обмелела, и, сняв штаны, Прокопка перешёл её вброд. Стрельцы уже были на ногах — кто умывался, кто жевал размоченный в ключевой воде ржаной сухарь, кто, обратясь на восход, творил утреннюю молитву.

Лошади паслись недалеко от стана, и Прокопка пошёл к ним, ухватил за гриву саврасую кобылу, успокоил ласковыми шлепками по шее, и, сняв с передних ног путы, повлёк её за собой. Поначалу он привёл кобылу к речке на водопой, но она, брезгливо оттопыривая губы, сделала несколько глотков и подняла голову.

— Напилась? Наелась? Тогда, пожалуй, барыня, в оглобли, — сказал Прокопка и ударил кобылу верёвкой по боку. Но та даже не шевельнулась, стояла как вкопанная и только стригла ушами. — Пойдём, что ли, — сказал Прокопка и потянул кобылу за верёвку.

В это время из-за реки до него донёсся шум, похожий на отдалённый топот многих коней, а его кобыла вдруг звонко заржала. С другого берега в воду упало что-то тяжёлое. Это был степановский мужик. Прокопка с перепугу рванул за собой лошадь и укрылся за деревьями. Было слышно, как мужик мычит и барахтается в воде. Прокопка выглянул из-за дерева и увидел на другом берегу двух всадников в овчинных шубах, один из них выпустил из лука стрелу, и поднявшийся из воды мужик упал навзничь, подняв сноп розовых брызг.

На берег выехали ещё несколько всадников. Полопотав промеж собой, они стали спускаться с берега к воде. Некоторое время Прокопка зачарованно на них глядел, затем неведомая сила оторвала его от земли и забросила на спину лошади. Ей передался Прокопкин страх, она пронзительно завизжала и кинулась к стрелецкому стану. Прокопка, не останавливаясь, промчался мимо заполошно мечущихся среди воев стрельцов, которые схватились за сабли и пищали и начали отбиваться от нападавших. Раздалось несколько пищальных выстрелов, Прокопка ещё крепче обхватил за шею кобылу и зажмурил глаза. Он мчался по редколесью, иногда древесные ветки хлестали его и рвали одежду, но только кобыла замедляла бег, он колотил её ногами и кулаками и мчался дальше.

Наконец рабочая лошадь, непривычная к бегу, выбилась из сил и встала. Прокопка оглянулся по сторонам, свалился кулем на землю и заплакал, как малое дитя. Страх начал выходить из него слезами. Проплакавшись, он огляделся. Вокруг стояли высо-

кие меднокорые сосны, между которыми кое-где виднелись кусты рябины и ольхи. Земля была устлана толстым слоем высохших иголок и сосновых шишек. Прокопке показалось, что неподалеку кто-то вскрикнул, он затаил дыхание, прислушался, звук не повторился, и лишь сосны пошумливали высоко вознесёнными над землей кронами да поскрипывали, постанывали своими прогонистыми и чуткими к ветру стволами.

Он отёр ладонями лицо, встал и подошёл к кобыле. Она жалобно, совсем по-человечьи, посмотрела на Прокопку, и он не стал садиться, взял за верёвочный повод и повёл за собой, в ту сторону, которая показалась ему светлее. Путь был выбран верно, через некоторое время Прокопка вышел из леса и перед ним открылось просторное поле, на дальнем краю которого проступал синевую другой лес. Солнце стояло уже высоко, он вспомнил, что сегодня ещё не ел, и схватился за край рубахи, где у неё с исподней стороны был пришит потайной карман. Ржаной сухарь был цел. Прокопка отломил от него кусок, положил в рот, затем нагнулся и раздвинул траву — в ней было полно поспевшей земляники. В первый раз он наелся ягод от пуза, а потом опомнился. Отец ему говорил, что если случится голодать, не ешь их много. Съел горстку, перебил голод и терпи, а то вывернет всё нутро наизнанку.

От Майны Прокопка решил не отдаляться, переждать пару дней и вернуться, когда степняки уйдут. Может, кто жив остался, надеялся он, и схоронился в лесу. Идти одному в свою деревню Прокопке было страшно, да и пути он толком не знал.

Прошёл один день, клонился к вечеру другой. Прокопка устал ждать и, тоскуя, смотрел в поле. Было ветрено, трава волнами расходилась, то отсвечивая зеленым, то отсверкивая серебром. От дальнего леса отделилось тёмное пятно и, шевелясь, стало приближаться. Прокопка протёр глаза, пристально взгляделся — неужели люди? Это были всадники, ехавшие прямо на него кучей. Парень попятился вглубь леса, но понял, что кобыла его выдаст, она стояла в саженьях ста от опушки леса. Он, пригибаясь, побежал к ней, но было уже поздно. Его заметили, несколько всадников поскакали к нему с гиканьем и свистом. Прокопка присел в траву и оставался без движения, сколько смог вытерпеть, затем вскочил и побежал к лесу.

— Стой, дурень! — крикнул Сёмка Ротов. Но Прокопка его не слышал, он, путаясь ногами в траве, бежал прочь. Сёмка догнал его и схватил за ворот рубахи. Парень отчаянно рванулся, упал ничком на землю и закрыл голову руками. — Поднимите его, ребята, — сказал Ротов. — Не до ночи ждать, пока он встанет, — двое казаков спешили и поставили парня перед полусотником. — Кто таков?

— Прокопка.

— Ты из тех, что живут на Майне? — спросил Ротов. — Это далеко отсель? — парень, всхлипывая, поведал о беде, случившейся с поселенцами. — Гойда! — вскричал полусотник. — Все на конь! И ты, парень, лезь на кобылу и не отставай!

Дорогу на Майну казаки ведали. Переправив свою сотню из Синбирска в Заволжье, сотник Агапов выделил Сёмке Ротову три десятка казаков и послал на казанскую сторону, чтобы они нашли новопоселённых шляхтичей. Казаки прошли по Майне, но шляхтичей не обнаружили, те появились там через два-три дня после казачьей разведки.

Казаки ехали скоро, но были настороже, появления неведомых степных людей можно было ожидать в любой миг. Сосновый лес закончился, дальше было поле с берёзовыми и дубовыми островами. На краю одного из них передовые казаки нашли окровавленного человека. Сабельным ударом у него было разрублено плечо, и он едва дышал. По кафтану и пороховнице определили, что это стрелец. Ротов плеснул ему в лицо водой из баклаги. Стрелец вздрогнул и открыл глаза.

— Что за люди на вас налетели? — спросил Сёмка. — Калмыки?

— Нет, башкирцы, — ответил стрелец.

— Сколько сабель?

— Я видел с десяток, — пробормотал, закрывая глаза, стрелец. — Сколь всего, не ведаю.

— Прокопка! — крикнул Ротов. — Возьми стрельца, положи на кобылу и вези за нами!

До Майны осталось рукой подать, и Сёмка развернул казаков в линию. Вскоре они нашли ещё одного стрельца, затем другого — оба были мертвы.

Над разгромленным стрелецким станом поднимался дым, горели телеги, пустые рогожные кули и сено. Сёмка огляделся и разослал казаков в разные стороны искать мёртвых и скликать живых. Сам он поехал, прихватив с собой Прокопку, за реку. Шалаши, в которых жили мужики и Палецкий, были развалены, копны сена сожжены. Они проехали на землю Степанова, там тоже было все порушено, но нашлись мужики, все пятеро.

— Как дело было? — спросил их Сёмка.

Из путаных ответов крестьян выяснилось, что они косили сено, когда услышали

вопли Степанова, за которым гнались несколько башкирцев. Мужики бросили косы и убежали в ближний лес. Оттуда они увидели, как шляхтича связали и потащили за собой конные люди в овчинных одеждах.

На обратном пути к стрелецкому стану нашлись и Прокопкины товарищи, всего двое, ещё двое были убиты и лежали в поле, заваленные травой. Сёмка приказал взять их с собой.

Люди Удалова и Лайкова, как и сами шляхтичи, остались целы. Башкирцы до них не добежали. Этому помешали стрельцы, которые, хотя и были захвачены врасплох, не растерялись, а взялись за сабли и ударили из пицалей. Башкирцы лезли толпой, поэтому огненный бой был неприцельным, но удачным. Несколько башкирцев были поражены насмерть, а их атаман получил пулю в бедро. Огненный бой умерил пыл нападавших и, помахав саблями, они отступили за реку, откуда обстреляли стрельцов из луков.

На Майну наваливалась ночь, и о преследовании башкирцев нечего было и думать.

Всех убитых стрельцов и крестьян снесли в одно место и положили в ряд на траве.

— Делайте могилу, одну на всех, — приказал Ротов казакам. — Завтра с утра пойдем за нехристями вдогон, — яму копали при свете большого костра. — Стелите на низ ветки, — сказал Ротов.

После того, как убитые были опущены в могилу, он велел накрыть их рогожей из-под кулей. К месту погребения подошли оба оставшихся в живых шляхтича, Лайков и Удалов, и стали читать заупокойную молитву. В яму посыпались комья сухой земли.

— Осенью вею на сем месте поставить памятный крест, — сказал шляхтич Лайков.

— Ты что, решил сюда вернуться? — спросил Удалов. — А я уйду отсель. Ударю челом великому государю, пусть пожалует землю в ином уезде, где дворян не режут, не утаскивают в полон.

— Не дури, Василий! — сказал Лайков. — Не другой землей тебя великий государь пожалует, а батогами за растрату жалования. Деньги ты взял, а где твоя служба?

Над землей вступала в свои права ночь. Крупно вызвездило.

— 4 —

Следы башкирцев нашлись быстро. Помятая трава, отпечатки копыт на глинистых берегах большого ручья, впадающего в Майну, указывали на их недавнее присутствие.

Казаки поднялись рано и покинули стан, только едва начало светать. Сёмка решил, что башкирцы в лес не пойдут, и взял южнее, обогнул чернолесье и вывел казачью станицу в широкое и чистое поле. Здесь Ротов подозвал к себе двух казаков и послал их разведывать путь. Он знал, что башкирцы находятся впереди на один день, и не предполагал догнать их сегодня, но завтра они должны были сойтись. Башкирцы вряд ли догадываются, что за ними учинена погоня, на пути к Майне казаки не встречали ни одного чужого человека, и об их присутствии кочевые разбойники определенно не ведали.

Станица шла то рысью, то шагом. Было ещё нежарко, солнце только-только показало над краем земли свою золотую макушку, небо было чистым от облаков, дул прохладный ветерок, дурманяще пахло спелыми травами, из-под копыт коней прыскали в разные стороны перепёлки.

Чувствами, владевшими казаками, бросившимися в погоню за башкирцами, были накопленные в течение веков обида и ненависть земледельческого народа к степным жителям, в чьих понятиях Русь была страной, где всегда можно разжиться добычей: рабами, наложницами, сукнами, мехами и всякими дорогими товарами. Русь и Дикое поле воевали между собой около десяти веков, ко времени основания Синбирска эта война близилась к исходу. Были покорены Казань и Астрахань, ногайские татары с великими для себя потерями прорвались к своим сородичам в Крым. Волжскую границу тревожили своими набегами калмыки и башкирцы. Им противостояли казаки, привычные к полевой службе, к тому же вооружённые огнестрельным оружием, поэтому исход борьбы был предрешён.

К полудню станица достигла небольшого чистого озера, где её ждала разведка. Здесь казаки остановились на отдых. Коней не рассёдлывали, ослабили подпруги и отпустили под присмотром сторожевого казака гулять в поле. Вода в озёре была тёплой, многие казаки сбросили одежду и выкупались, затем разбрелись меж кустов подремать в теничке. Ротов однако не дал им разлеживаться. Самочувствие казаков его волновало мало, он глядел, отдохнули ли кони, казак может подремать и в седле, дело привычное, а кони должны быть в силе, ведь погоня была только в начале.

Казаки скоро сели на коней и помчались дальше. Большие лесные острова кончились, перед ними простиралась степь, слегка всхолмленная пологими и невысокими

увалами. Вокруг было тихо и пусто, лишь изредка на зыбучих волнах знойного воздуха в белесое небо поднимался орёл и, недвижно паря в вышине, зорко всматривался в землю, ожидая, не шевельнется ли на ней что-нибудь живое. Но звери и птицы попрыгали от зноя в норы и другие укромные места, степь казалась вымершей, и только топот казачьих коней мерным гулом раскатывался по окрестностям.

Сёмка Ротов облизал пересохшие от жары губы и почувствовал на языке полынную горечь, земля стала беднее, вместо сочной травы на ней росли ковыль, полынь, изредка вспыхивали медвяно пахнущие заросли цветущего татарника и покачивались зелёные шары перекати-поля. Сёмка ехал впереди станицы и первым заметил вдали людей, в которых они сразу опознали своих казаков, что были в разведке. Он ударил коня плетью и поспешил к ним. Двое казаков стояли без шапок, а перед ними лежал лицом к небу мёртвый человек.

— Кого нашли? — спросил Ротов, сняв шапку и осеня себя крестным знамением.

— Мужик, — ответил казак. — Крепко его рубанули, голова едва держится.

— Еще тёплый, — сказал другой казак. — Правда, жара сегодня, не приведи Господи!

Казаки столпились, не слезая с коней, вокруг и молча смотрели на мёртвого мужика.

— Наверно, убьёт, — сказал кто-то. — Да не смог уйти, вот его и порубали.

«Мужик ушёл, скорее всего, ночью, — подумал Сёмка. — Башкирцы бросились за ним вдогон, потратили время и силы. Это нам на руку».

— Заройте его, — приказал он двум, на кого пал его взгляд, казакам. — И поспешайте за нами.

В станице Сёмки Ротова было много молодых казаков, и для них видеть смерть было в новинку. Но за последние сутки это случилось дважды: сначала на Майне, а сейчас в степи. Многие казаки горячились и желали встречи со степными разбойниками, и погоня за ними стала скорей и азартней. Схожие чувства испытывал и Сёмка, но они не затмевали его разум, он понимал, что надо сберечь силы для боя и удерживал ретивых казаков, что порой выскакивали из строя поперёд полусотника.

Ночь станица провела на берегу безымянного ручья. Утром погоня продолжилась, но шла недолго. Казаков остановили выехавшие ещё в утренних сумерках разведчики.

— Что случилось? — спросил Ротов, сдерживая коня.

— Башкирцы стоят станом. У них, кажись, похороны.

— Где они?

— Прямо за увалом, версты полторы будет.

Новость обрадовала полусотника. Он полагал, что дойдёт до башкирцев не раньше вечера, но они оказались рядом.

— Вам случаем не привиделись башкирцы?

— Нет! — ответили разведчики в один голос. — Стоят за увалом.

— Тогда пошли, — решил Ротов и сделал знак станице следовать за ним.

Больше всего Сёмка опасался, что башкирцы одумаются и пошлют на увал своих дозорных, но им было не до того. На рассвете от жестокой раны в бедро умер их атаман, и, по обычаю, нужно было до захода солнца предать его тело земле. С верха увала Сёмка увидел, что башкирцы подняли завёрнутое в кошму тело своего предводителя и поднесли к могиле. Полусотник не стал медлить и дал знак казакам идти в атаку.

До стана башкирцев было саженей двести. Казаки скатились по склону увала, у кого были пищажи — приготовили их для боя, и дружно выстрелили по башкирцам, не чаявшим нападения. Затем казаки взялись за сабли и завопили во весь голос. Башкирцы смешались от огненного боя, несколько человек упали наземь, поражённые пулями. Но большинство из разбойников сели на коней, чтобы бежать. В схватку вступили лишь пятеро отчаянных смельчаков. Они выхватили луки и с малого расстояния, саженей в десять, сшибли трёх казаков, но тут же были изрублены расвирепевшими ратными людьми. Наиболее рьяные казаки бросились вдогон за убежавшими, но их кони были слабее башкирских, и они прекратили погоню. И без того победа была полной, но двое казаков были убиты наповал, а один ранен.

Сёмка остановил своего ещё трепетавшего от пыла схватки коня и сошёл на землю. Казаки перетрясывали доставшиеся от башкирцев вещи, но поживиться было нечем, кроме одежды на убитых, и скоро те были раздеты догола и брошены в могилу, приготовленную для их атамана.

Дошла очередь и до шляхтичей. Их освободили от верёвочных, из конского волоса, пут и поставили на ноги. Казаки поглядывали на Степанова и Палецкого по-разному: одни с любопытством, другие с сожалением, что не могут раздеть их догола, одежда на них была богатая, хоть и грязная. Шляхтичи тоже смотрели на казаков с подозрением, по своему прежнему месту жительства они знали кровавые повадки своих казаков: те резали панов без разбору, будь то католик или православный.

— На конях сможете ехать? — спросил Сёмка.

— Сможем, только нескоро, — ответил Палецкий. — Там, на Майне, все ли живы?

— Шляхтичи и мужики живы. А вот многих стрельцов поубивали.

Вернулись казаки, которых Ротов послал вслед за башкирцами, чтобы они приглядели, не замышляется с их стороны какой-нибудь каверзы.

— Бегут без памяти, — сказали разведчики. — Мы их вёрст на десять проводили, даже не оборачиваются.

— Добро, коли так, — сказал полусотник. — Однако вы, ребята, смените коней и поезжайте в степь версты на две и приглядывайте. А мы отойдём чуть в сторону и встанем.

Ротов понимал, что казакам и шляхтичам требуется отдых, да и кони изрядно устали от напряженной погони. Станица отошла от места недавнего боя, казаки расседлали коней и пустили их пастись, разожгли костёр и поставили воду, чтобы кипятком разбавить свою обычную еду — овсяную муку и сухари.

Сёмка слез с коня и пошел к шляхтичам.

— Куда пойдём, казак? — спросил Палецкий.

— Завтра пойдем на Майну, — ответил Ротов. — Если не брезгуете, ешьте из нашего котла и отсыпайтесь. Выходим на рассвете.

Казаки в очередь рыли в сухой глинистой земле могилу. Но был ещё и раненый. Сёмка подошёл к казаку, который, лёжа на войлочной подстилке, стонал и метался в бреду. Раненый был соседом Ротова по слободе, и они знали друг друга сызмала.

— Ванька! Ты слышишь меня? — спросил Сёмка. — Может, воды попьешь?

Казак не отвечал, у него явно был жар. Ротов из пригоршни плеснул ему в лицо водой. Ванька открыл глаза, но Сёмку не узнал, привиделось ему другое:

— Мам! Мамка! Закрой мне чем-нибудь ноги, зябнут...

«Отходит» — понял Сёмка и, сняв шапку, перекрестился.

Могила была вырыта на полсажени вглубь.

— Может, хватит? — спросил полусотника казак.

— Ройте шире, сказал Ротов. — Ванька кончается.

Казаков положили в могилу друг подле друга, в одежде, на головах шапки, в руке у каждого плеть-нагайка. Взяли у них только коней и оружие, на службу живым. Казаки столпились у могилы, смерть товарищей отяготила их сердца печалью и чувством неизбежного для каждого человека скорбного пути, которое возникает у всех, когда комья земли начинают падать в могилу.

За ночь казаки выспались и утром были веселы. Коня тоже отдохнули, и станица покинула место ночлега. Ехали не торопясь, шляхтичи держались близ Ротова. Они ещё не оправившись от пережитого страха за свою жизнь и молчали, сокрушаясь над своим будущим, майнская земля им уже не казалась подарком царя, а тяжкой обузой, от которой им хотелось избавиться.

После обеда станица дошла до Черемшана, и на берегу реки их ждал сотник Агапов со своими людьми. Встревоженный долгим отсутствием вестей от Ротова, он отправился на розыски, побывал на Майне, а оттуда кинулся вслед за Сёмкиной станицей. На шляхтичей он посмотрел с удовольствием, они были, в его понятии, достойной добычей, которую следовало доставить к воеводе Хитрово, дабы продемонстрировать перед ним свою неусыпную службу на границе.

— Добре, Сёмка, показывай, — сказал он. — Веди шляхтичей в Синбирск, пусть у воеводы в гостях побудут.

— Нам на Майну надо, — заволновался Степанов. — Там наши мужики.

— На Майне пусто. Все люди ушли в Казань.

— Тогда и мы пойдём в Казань, — сказал Палецкий.

— Ступайте, — усмехнулся сотник. — Как раз вас, двоих, без казаков, и сцапают башкирцы, а то и калмыки, те полютей будут, — шляхтичи задумались и приуныли, оставаться одним в чистом поле им не хотелось, но и тащиться в Синбирск было в тягость. — Мне воевода окольниковый Богдан Матвеевич Хитрово велел проведать, есть ли поселенцы на Майне, — строго молвил Агапов. — Мы вас нашли, отбили от башкирцев. Других повелений мне не было дадено. Вы вольны идти, куда пожелаете.

— Добро, — решился после недолгого раздумья Палецкий. — Мы пойдём в Синбирск.

Агапов развернул коня и поманил Сёмку за собой. Они отъехали в сторону и встали.

— Возьми десяток казаков и веди шляхтичей к воеводе, — сказал сотник. — Хоть ты и считаешься полусотником, но повеления от Хитрово нет. Кунаков ковы строит, а эти шляхтичи тебе помогут. Жду тебя с удачей.

— Спасибо, Касьяныч! — взволнованно вымолвил Сёмка. — Я тебе за твою доброту отслужу.

— Будет, парень! — усмехнулся Агапов. — Я для себя стараюсь, не хочу, чтобы мне в полусотники какого-нибудь дурня дали. Их в сотне и так больше некуда.

— Ты мне верь, — сказал Сёмка. — Моё слово верное.

— Довольно об этом. Ты на ночь здесь останешься или уйдёшь?

— Тотчас и пойду, — сказал Ротов. — Встретимся в Чердаклах.

Он развернул коня, подъехал к казакам, выкликнул десяток надежных людей, и, окружив шляхтичей, станица неторопкой рысью пошла в сторону Волги.

К вечеру следующего дня они подошли к Нижней Часовне. Предзакатное солнце висело над Синбирской горой, утратив после Яблочного Спаса свою прежнюю знойную силу. Берег под горой скрывался в тени, но её верх был ясно виден. На Венце заметно виднелись выведенные в полную высоту башни кремля и чётко прочерченный купол храма.

Казаки оставили коней на стороже, сели в лодку и пошли к правому берегу. Ротов сидел на корме, опустив в воду рулевое вёсло. Рукой он чувствовал, что Волга начала остывать, прошёл Ильин день, и осень начала, пока ещё несмело, сорить лиственным золотом по бескрайней русской земле. Близилась осень, за ней недалеке маячила зима, самая тягостная пора казачьей службы. И казаки, растревоженные опасениями и надеждами, не сговариваясь, сначала негромко, а затем в полную силу запели. И покатилась, понеслась, как вольная птица над Волгой песня, которую ещё певали их отцы и деды:

*Бережочек зыблется  
Да песочек сыплется,  
А ледочек ломится,  
Добры кони тонут,  
Молодцы томятся.*

*Ино, Боже, Боже!  
Сотворил ты, Боже,  
Да и небо-землю —  
Сотвори ты, Боже,  
Весновую службу!  
Не давай ты, Боже,  
Зимовые службы:  
Зимовая служба —  
Молодцам кручинно,  
Да сердцу нагсадно.*

*Но дай нам, Боже,  
Весновую службу:  
Весновое служба —  
Молодцам веселье,  
А сердцу утеха.*

*А емлите, братцы,  
Яровы весельца,  
А садимся, братцы,  
В вертляны стружечки,  
Да грянемте, братцы,  
В яровы веселица  
Ино вниз по Волге!*

— 5 —

В последние дни Богдан Хитрово часто пребывал не в духе: ему сильно досаждали стуками топоров и громкими криками плотники, прорубавшие к съезжей ещё одну избу. Дьяку Кунакову стало тесно на своей половине, к нему из Разрядного приказа прислали в помощники двух подьячих, и требовалось построить место для их работы и жилья. Бумажной доуки прибавлялось день ото дня. Синбирск ещё не был построен на одну треть, а из Москвы начальным людям государственных приказов он виделся центром огромной окраины, населённой людишками, и столица слала воеводе повеления и запросы, нисколько не скупясь на чернила и бумагу.

Московское государство во все времена умело обкладывать налогами и знать, и подлый народ. Для того ещё до Калиты были придуманы разного рода подати и повинности, а также своя московская кнутобойная система учёта и контроля за поступле-

нием средств в государеву казну. Из приказов слали грамоты воеводам, из областей слали отписки в Москву. От царствования Алексея Михайловича до наших дней дожили несколько построек и тридцать тысяч грамот с бюрократической перепиской, хранящихся в отечественном древлехранилище до сих пор ещё не прочитанными. Есть там и синбирские отписки окольного Хитрово и дьяка Кунакова, выполненные по большей части скорым письмом с оправданиями за худые таможенные сборы с проходящих мимо стругов и малую продажу вина в государевом кабаке в подгорье.

По обыкновению грамоты воеводам посылались не от имени Алексея Михайловича, а от начальников приказов, и только в важных случаях эти повеления были оформлены как «Государь указал, а бояре приговорили». Как раз такую грамоту сегодня доставил в Синбирск вестник из приказа Тайных дел, особого, учрежденного царём для своих надобностей, келейного приказа, который занимался всем, что в данный час интересовало Алексея Михайловича: и охотой с ловчими птицами, и организацией производства пахотных орудий — косуль, которые рассылались по уездам в большом количестве, и перепиской втайне от бояр с воеводами и послами.

Государь был ловок в письме, и многие грамоты писались им собственноручно. Едва развернув свиток, Хитрово сразу узнал характерный округлый почерк Алексея Михайловича, хорошо ему известный по прежней службе стольником «при крюке». Это было первое письмо, полученное им от государя в Синбирске. Оно было небольшим, но содержало в себе важное для Богдана Матвеевича известие. Царь приказывал окольному Хитрово «в третий день после праздника Покрова Пресвятой Богородицы быть на сборе», а «прежде изловить и казнить воров, что на переволоке живут и Волгу загородили от прохода стругов».

Богдан Матвеевич протянул прочитанную им грамоту Кунакову.

— Вычти, Григорий Петрович, — сказал он. — Государь велит нам известить воров в Жигулях.

— Известить этих душегубов мы не сможем, — промолвил дьяк, возвращая царское послание воеводе. — Но укоротим их сделать вполне нам по силам. Пошли на струге стрельцов да казаков, пусть изловят хотя бы одного вора и повесят или утопят. А про то мы государю и отпишем.

— Кого послать? — задумался Хитрово. — Агапов за Волгой, а другие сотники, да и казаки, пороку не нюхали.

Рядом с воеводской заорали непотребно плотники, затем раздался тяжкий удар рухнувшего на землю бревна. Хитрово поморщился, а Кунаков легко поднялся с лавки и, высунувшись в незатворённое окно, крикнул:

— А ну заткните пасти! Ещё раз услышу матерный лай, всех выпорю!

— Мы чо? Мы ничо, — присмирив, отвечали мужики. — Степка, леший его возьми, оступился, не удержал бревно.

— Все целы?

— А как же, целы.

— Отзови Агапова, — продолжил дьяк. — А в Заволжье пошли другую сотню.

— Не будем спешить, — сказал после некоторого раздумья Хитрово. — А что московский пушечный мастер? Готов ли показать огненный бой?

— Готов, Богдан Матвеевич. В сей час на крыльце обретается.

Из Пушечного двора в Синбирск прислали струг с двумя десятками пушек, как водится, без лафетов, один «дырки облитые бронзой», так называли тогда пушечные стволы. На струге прибыл и умелец, способный установить пушки в башнях кремля согласно их боя. Он был весьма преклонного возраста, и, увидев его, Хитрово спросил:

— Что, дедушка, на Пушечном дворе никого моложе не нашлось, что прислали тебя?

— В литейном деле спрос одинаков, что с молодых, что со старых, — ответил мастер. — По нашему правилу литейщик обязан сам опробовать свою пушку огненным боем, чтобы убедиться в прочности ствола при выстреле.

— Доброе правило, — сказал Хитрово. — Но, судя по тому, что ты дожил до старости, твои пушки крепки и надёжны?

— Пока ни одна не разорвалась. Бог миловал.

Хитрово приказал выделить пушечному мастеру десять добрых плотников для устройства лафетов. Умелец оказался дотошным и придирчивым. Сырые, только что срубленные брёвна, которые ему доставили, он сразу отверг и долго ходил между бревенных кладей, выбирая нужный материал, осматривая и выстукивая каждое бревно. Скоро возле Казанской, Крымской проездных и Свяжской наугольной башен закипела работа. Мастер сам размечал брёвна, из которых делался каждый лафет и неуспешно следил за работой.

Первыми устроили пушки нижнего боя, самые тяжёлые, на первых этажах вышних башен. Лафеты для них делались массивными из толстых дубовых колод,

скреплённых между собой железными полосами. Рядом устанавливали ящики для хранения пороха, свинцового и каменного дроба. Тут же на помосте должны были храниться каменные ядра, но ими при осаде пользовались нечасто, только тогда, когда неприятель начинал воздвигать против крепостной стены вал, чтобы с него метать огонь в осаждённый город.

Пушки на средних этажах башни были много меньше тех, что устанавливались внизу. А над крепостной стеной размещали затинные пищали, нечто среднее между пищалью и пушкой. Для них лафеты делались небольшие, а иногда их при помощи крюка крепили к крепостной стене на помосте между башнями.

Хитрово и Кунаков вышли на крыльцо съезжей избы. Пушечный мастер степенно поклонился лучшим людям Синбирска.

— Что, старинушка, — сказал Богдан Матвеевич. — Веди, показывай свою работу.

На Крымской стороне, откуда скорее всего следовало ждать нападения степняков, проездная башня и крепостная стена были почти готовы, и плотники заканчивали завершающие работы. Весть о предстоящем испытании разнеслась по Синбирску, и отовсюду к башне спешили люди. Дьяк Кунаков, недовольный этим, хотел было развернуть всех назад по работам, но одумался: пусть все смотрят, стрельба из пушек да колокольный звон всегда в радость русскому человеку.

В нижнем помещении башни было сумрачно, свет падал только через смотровое оконце да через проём, в который глядела пушка. Она лежала на дубовом ложе лафета и масляно светилась бронзой ствола. Хитрово похлопал по нему рукой, ощутив прохладу металла.

— Куда бить будешь? — спросил он мастера.

— Вон копна стоит, по ней и ударим.

Хитрово прицельно прищурил левый глаз: до копны было полсотни сажений.

— С Богом! Приступайте.

Мастер, которому помогал пушкарь из Алатыря, развернул пушку поперёк амбразуры. Их помощники занялись заряданием: один поджёг растопку, и когда она разгорелась, положил на неё древесный уголь, двое других достали из ящика мешочки с порохом и с помощью шеста с накрученной на одном конце тряпкой забили заряды в казенник пушки. Затем был забит в дуло изрядный пук пакли, а завершила снаряжение орудия к бою утрамбовка в стволе дроблёных камней всё тем же шестом.

В башне запахло пороховой сыростью. Угли разгорелись, и мастер положил на них заострённый на одном конце железный пруток.

— Разворачивай к бою! — скомандовал он пушкарям. Поворотное устройство закрипело, пушка уставилась жерлом в амбразуру. — Разрешаю запалить, воевода? — спросил мастер.

— Разрешаю.

Мастер взял раскалённый пруток за холодный край и укоризненно посмотрел на Хитрово.

— Посторонним людям здесь не место. Прикажи, воевода, всем выйти отсель и сам уходи.

Богдан Матвеевич, Кунаков и пушкари вышли из башни и встали в распахнутых настежь воротах крепости. Вокруг было тихо, люди молчали, многие никогда не слышали, как стреляет пушка, и ждали чуда.

Из амбразуры выплеснулся клуб дыма, и одновременно раздался громовой удар. От внезапного испуга многие люди присели и заслонили лицо руками. Понемногу пороховой дым рассеялся, и все завопили, указывая на то место, где стояла копна. От неё не осталось даже клочка сена, всё было сметено каменным дробом.

Диакон Ксенофонт наблюдал за стрельбой с колокольни храма. Увидев исчезновение копны, он возликовал, схватился за верёвку и ударил часто в малые колокола праздничным звоном. Люди поворотились к храму и стали креститься, но колокола скоро смолкли: отец Никифор бойко вбежал на колокольню и остановил Ксенофонта:

— Не озоруй, диакон!

Пушечный мастер вышел из башни живым и невредимым, только закопчённым пороховой копотью. Порох, или зелье, того времени при выстреле выплескивал уйму дыма и мельчайших частиц несгоревших остатков заряда.

— Молодец! — похвалил мастера Богдан Матвеевич. — Если и другие пушки также добро стреляют, пожалуй тебя от всего сердца.

Испытания продолжались. Пушки нижнего и среднего боя во всех башнях оказались надежны, стреляли прицельно и кучно. Для стрельбы из затинных пищалей поднялись на крепостную стену. Пушкари снарядили пищаль, приготовились запалить, и тут Хитрово неожиданно для всех приказал:

— А ну-ка дайте мне запаал! — и взял в руку пруток с раскалённым концом.

— Негоже тебе, воевода, этим заниматься, — запротестовал Кунаков. — А вдруг

что случится.

Хитрово вопросительно глянул на пушечного мастера.

— Пищаль надёжна, — сказал тот. — А я буду рядом. Не сомневайся, воевода.

— Куда стрелять? — спросил Хитрово.

— Видишь за рвом щит из горбылей. Туда и целься.

Затинная пищаль хотя и была меньшей из пушек, но выстрелила громко и дымно.

Когда дым рассеялся, все увидели, что щит опрокинулся и лежал на земле.

— Добрый выстрел, — сказал пушечный мастер. — Крепка старуха! Я отливал её в тот год, когда первого самозванца сожгли, вора Гришку Отрепьева. С той поры она во многих крепостях побывала.

Хитрово, казалось, этих слов не слышал, он думал о чём-то своём.

— Знаешь, Григорий Петрович, — наконец сказал воевода. — Пойдём глянем на щит, мне в голову одна задумка пришла. И ты, мастер, за нами следуй, — при ближайшем осмотре двухвершковые горбыли оказались во многих местах пробитыми насквозь. Богдан Матвеевич дотошно осмотрел каждое отверстие, затем промолвил: — А ведь струг против затинной пищали не устоит.

Догадливый дьяк сразу понял, к чему клонит воевода.

— Не устоит, Богдан Матвеевич! И все вору камнем пойдут на дно.

Хитрово подозвал к себе пушечного мастера.

— Малую пищаль на струг поставить сможешь? — спросил он. — Да так установить, чтобы она могла поразить другой струг?

— Дело не особо хитрое, — ответил мастер. — Смогу, воевода.

— С сего дня и приступай, — сказал Богдан Матвеевич. — Дело спешное и тайное. За эту работу будешь пожалован особо. Дьяк даст тебе нужных людей.

В подгорье на пристани стояли два струга, присланные из Москвы для нужд синбирской крепости. Один из них, совершенно новый, был определён для устройства на нём придуманной воеводой «хитрости», затинной пищали, той самой, из которой Хитрово выстрелил с крепостной стены. Пищаль была не особо тяжёлая, но весома, несли её с горы вниз четверо пушкарей. Другие тащили дубовые брусья и полосы железа для устройства лафета. Это были плотники, малоразговорчивая мордва, почти не говорившая по-русски.

Работать начали сразу же, и к вечеру затинная пищаль была надёжно укреплена на носу струга таким образом, что могла поворачиваться из стороны в сторону для прицельного боя. Дали знать об этом воеводе. Богдан Матвеевич не поленился сойти под гору, чтобы лично удостовериться в правильном исполнении своего приказа.

— Всё готово, — сказал пушечный мастер. — Прикажи, воевода, опробовать.

Хитрово повернул затинную пищаль из стороны в сторону, присел, глядя вдоль ствола, нет ли помех для выстрела.

— Нет, — сказал он. — Здесь негоже шуметь. Вот гостевой струг стоит, там чужие лодки. Кто знает, что там за люди. Васятка, отведи плотников, что на струге работали, к дьяку Кунакову. Пусть он их немедленно отправит в Карсун и даст для сбережения казаков. Неровен час, начнут болтать языками. А у воров слух чуткий.

Васятка с плотниками и пушкарями ушёл в гору, а Хитрово остался на пристани, близ реки было тихо, движение воды покоило взгляд и душу. Начальник пристани, стрелецкий сотник, отошёл от воеводы в сторону, дабы не мешать ему предаваться раздумьям.

А помыслить Богдану Матвеевичу было над чем. Из писем Фёдора Ртищева, которые он получал время от времени, но особенно из грамоты государя явствовало, что пограничная служба окольничего близка к завершению. Алексей Михайлович не писал прямо, что ждёт Хитрово в Москве. Но, судя по прежним словам царя и намекам Ртищева, его ждала служба во главе одного из московских приказов. Это весьма устраивало Хитрово, одинокая жизнь на границе начала его тяготить, большого государственного дела на Волге не предвиделось, основные события державного масштаба разворачивались на польской границе. Малороссия была охвачена казацким восстанием, нужно было решать судьбу коренного русского града Смоленска. Всё это говорило, что война с Польшей неизбежна.

Внизу, в подгорье, начало темнеть, но Богдан Матвеевич этого не замечал. Из задумчивости его вывело шевеление и покашливание стрелецкого сотника. Воевода недовольно на него глянул.

— Лодка идёт с той стороны, — сказал сотник. — И в ней агаповские казаки. Что-то веселы, поют, — лодка заметно приближалась к пристани. Скоро стали видны сидевшие в ней люди. — Эге, — сказал сотник. — Никак там Сёмка Ротов со своими ребятами и два чужих человека, по одежде господа.

Богдан Матвеевич и сам всё видел. Сёмку он узнал сразу, а в двух незнакомцах определил поляков и сразу догадался, что это шляхтичи, определённые жительство-

вать на Майну.

Лодка причалила к пристани, на бревенчатый помост из неё вышли казаки, а за ними шляхтичи. Сёмка подбежал к Хитрову и земно поклонился.

— Доставили твоей милости двух шляхтичей. Отбили у башкирцев в степи. Те их в полон тащили.

— А что другие? — спросил Хитрово.

— Ушли в Казань. Стрельцов из караула, многих, башкирцы порубили. Два шляхтича и мужики ушли.

Ступив на пристань и попав под защиту воеводы, шляхтичи заметно приободрились. Они приблизились к государеву окольному и церемонно, на польский манер, его приветствовали.

— Я вас вспомнил, — сказал Богдан Матвеевич. — Вы были у меня на моём подворье в Москве.

— Точно так, воевода, — ответил Палецкий. — Мало времени с того часа прошло, а случилось многое. Казак правду молвил. Навалились на нас чумазые башкирцы, как живы остались, не ведаю.

— Что тут ведать, — улыбнулся Хитрово. — Казаки мной были отправлены приглядеть за вами.

— Благодарю, окольный! — с чувством произнёс Палецкий. — Если бы не казаки, не быть нам живу.

— Сейчас вы живы-здоровы, пожалуйста в воеводскую избу. А ты, Ротов, как устроишь своих казаков, явись ко мне.

Воевода сел на коня, казаки и шляхтичи пошли пешими. Дорога из подгорья к крепости стала накатанней, она петляла по крутому склону и выходила на верх горы на значительном расстоянии от крепости, за острогом, на крымской стороже.

Хитрово достиг съезжей ранее всех и кликнул дьяка Кунакова.

— Нежданные гости к нам явились, Григорий Петрович, организуй им ночлег.

— Что за люди? — спросил дьяк.

— Майнские поселенцы, полоцкая шляхта. Башкирцы их взяли в полон, но казаки их вызволили. Сёмка Ротов опять отличился. Удалой казак!

Последние слова воеводы пришлись дьяку не по вкусу и всколыхнули в нём старые подозрения к Сёмке, брату Федыки Ротова, о воровских подвигах которого в Синбирске известно.

— Шляхтичей я устрою. А насчёт Сёмки Ротова будь, Богдан Матвеевич, настороже. Прослышит он о скорой вылазке против воров и стукнет брату. Отправь-ка ты его сей же час в Карсун, от греха и соблазна подальше.

Хитрово не ответил дьяку, относительно Сёмки у него были другие намерения.

Шляхтичи предстали перед окольным утомлёнными долгим и трудным подъёмом на Синбирскую гору.

— Васятка! — крикнул Богдан Матвеевич. — Принеси квасу, да не со льдом, а прохладного. Попотчуй гостей. Как-никак они, пожалуй, первые помещики на Заволжской окраине.

Палецкий испил целую чашу остро защекотавшего язык и нёбо кваса, крикнул и сумрачно произнёс:

— Не ведали мы, что земля наша опасна не пустотой, а разбойными степняками.

— На Майне сначала надо засечной чертой огородиться, — поддержал своего товарища другой шляхтич. — Надо выставить крепкую стражу, а затем поселяться.

Невзгоды поселенцев были понятны Богдану Матвеевичу, и он их утешил:

— После Синбирской черты государь мыслит строить ещё одну — Заволжскую, от Белого Яра до Камы. Вот тогда будет вашим землям надёжная защита.

— Это ж когда случится! — воскликнул Палецкий. — Синбирск не один год будет строиться. А нам в Казани сидеть и ждать.

— О вашей беде я доложу государю, — сказал Богдан Матвеевич. — А землю, раз вам она дадена, пустой не держите, за это строго взыщут в Поместном приказе.

Шляхтичи затосковали: и без земли дворянину нельзя, и с землёй невоготу жить.

Богдан Матвеевич пригласил шляхтичей к обеденному столу, и за трапезой они поведали воеводе и дьяку Кунакову о своих злоключениях. Хитрово их с участием выслушал и на прощание сказал:

— Неведомо мне, вернусь ли я после Земского собора в Синбирск. Могу обещать лишь одно: попрошу нового воеводу установить за вами догляд и держать постоянно на Майне полсотни казаков.

Шляхтичи ушли ночевать в избу, назначенную им дьяком, и, подождав, когда гости выйдут во двор, Кунаков промолвил:

— Сбегут шляхтичи, Богдан Матвеевич. Не показалась им Майна. А что до их защиты, так и сотня казаков за ними недоглядела.

— Эти сбегут, так другие придут. Земля пуста не будет. А казаки наши — молодцы! Отбили шляхтичей. Их пожаловать надо, полтиной каждого.

— То я и вижу, что Сёмка Ротов трётся возле твоего крыльца. Видать, за полтиной пришёл. Меня увидел — скосоротился.

— Я ему велел явиться. Васятка, кликни Ротова!

Сёмка не замешкался, лёгким шагом вошел в комнату, поклонился начальным людям и замер в ожидании.

— За выручку шляхтичей хвалю! — сказал Хитрово. — Григорий Петрович, запиши Ротова с сего дня полусотником с полным жалованием.

— Не рано ли, Богдан Матвеевич? — проворчал дьяк. — Федька, брат его, подле Жигулей ворует с атаманом Ломом. Может, спешить не будем?

Сёмка нехорошо глянул на дьяка и потупился. Желанная должность опять, кажется, проходила мимо.

— У меня к Ротову замечаний нет, — сказал Хитрово. — А вот дьяк сомневается. Что делать? — воевода задумался. В комнате стало так тихо, что было слышно, как шуршит крыльями возле лампы залетевшая через оконце бабочка. — Решение мое твёрдо, — сказал Хитрово. — Казаку Сёмке Ротову быть полусотником!

— Воля твоя, воевода, — глухо сказал Кунаков и затем прикрикнул на Сёмку. — Что стоишь, остолоп, благодари окольного!

Сёмка рухнул на колени и ткнулся лбом в пол. Охватившее его счастье было великим, а благодарность воеводе безмерной. В этот миг он был готов отдать за него жизнь.

Кунаков смотрел на Сёмку по-прежнему недовольно, ему казалось, что тот что-то скрывает.

— Говори, как на духу, полусотник, что ведаешь о воре Федьке? — спросил дьяк и укоризненно посмотрел на воеводу.

— Клянусь отцом-матерью! — вскрикнул Сёмка со слезой в голосе. — Ничего о Федьке не слышал с той поры, как он утёк!

— Надо отправить его обратно в Заволжье, — сказал Кунаков. — Столкнутся два брата, и беда будет.

Предложение дьяка не совпало с размыслами Хитрово. Для Сёмки у него было иное дело.

— Слушай, полусотник, мой указ! Велю тебе к утру подготовить своих казаков для важного дела. Проверь лично у всех оружие и припасы, спать разрешаю до второго часа дня, после прибыть в подгорье, на пристань.

— Наши кони на той стороне, — сказал Ротов.

— Кони вам не понадобятся, пойдёте на струге. А теперь ступай.

Когда Ротов ушёл, возмущённый Кунаков в сердцах стукнул по столу и взволнованно произнёс:

— Не дело ты задумал, Богдан Матвеевич! Разве можно посылать Ротова против воров. Брат его с ними, да и Лом — не заяц, как раз придушит Сёмку, как курёнка!

— Остынь, Григорий Петрович, — миролюбиво сказал Хитрово. — Сёмка поведёт десяток своих казаков. Ты сейчас отберёшь для дела двадцать надёжных стрельцов. А поведу струг я.

От этих слов дьяк Кунаков разволновался ещё пуще.

— И думать не моги, Богдан Матвеевич, об этом! Не дело окольного гоняться за шайкой воров. Неровен час, подстрелят тебя, что я государю скажу? Пожалей мою седую голову, не ходи на воров, оставь это воинским людям. Их дело стрелять да саблех махать, а тебе нужно быть на соборе, думу с государем и выборными людьми думать!

Хитрово встал с кресла, прошёл к оконцу, глянул на небо, усеянное частыми звёздами, затем повернулся к дьяку и задушевно произнёс:

— Спасибо, Григорий Петрович, за попечение обо мне, но сам посуди — послать против воров некого. Алатырские стрельцы — не воины, а обычные мужики, из них если найдётся два десятка твёрдых душой — и того много. За ними пригляд нужен. И за Сёмкой пригляд нужен. Так что по всему выходит — идти нужно мне. За одним вполне и другое поручение государя, осмотру Надеино Усолье.

## Глава пятая

— 1 —

Казаки, которых, уйдя к воеводе, оставил Сёмка посреди крепости, стали недовольны, они не знали, куда приткнуться. Прежнее место, где находился их стан, было разворочено, сосны повалены и ещё не разделаны на брёвна, родничок, из которого они брали воду, затоптан, а на поляне, где стояли шалаши, для чего-то выкопана огромная яма, наполовину залитая дождевой водой. К тому же казаки были голодны, послед-

ние сухари дожевали на Часовне, а в Синбирске их никто не ждал, когда они прибыли, работные люди уже поели. Поварята затоптали костры и залили котлы свежей водой для приготовления утренней пищи.

— Куда же Сёмка запропал? — все злее ворчали казаки. — Поди, стерляжью уху с воеводой да дьяком трескает.

Наконец Ротов явился, от счастья, что полусотником стал, весь светился, а казаки его сразу охолодили, дескать, давай жрать людям, чай, здесь не поле, а крепость, еды в ней полно.

— Тихо, дружье! — крикнул Сёмка. — За толокном дело не станет. Айда к хлебному амбару, там всего в достатке.

Подобрали казаки оружие, походные сумки и двинулись вслед за своим начальником. Шли шумно, постоянно натываясь на расположившихся отдыхать работных людей. Те казаков лаяли, но и служивые в долгу не оставались, тоже отбрехивались.

Хлебный амбар стоял недалеко от съезжей избы, вход загорожен, внутри караульщик с дубиной.

— Зови приказчика! — приказал Сёмка.

— Не велено, — ответил караульщик. — Степан Иванович почивать лёг.

— Это кто тут Степан Ивановичем себя объявил? — возмутились казаки. — Не Стёпка ли повар, что в Карсуне из общего котла кус лосятины хапнул?

— Он самый, Степан Иванович, а как же? Весь амбар его, — сказал караульщик.

— Зови! Пусть выходит! — зашумели казаки.

Караульщик подошёл к амбару и легонько стукнул в дверь дубиной. Через малое время на крыльце появился приказчик в белой, ниже колен рубахе и со включенной головой.

— Что за шум? — недовольно сказал он. — Что за люди явились на ночь глядя? Приходите утром.

— Это я, Сёмка Ротов, со своими казаками. Отсыпь нам толокна и сухарей, казаки весь день не евши.

— Не могу! — отрезал Степан Иванович. — Сотник Агапов на сорок дён хлебное жалованье забрал.

— Не гневи казаков, — сказал Сёмка. — Отпусти в долг, затем вычтешь из жалованья.

— Ну, коли так, — смиловился приказчик. — Заходи, Сёмка, остальные стойте там!

Караульщик отпёр калитку, Сёмка быстро добежал до крыльца, запрыгнул на него и вошёл в амбар. На ларе в светце, потрескивая, горела лучина.

— Ты что, Стёпка, своих перестал узнавать? — сказал Ротов. — А у тебя в амбаре вкусно воняет. То-то ты и разъелся, как сом!

— Тебя, Сёмка, я всегда помню, — ласково сказал приказчик. — Вот тебе балычок.

— А казакам?

— Ты теперь полусотник. А казаки и толокном обойдутся.

Лучина ярко разгорелась, осветив половину амбара, где почти до потолка высились ряды рогожных кулей, стояли лари, а на верёвках висела рыба.

— Раз я стал полусотником, то подай, Стёпка, пяток лещей, ребятам посолиться!

— Больно жирно будет! — возмутился приказчик.

— Учить тебя надо, жмота!

Сёмка вынул нож, взмахнул им перед лицом Степки, отрезал кусок верёвки с лещами, подхватил балык из сомятины, забросил на плечо полкуля с сухарями и вышел из амбара. Казаки встретили его одобрительными возгласами, и Сёмка повёл их к Крымской проездной башне, где они и расположились на ночлег. Казаков Ротов предупредил, что их завтра ждёт трудное дело, и, поев, они б не бродили по крепости, а тотчас укладывались спать.

От нагретого за день сруба башни тянуло теплом и терпким запахом. Насытившись, казаки сняли кафтаны, постелили их на пол и улеглись спать. Вскоре, кроме Сёмки, все уснули. А тот ворочался с бока на бок, но сон всё не шёл, в глазах стоял воевода, жалующий его полусотником. «Агапова надо отдарить, — подумал Сёмка. — Если бы он не удамил послать меня с шляхтичами, не видать бы мне этой чести».

Синбирская гора погрузилась в сон и тьму, только горели костры у проездных башен, переключались друг с другом время от времени караульщики: «Слушай!..»

Осень вступила в свои права, и ночь сравнялась с днём, в предутрие с Волги подул холодный ветер, казаки почувствовали его и, не просыпаясь, стали тесниться друг к другу, чтобы согреться. Холодный порыв ветра залетел через оконце и в комнату Хитрово, заколебал пламя лампы под иконами, но воевода его не заметил, он был молод, здоров, и спалось ему легко и безмятежно.

Первыми на Синбирской горе просыпались повара, они разжигали под котлами с водой огонь, чтобы для всех желающих был готов кипяток. Им работные люди любили утром согреть озябшее и иссохшее за ночь нутро, чтобы почувствовать, как оживают замлевшие члены тела и светлеет рассудок.

На Крымской проездной башне тяжко ухнул вестовой колокол, отмеривший своим ударом начало первого часа дня. Отец Никифор сладко потянулся и, стараясь не разбудить жену, поднялся с лавки, привычно осенил себя крестным знаменем и подошёл к зыбке. Сын Анисим спал, умильно посапывая и сжав кулачки. Никифор накинул на себя рясу и вышел во двор, с удовольствием вдыхая свежий утренний воздух. Выпала роса, ярко вспыхивающая над лучами восходящего солнца на траве и листе деревьев. От росы были черны доски крыльца, стены избы и осиновые лемехи на крыше храма. Удары колокола призывали синбирян к утрени. Времени у Никифора осталось мало для того, чтобы умыться и переодеться в священные одежды. Он окунул лицо в бочку с водой, стоящую возле крыльца, отжал бороду, пальцами расчесал волосы на голове и поспешил в храм.

Начальные люди Синбирска на утреннюю службу приходили непременно. Отдав час времени молитвам, они выходили из храма и возле крыльца съезжей избы получали от воеводы и дьяка наказ на дневные работы. Тут же жаловали примерных сотников и приказчиков и объявляли наказания нерадивым начальникам над работными людьми. Не был нарушен этот привычный порядок и сегодня. Все отчитались в сделанном за вчерашний день, один приказчик был страшно разруган дьяком Кунаковым за сбежавшего крестьянина, но неожиданно прозвучали для многих слова воеводы:

— Я на несколько дней оставляю град Синбирск. Делами ведасть будет дьяк Кунаков.

Диакон Ксенофонт, услышав эти слова, чуть не подпрыгнул от радости, значит, не соврал Васятка, когда шепнул ему, что воевода собрался идти ловить жигулёвских воров. Ксенофонт тут же догнал поспешавшего домой Никифора и ухватил ручищей за рясу:

— Отец Никифор, дозвожь идти с воеводой на воров.

Священник не удивился, он уже знал об этом от того же Васятки, который вчера забегал к нему в храм.

— Не пущу! Воевода идёт с воинской силой исполнять государев приказ. Ты не ратник, а диакон. Твоё место в храме.

— Значит, ты уже о сём ведаешь, от кого? — Никифор прикусил язык. Вчера он рассказал о выходе на воров своей Марфиньке, а та, по женской простоте, могла поведать другим людям. — Ах, так! — взбаламутился скорый на неразумные выходки Ксенофонт и кинулся за воеводой вдогонку.

Воевода на крыльце съезжей разговаривал с дьяком Кунаковым.

— Я пробуду, Григорий Петрович, в отлучке дня три-четыре. Воры обретаются где-то близ Надеинога Усолья. Там мы их и настигнем.

— Добро бы так, — ответил Кунаков. — Однако Лом — ушлый вор, его не проведёшь, как воробья, на мякине. Право слово, зря ты идёшь сам, Богдан Матвеевич, пошли другого.

— Об этом не может быть и речи. Дело трудное, довериться никому не могу, — и тут к ним подбежал Ксенофонт, за которым поспешал отец Никифор. — Что стряслось, православные? — спросил Хитрово.

— Возьми, воевода, на струг! От меня не один вор не вырвется.

Хитрово недоуменно посмотрел на Кунакова, мол, откуда чужим стало ведомо о выходе против разбойников.

— Не слушай этого дурня, окольников! — выпалил подбежавший в тот же миг к крыльцу Никифор. — Мне без диакона быть немочно.

— Тебе что, надоело размахивать кадилом? — весело спросил Богдан Матвеевич, любуясь богатырской статью диакона. — Взят бы, да отец Никифор запрещает, а нам, его духовным чадам, надлежит слушать батьку.

— Шёл бы ты, диакон, отсель, — сказал Кунаков. — А коли сила играет, дров для пощады накопи.

— Идём, Ксенофонтушка, идём, — упрашивающе ворковал отец Никифор. — Не путайся у воеводы под ногами.

Диакон ещё раз с надеждой глянул на Богдана Матвеевича и, не найдя в его взгляде сочувствия, пошёл прочь от съезжей избы.

На Синбирской горе начался новый день. Мимо воеводского крыльца, срывая со своих лохматых голов шапки, прошла артель плотников, что делали прируб для подъячих. Подъехала водовозка. Васятка вынес из избы бадью, и возчик черпаком налил в неё свежую воду.

— Скоро будут стрельцы, — сказал Кунаков. — Я отрядил на выход самых бывалых с сотником Коневым.

— Что ж, пора собираться в путь, — сказал Хитрово. — Небо чистое и ветер попутный.

Одежду для полевого выхода своего господина Васятка приготовил ещё с вечера. На лавке лежал суконный кафтан с меховой оторочкой, шапка, походный наборный пояс с ножом и шведский пистолет, какие были на вооружении у рейтар. Рядом с лавкой стояли сапоги с вложенными в голенища тонкими шерстяными носками.

Богдан Матвеевич, не мешкая, оделся, обулся, сунул за пояс пистолет, взял шапку и вышел на крыльцо. Стрельцы уже собрались, воевода строго их оглядел. Молодых парней среди них не было. Все несли службу давно и видели всякое. Сам сотник Конев, приземистый и кряжистый мордвин, был известен Хитрово по прежней службе в Темникове, и на него можно было во всём положиться.

— Веди стрельцов к стругу, сотник! — приказал воевода.

Стрельцы строя не знали и вразной, положив пищаля на плечо, пошли за своим начальником в подгорье.

— Казаки Сёмки Ротова уже внизу, — сказал Васятка.

Струг стоял возле пристани, и с раннего утра в него погрузили всё необходимое — огненные припасы, кули с сухарями и толокном, коробка с сушёной рыбой. Судно уже походило по Волге, от него круто воняло рыбной гнилью, и казаки, всходя на борт, недовольно морщились и старались устроиться поближе к носу, где ощущалось движение ветра. Кормщик заметил недовольство служивых и утешил: «Не беда вонь, приношаетесь!»

Подожли стрельцы и, толкая друг друга, кучно полезли в струг, он наклонился на один борт, затем на другой и закачался, ударяясь о брёвна пристани. К вёслам садиться никто не спешил, и кормщик сказал сотнику:

— Запряги своих ребят в вёсла. Дойдём до Волги, поставим парус.

— А что казаки?

— И на их долю хватит. До Усолья в один день не дойдём.

Стрельцы заворчали на казаков, те стали огрызаться, но враз все смолкли: к пристани подошёл воевода, а за ним Васятка. Хитрово взошёл на струг и встал рядом с кормщиком.

— Все в сборе?

— Все! — ответили Ротов и Конев.

— Тогда отчаливай!

Караульные стрельцы оттолкнули струг от пристани почти до середины протоки — воложки. Гребцы, следуя командам кормщика, нестройно погрузили вёсла в воду, судно медленно развернулось в сторону коренного русла, провожающие взмахнули шапками, а через некоторое время до воды донёсся слабый звук колокола, это своеобразничал диакон Ксенофонт, раздосадованный отказом Богдана Матвеевича взять его в поход против воров.

Коренная Волга встретила струг упругим и свежим ветром, который дул с верховьев реки, поднимая на её поверхности невысокие и частые волны. Ощувив сподручный ветер, все повеселели, на какое-то время отпала необходимость в тяжёлой гребной работе, можно было расслабиться, что и стрельцы, и казаки тотчас сделали — разлеглись, кто где сумел, и задремали под убаюкивающий плеск волн о борта струга, над которым кормщик развернул огромный холщёвый парус.

Сёмка Ротов, положив под голову шапку, лежал на деревянном помосте и смотрел в небо. Оно было ясно-голубого цвета и такое прозрачное, что открывшийся взгляду простор стал бередить Сёмкину душу неясными предчувствиями чего-то скверного, что неизбежно с ним случится в самом скором времени. И причиной всему, почти неизбежно, мог стать Фёдка. Сёмка знал, что, если они отыщут воров, он мог столкнуться с родным братом лицом к лицу, и тогда ему предстояло сделать выбор. Как он поступит, Ротов не знал, и это его тяготило и мучило.

Синбирская гора скрылась за поворотом реки, струг шёл мимо громадного поросшего густым лесом безымянного острова. На нем было много озер, на которых несчетными стадами гнездились утки и другие перелётные птицы. Иногда они, кем-то потревоженные, срывались со своих мест и поднимались вверх, образуя огромную шумную стаю, издали похожую на грозовую тучу.

Почти весь день Волга была пуста, и лишь вечером синбирянам встретился струг, шедший с Низа на бечеве. Хитрово приказал кормщику приблизиться к нему вплотную, а казакам и стрельцам было велено продрать глаза и быть настороже. Встреченный струг тащился вдоль берега, его волокли на бечеве два десятка оборванных и измученных тяжкой работой людей. Завидев чужаков, вооруженных пищалями, бурлаки стали спешно снимать с себя лямки, готовые в любое мгновение спрятаться в прибрежном лесу. Этой осторожности их научили воры, те резали всех подряд — и богатых купцов, и бурлацкую голь. На самом струге люди вооружились пищалями и

сторожко взирали на приближающихся к ним синбирян. Хитрово эти приготовления были видны, и он, предупреждая случайный выстрел, громко объявил, кто он такой. Встречные люди опустили оружие и повеселели.

— Чьи вы люди? — спросил воевода. — Откуда струг следует?

— Приказчик ярославского гостя Шорина, — ответил белокурый молодец в малиновом кафтане. — Иду из Астрахани с товаром.

— И давно идёте? — поинтересовался Хитрово.

— Давно, дай Бог памяти, шестьдесят восьмой день, — сказал приказчик. — В Астрахани беда, моровое поветрие. Я, как проведал об этом, бежал оттуда без памяти.

— Воров не встречали? — спросил Хитрово.

— Бог миловал! Хотя видели близ Яр-Камня струг, явно воровской. Но они за нами не погнались: ветер был им навстречу, а мы тишком-тишком, так и убрели от них по берегу.

— А что за воры были? — спросил Хитрово. — Может, ведаёт кто?

— Их вся Волга знает, — ответил приказчик. — Лом это был, воевода, больше некому.

Это известие Богдана Матвеевича обрадовало, значит, известный в Москве вор не сбежал, не затаился где-нибудь, а по-прежнему ворует в своих местах, и осталось с ним встретиться.

Хитрово приказал кормщику идти к правому берегу реки и вызвал к себе алатырского пушкаря, пищаль следовало опробовать.

— Что тебе нужно для испытания? — спросил воевода.

— У меня всё готово, — ответил пушкарь. — Пищаль заряжена, уголь горит. Укажи цель.

Мишень нашлась быстро. Невдалеке от струга плыл островок земли, оторванный течением от берега. Объявили тревогу стрельцам и казакам, и на вёслах, парус при стрельбе помеха, начали подходить к земляному островку. Пушкарь, поворачивая лафет, направлял пищаль на цель. Когда до неё осталось сажень двадцать, пищаль гулко и дымно выстрелила, и дробовым зарядом земляной островок был сметён с поверхности воды. Казаки и стрельцы радостно закричали, был доволен и воевода, в близкой схватке с ворами пищаль должна была дать своим огненным боем решительный перевес служилым людям.

К обеду следующего дня впереди по правому берегу стали видны несколько дымов.

— Что это? — спросил Сёмка у кормщика.

— Это, парень, Надеино Усолёе, — ответил бывалый волгарь. — Дымят соляные варницы, которые Надея Андреевич Светешников начал ставить здесь ещё тогда, когда я был молод и казаковал, как ты. При мне, на моих глазах всё начиналось. Я у Надеи Андреевича тогда был в караульщиках. Не скуп был гость, широко жаловал за верную службу.

— А где сейчас этот Надея? — спросил Семка.

— А кто его знает, — сказал кормщик. — Может, в раю мёд пьёт, может, в преисподней кипятком плещется. Большой человек был Надея, во всём большой!

## — 2 —

В один из декабрьских дней 1645 года по снежной, уже наезженной обозами дороге ехал из родного Ярославля в Москву важный человек, купец гостиной сотни Надея Андреевич Светешников. Ехал небольшим обозом с доверенным приказчиком Осипом и четырьмя вооружёнными молодцами на нескольких санях с товарами, купленными у голландцев на Архангельском торге.

Дорога по первопутку была покойной и мягкой. Снег еще не сбился в ледяные горбы и глыбы, а пушился за санями, покрытыми медвежьей шкурой, а сверху — сукном с нашивками из бархата. Со спинки саней свешивался край дорогого ковра. Одет Надея был в шубу на чёрно-бурых лисицах, покрытую тёмно-бордовым сукном, обут в сапоги на меху, за пазухой у него грелась серебряная фляжка с иноземной водкой. Ярко сияло зимнее солнце, снег скрипел под полозьями саней, погода веселила, но на душе у гостя было сумрачно и тревожно.

Большие дела произошли в этом году в Москве: почил в бозе царь Михаил, и Надея, узнав про это, сразу понял, что кончилось и его время. С царём Михаилом и его ближайшим окружением Надею связывали денежные и торговые дела, а за четверть века они так запутались, переплелись, что сейчас судьба Светешникова оказалась в руках и в прихоти нового царя Алексея, вернее, его наставника и учителя боярина Бориса Ивановича Морозова. Вот и пришлось ехать в Москву, к новой власти, начинать путь навстречу почти с самого низа, а Надея был горд, и общение с патриархом Филаретом и его сыном царем Михаилом только больше его укрепило в своей гордыне.

По тогдашним понятиям о возрасте Светешников был стариком. Да и действительно, сколько лет ему могло быть в 1645 году, если его подпись есть среди других подписей видных ярославцев под посланием князя Дмитрия Пожарского, которое рассылалось по русским городам с призывом к борьбе с поляками? Больше тридцати трех лет прошло с той поры, много чего кануло в прорву лет, но многое и легло зарубками на сердце.

Русь была истерзана лихолетьем: в Смоленске сидели поляки, в Новгороде и Пскове — шведы. Казалось, рухнули все державные крепости, казалось, что отечество распалось, но единство страны восстановили православная вера и отвага немногочисленной рати из посадских людей. Мысль о Земском соборе, чтобы выбрать царя, была спасительной. Грызлись на соборе между собой остатки старого, недобитого Иваном Грозным, боярства. Посадские люди, дворянство, казаки металась от одного стана к другому. Наконец, выбрали Михаила из рода Романовых, свойственников Иоанна IV.

Расчистили Кремль, закопали убитых, заглянули в казну, а она оказалась пустой. На том же соборе порешили взять с каждого двора пятую деньгу, а пока её соберут, обратились за займом к Строгановым, к монастырям. Всего с 1614 по 1619 годы взяли, кроме обычных налогов, шесть раз пятинные деньги. В те времена именитые гости: Шорин, Никитников, Патокин, Филатов, братья Гурьевы, Шустовы, Кошкины — были нужнейшими для государства людьми и беспрепятственно допускались к царю по своим торговым делам. Но, пожалуй, более других был вхож в царский дворец Надея Светешников, особенно по возвращении из польского плена отца царя Михаила — патриарха Филарета. Смышлёный, пробивной гость Надея понравился патриарху, и тот назначил его торговым агентом великих государей. Светешников занимался скупкой соболей в местах их промыслов в Мангазее, Эвенкии, Якутске. Туземные охотники не знали им цены, и Надеины приказчики выменивали «мягкое золото» на товары. За топор давали связку соболей, чтобы она только пролезла в отверстие для топорища. Ходатайства влиятельного гостя разрешалось в приказах с исключительной быстротой. Воеводам указывалось: «Надеиных приказчиков и людей не ведати, ни в чём и не судити и к себе не призывати».

Сани мягко несли Надею по накатанной дороге. Думы, одна тревожней другой, накатывали на душу, тяготили её предчувствием беды, неотвратимой и скорой. Знал именитый гость характер истинного сейчас хозяина земли русской — Бориса Ивановича Морозова, который воссел сейчас на приказе Большой казны и других немаловажных приказах вместе со своими присными: Плещеевым, Траханиотовым, Чистым. У Морозова сейчас волчий аппетит на чужое добро. В приказе Большой казны, Дворцовом ведомстве пыль столбом, дьяки поднимают все документы за предыдущее правление, недоимщиков ищут, чтобы учинить розыск и спрос.

Надея знает, что неладные у него отношения с казной. Где-то до поры пылятся записи, что были взяты именитым гостем у казны соболя на продажу, а деньги не возвращены, горели соболя во время пожара. Кинулся тогда Надея к патриарху Филарету, тот приказал списать долг. Но списан ли он? Вот о чём сейчас думалось купцу.

Последние два года плохо шли дела у Светешникова. Учуг с икрой воровские казаки разграбили близ Астрахани. Тобольский приказчик Михаил Леонов скоростижно помер, и пропало кабал и записей на 700 рублей. Стар стал Надея Андреевич, потерял прежнюю хватку, молодые стали обходить его, а в торговом деле пощады не жди. Да и сам он разве не был таким молодым хватом?

В 1631 году, когда Надея Светешников находился в фаворе у царя Михаила и патриарха Филарета, ему было пожаловано в полную собственность Усолье под условием ежегодной уплаты в казну оброка в размере «26 рублей, 31 алтын и одна деньга». Причина столь щедрого подарка — заинтересованность правительства в добыче соли, которая всегда была на Руси товаром первой необходимости. В ней нуждались все — и богачи, и простолюдины.

Надея имел опыт в организации соляных промыслов. В Костромском уезде у него было несколько соляных варниц. Но они чем-то не устраивали промышленника, скорее всего слабой отдачей соли из рассола, поэтому все оборудование, а также большие запасы дров, цренное железо на плотях были переправлены по Волге в Жигули.

Когда Надея Светешников с караваном припасов и работными людьми прибыл на Самарскую Луку, то смог, наконец, обхотить приобретенные владения. А они были чрезвычайно обширны и охватывали всю западную половину Самарской Луки. Тянулись они с «дуговой стороны Волги» до Ягодного ярка (затем село Ягодное) через Волгу на горную сторону к устью реки Тукшумка, впадающей в Усу, до «переволоки». Далее границы Надеиной земли шли вверх по Волге по нагорной стороне на речку Брусяну, от Брусяны на речку Аскулу, впадающую в Волгу ниже Усы, пересекали опять Волгу, захватывали богатую рыбными ловлями «Кунью волошку» против устья Усы, где впоследствии возник Ставрополь (Тольятти).

Перед отъездом в Москву Надея подсчитал, что имеет, и понял, что, если на Москве ему вчинят иск, рассчитывать будет нечем. В наличии имелось три тысячи рублей, а также поместья, подворья, лавки, полные товаров, Волжское Усолье. Всё это стоило десятки тысяч рублей, но обратить недвижимостью в наличные было трудно: узнав о затруднительном положении купца, ему бы стали предлагать за те поместья цену, в десятки раз меньшую, чем они стоят на самом деле. На доброту и займ рассчитывать не приходилось. Падение Надеи грело сердца его завистников. Да и многим Светешников сам насолил, ибо гордец он был жестоковыйный. Такой уж уродился, что никому спуска не давал по долгам. Не одного заемщика на правёж выставил, а сейчас, похоже, самого ждёт что-то страшное и неотвратимое.

Но человеку свойственно надеяться на лучшее, и порой Светешников хорохорился сам перед собой, что не посмеют его, именитого гостя, выставить на правёж, дадут отсрочку или изымут недвижимость, но какой будет расклад в Москве, какая пружинка щёлкнет в похожем на золотую шкатулку Кремле, купец не ведал, поэтому весь изболелся душой, с тех пор как известили, что ждёт его власти в приказе Большой казны. Месяц тянул Надея, не ехал, отписываясь хворьями и плохой дорогой, но после вторичного напоминания засобирался в путь.

Но странно как-то собирался: составил духовную грамоту, завещание, где всё поделил между сыном и дочерью. Сходил на исповедь, выйдя из церкви, встретил богатого купца, сотоварища по гостинной сотне, Шорина. Кивнул ему, прошёл несколько шагов, остановился и окликнул:

— Василий Григорьевич! Задержись! Дело у меня до тебя, — Шорин, моложавый для своих лет, одетый, как и Надея, в шубу на чёрнобурках, остановился. Светешников подошёл к нему, пристально посмотрел в льдистые глазки Шорина и, потупясь, сказал: — На Москву я еду завтра, Василий... Не знаю, свидимся ли. Прости меня за всё дурное, что я тебе сделал.

— Бог с тобой, Надея Андреевич! — воскликнул Шорин. — Я завсегда к тебе с полным уважением. А если что и было, так разве я не понимаю, в нашем деле без твёрдости нельзя.

— Плохи мои дела, Василий! Чую, до Рождества не доживу: нутро болит, грудь как обручами сдавлена. Просьба к тебе одна: будь моему сыну Семену советчиком на первых порах. Обереги от соблазнов, лихих людей.

Шорин истово перекрестился.

— Всё сделаю, Надея Андреевич! Но, может, пронесёт беду?

— Не пронесёт, — тихо сказал Светешников и пошёл к своему дому.

Перед отъездом он долго разговаривал с сыном. Достал записи, указал приходы, расходы, верных людей. Открылся и в том, что может быть с ним на Москве. Сёмен заплакал, обвинил отца руками.

— Тятя, тятя! Неужели выхода нет?

— Нет, сынок! Ты всю торговлю сверни, оставь только суконную лавку возле Кремля и московское подворье. Возьми в руки моё Усолье на Волге. А лучше поезжай туда жить, от злорадных взглядов в сторону. Будь крепким хозяином. Долг казне вернёшь с прибылей от соли. Я мыслю так, что скоро поднимут пошлину на соль.

Провёл сына по церкви, показал тайники, отдал ему все деньги, с собой взял всего двести рублей. Поднялся к себе и долго молился. Утром он уже был на Московской дороге.

В Москву Надея въехал до наступления ночной стражи, когда улицы города замыкались на рогатки, и всех празднующихся караульные хватили и волокли к допросу: кто таков? Куда шёл в поздний час? При Тишайшем государе улицы Москвы были опасны. Прохожих грабили лихие люди, а ещё чаще дворня какого-нибудь боярина, который держал на подворье сотню, а то и больше остолопов, отвыкших, а то и не знавших никогда деревенской работы. Днём дворня отсыпалась по сеновалам, повалушам, сараям, каретникам, запечьям, а ночью шла на разбойный промысел. Громил лавки, а то и дома достаточных горожан.

Надеин обоз подъехал к подворью, что находилось за белыми стенами Китай-города. Ездовой соскочил с лошади и постучал рукояткой плети в ворота. Во дворе залаял громадный пёс, дверь жилья отворилась, и на пороге появился старший приказчик суконной лавки Фёдор Кошелев, ровесник хозяина, седой, но ещё крепкий старик.

— Свои! — крикнул ездовой. — Хозяин приехал! — Кошелев скинул крючки и отодвинул запоры, унял собаку и, светя фонарем, повёл приезжих к дому. — Распрягай коней! — распорядился Надея. — На ночь у возов сторожу поставить!

— Сделаем, всё сделаем! — засуетился Кошелев. — Проходи, Надея Андреевич, в свои покои. Ждал я тебя, хозяин, печи протоплены, всё убрано.

Надея что-то буркнул в ответ, прошёл коридором на господскую половину, сбросил с плеч шубу, приложил озябшие руки к печи, выложенной керамическими израз-

цами с затейливыми рисунками. Затем прошёл в передний угол покоя, отёрнул в сторону занавеску, открыл образа. Перекрестился три раза, сел на лавку, застеленную шкурой белого медведя, и задумался. Его занимал один вопрос: решена ли его судьба царём Алексеем или правду говорят, что всё решает Морозов?.. Если это так, то надеяться на снисхождение ему нечего. Впрочем, про себя Надея уже всё решил. Правёж на Руси — не позор, обычное житейское дело, а умирать надо, хватит, пожил на белом свете. Думал об этом отрешённо, как не о себе самом, а о чужом человеке. Перебирал в памяти, всё ли сделано. Вроде всё.

В горницу вошёл приказчик с подносом, поставил на стол хлеб, мясо, капусту, огурцы, штоф с рейнским вином.

— Не уходи, Фёдор, — промолвил Надея. — Разговор есть. Садись за стол, — Кошелев присел на край лавки, выжидательно посмотрел на хозяина и поразился изменениям в лице Светешникова. Перед приказчиком сидел не тот величавый и грозный для подвластных ему людей именитый гость, а старик, уязвлённый неизлечимым недугом. — Что смотришь, не узнать Надею? Да, брат, пожил своё Надея, пора честь знать. В груди тяжело... Ну, что говорят обо мне на Москве?

— Да откуда мне знать! Я с темна до темна в лавке, некогда мне слушать досужий трёп. А на подворье приходили два дня назад пристава. Велели передать, чтобы, как приедёшь, немедля явился в Земский приказ по иску.

— Ну, вот и конец всему! — горько вздохнул Надея. — Я думал государю челом ударить, объяснить, как случился долг, который ещё патриарх Филарет списал. Да, видно, боярин Морозов уже всё обтяпал. Окрепло царство после разорения Смуты, не нужны стали ему именные гости, сейчас нами помыкают...

— Неужто тебя, именитого гостя, на правёж поставят! — поразился Кошелев. — Век такого не бывало.

— Сошлось, видимо, всё в одно, — молвил Надея. — Мой спорный долг казне, а главное, очень хочется Морозову показать всем именитым гостям свою силу. Царь ещё подросток, малосмышлён. А я действительно болен, долго не протяну. Ты лавку мою суконную береги. Я всё Семёну оставляю. Служи ему, как мне служил. Вот, держи на прощание, — Надея снял со среднего пальца дорогой рубиновый перстень и протянул Фёдору. — Бери, Фёдор, за службу твою. Служи моему сыну. Оберегай от дурных людей. И чтоб дружбы с царём да боярами не водил, как я, дурак...

При царе Алексее Михайловиче сыск беглых людишек был добро поставлен. На то существовал Сускной приказ. Костяк сыска — ярыжки, десятские по улицам ведали все. Поэтому десятский уличного порядка, где находилось Надеино подворье, сразу узнал о приезде искомого Надеи Светешникова, и едва с улицы сняли сторожевые рогатки, потопал в Земский приказ, где, жарко дыша от задыха, шепнул дежурному приставу, что Надея прибыл. Десятский растаял в предутренней морозной дымке, а пристав прошёл в караулку, где взял за шиворот и встряхнул своего помощника, растолкал трёх стрельцов, велел им идти оружием и без шума.

Надею всю ночь не спалось, болела голова, немела левая рука, бок. Иногда он впадал в забытие, ему мерещилось то одно, то другое, всё больше какие-то кривляющиеся уродцы, а под утро привиделся монах, старый, в рваной одежонке с батогом, который грозил ему: «Не будет тебе спасения, Надея! Сколько народу из-за тебя сгинуло в Сибири, бега за соболями! Ты мошну набивал, а о Боге не думал. Храм построил, да разве это храм! По сводам тайники с казной, под полом немецкие товары. Гореть тебе, Надея, в аду веки вечные!» Надея открыл глаза, сплюнул, перекрестился и подумал: «Если бы не было самоубийство страшным грехом, пальнул бы в себя из пищали. Да и семье позор...»

Со двора послышался хриплый лай пса, лязг железа. В горницу, пятясь задом, влетел Фёдор, за ним, топя сапогами, ввалились приставы. Надея поднялся и сел на лавку. Вот оно, как приходит беда! Старший из приставов гаркнул на стрельцов:

— Взять его!

— Дайте одеться человеку! — всхлипнул Фёдор. — Не в исподнем же по улице поведёте. Это же именитый гость, а не холоп.

— Ладно. Одевайся, именитый гость! Да пожалуй нас чем-нибудь за беспокойство.

— Фёдор! Дай им вина, романи... — пока служивые пили вино, Надея обволокся в шубу, отдал Фёдору кошелек с деньгами. — Ну, я готов, господа приказные.

— Сейчас пойдём.

И пошли, повели именитого гостя, не связав ему рук, по улицам просыпающейся Москвы. Подвели к подвалу приказа, отперли дверь и толкнули Надею в вонь и духоту. Надея с последней ступеньки упал на колени и начал шарить в темноте руками. Схватил кого-то за бороду. Мужик заворчал:

— Не балуй! Ложись рядом и спи, если сможешь, — Светешников запахнул плотнее шубу и вытянулся рядом с мужиком. — Ты, видать, барин, — сказал мужик.

— Скусно от тебя пахнет, — Надея вдохнул воздух тюрьмы и поперхнулся, это была адская смесь гнили и человеческих испражнений. — Ничего, — сказал мужик. — Скоро и ты завоняешь.

Долго Светешников потел под шубой, пока не стала всё чаще распахиваться входная дверь, и подсобники приставов, так называемые недельщики, выкликали тюремных сидельцев, кого к судье, кого и к исполнению наказания. Наконец, выкликнули и Светешникова. В подвале зашумели: многим имя было знакомое.

— Ты гляди, какого купчину заарканили!

На крикуна сразу обрушилась с угрозами вся тюрьма. Чужой беде здесь не радовались.

Надея тяжело поднялся, кое-как отряхнул солому с шубы и, качаясь, поднялся по ступенькам. Недельщик подхватил его под руку и повёл по коридору в большую комнату, где разом трудились трое судей. В окне сияло зимнее солнце и отражалось на голом черепе приказного судьи. Перед ним на столе лежала бумага, которую он внимательно читал.

— Что решил, Надея Андреевич? — просил судья. — За тобой недоимка числится по приказу Большой казны. Для тебя заплатить такие деньги — плёвое дело.

— Сколько насчитано?

— Это мы скажем. Так... Брал оный Надея из казны для продажи на Архангельском торге соболей, а также соболиные пупки... всего на 6570 рублей!

— Покойный великий государь патриарх Филарет ещё двадцать лет назад списал мне этот долг.

— А ты внимай, что боярин Морозов, хозяин Большой казны, пишет: «...долг этот по нерадению бывших управителей приказа Большой казны князя Черкасского и боярина Шереметьева не востребован». Словом, плати или пожалуй на правёж! И стоять тебе на правеже за каждые сто рублей месяц, а всего выходит стоять пять с половиной лет. Плати, ведь забьют тебя, старика!

Надея вскинул голову, тяжело глянул на судью и твёрдо промолвил:

— Ежели государи своего слова не держат, то я сдую. Ставь на правёж!

«Вот и конец, — подумал Надея. — Дай Бог, чтобы сегодня всё кончилось!»

Светешниковым завладел недельщик, повлёк его к кузнецу, который наложил на руки и ноги Надеи оковы. Затем его вывели на улицу, на ослепительно яркий молодой снег и поставили рядом с другими кандалниками. В ноги к Надее бросился со слезами Фёдор.

— Ведь ты сам решил умереть, Надея! Не делай этого! Заплати окаянникам!

Недельщик ударом ноги отбросил приказчика в сугроб и потянулся губами к уху Надеи:

— Железо за голенища будешь ставить? Цена полрубля.

Надея отрицательно мотнул головой, недельщик злобно оцетинился, взмахнул багом и изо всех сил ударил Светешникова по икрам. Боль опалила огнём, и он крепко сжал зубы, сдерживая рвущийся из глотки вопль.

Недельщик обошёл всех выставленных на правёж полтора десятка должников и вновь возник перед Светешниковым.

— Держись ужо! — прошипел он сквозь зубы. — Скрыга!

На это раз Надея не почувствовал боли. Он умер за мгновение до удара и упал навзничь в сугроб у крыльца приказа. Подбежал пристав, наклонился над упавшим, затем снял шапку и перекрестился.

— Всё! Душа не выдержала...

Недонаказанных загнали в подвал, к крыльцу подлетел на вороной кобыле извозчик:

— За рупь доставлю в лучшем виде!

Из приказа вышел лысый судья. Посмотрел, перекрестился. К нему кинулся недельщик:

— Шуба моя?

— Ты что, кат, сволочь? Изыди с глаз моих!

Фёдор с извозчиком погрузили Надею на сани и доставили на подворье. Запрягли двух лошадей, уложили Надею на полость, закрыли с головой и повезли на родину, в Ярославль.

Ощущение конца пути добавило гребцам силы, струт быстро пересёк широкий плес и вошёл в устье невеликой речки Усолки, где находилась пристань. Она была не пуста, возле спущенного на воду бревенчатого настила стоял купеческий струт, и рабские люди из большого амбара носили в него тяжёлые кули с солью. Синбиряне

причалили невдалеке от него, чуть потеснив рыбацкие лодки, и к ним из амбара поспешил человек с саблей на поясе, что обличало в нём местного начальника.

— Отзовитесь, что за люди! — закричал он на бегу.

Воевода на этот вопль и не подумал отвечать, а Сёмка, когда человек крикнул ещё несколько раз, спросил:

— А ты кто будешь?

— Десятник над боевыми людьми Артемий Курдюк.

— Беги, десятник, и доложи хозяину, что к нему явился синбирский воевода Богдан Матвеевич Хитрово с казаками и стрельцами, — Курдюк был человеком бывалым, на слово казаку не поверил и стал обшаривать очами струг. Наткнулся взглядом на воеводу и пал наземь в рабьем поклоне. — Очнись, десятник! — окликнул его Сёмка. — Беги за хозяином.

Курдюк вскочил и опрометью кинулся к коновязи. Вскочил на коня и помчался вдоль берега к видневшимся невдалеке строениям.

Казаки и стрельцы с жадностью поглядывали на берег, но приказа на высадку не было. Богдан Матвеевич призвал к себе Ротова и Конева и велел им разбить стан в стороне от соляного амбара и других построек, чтобы ненароком не повредить или не сжечь их, а также строго следить за своими людьми и не ходить в Усолье. Сам Хитрово решил дожидаться хозяина на пристани и не сходить со струга, пока тот к нему не явится с поклоном.

В усадьбе Семёна Светешникова весть о прибытии синбирского воеводы вызвала большое смятение. Хозяин от неожиданности будто окаменел на лавке, сидел и даже не мог вымолвить слова ждущим от него приказаний десятнику Курдюку и ключнику Савельеву. А без хозяйского повеления они не знали, что делать. К счастью, известие о высоком госте скоро достигло женской половины дома, и оттуда явилась Антонина Андреевна, сестра покойного Надеи Светешникова, державшая в руках всё, что осталось от богатства купца гостиной сотни. Она недовольно глянула на нерасторопного племянника и приказала ему немедленно облачаться в самые лучшие одежды, управителю было велено немедленно идти в поварню и заняться приготовлением праздничного обеда. Курдюка она отправила срочно готовить коней под воеводу, его приближённых и хозяина, на что взять лучшую сбрую, а синбирским казакам и стрельцам отправить из ледника воз свежей рыбы.

Антонина Андреевна выглянула в окошко, чтобы проследить, поспешает ли Курдюк выполнять её повеление, и всплеснула руками:

— Грязи-то, грязи во дворе! Да и в горнице не чисто!

Немедленно в хозяйские покои доставили жёнок с тряпками и скобилами, полы в горнице были вымыты, крыльцо и деревянный настил до ворот выскоблен, а на въезде в усадьбу поставлен в чистом кафтане караульщик с алебардой и саблей за поясом.

Семён Светешников оделся, как и велела властная тетка, во всё лучшее. И кафтан, и штаны и сапоги на нём были самого лучшего качества, правда, всё изрядно помято от долгого лежания в сундуках, но смотрелось богато и ярко. Особо ценным был пояс, сплошь золотые пластины с вделанными в них крупными рубинами. За этот пояс Надея Светешников немало соболей отвалил английским купцам, которые привезли его из Лондона по купеческому заказу.

Семён Надеевич вышел из своей комнаты вовремя: у крыльца стояли осёдланные кони, а тётка уже начинала злиться и недовольно ворчать, но, увидев племянника, она растаяла — вылитый Надея стоял перед ней, хозяин Усолья.

— Ты уж не осрамись перед воеводой, — сказала Антонина Андреевна. — Поклонись земно, согни спину, с нас, худородных, не убудет. Проси Богдана Матвеевича хлеба-соли откусать. Окольный, слышно, близок к царю. Угодишь ему, угодишь государю. Ну, ступай с Богом!

Светешников знал, что надо делать, слез с коня, не заезжая на пристань, снял шапку и, потупясь, пошёл к стругу. Приблизившись к воеводе, он встал на колени и коснулся лбом брёвен пристани. Богдан Матвеевич с интересом посмотрел на отпрыска знаменитого Надеи и промолвил:

— Так вот ты каков, Семён Надеевич!

Семён оторвал голову от брёвен пристани и искательно произнёс:

— Бью челом твоей милости. Прошу не побрезговать мной, захудалым, и пожаловать в мой дом отведать хлеба-соли.

Богдан Матвеевич помедлил, испытывая смиренность Светешникова, не притворна ли она, затем произнёс:

— Поднимись, Семён, я к тебе не от нечего делать прибыл, а по слову государя Алексея Михайловича, кое объявлю позже. Твое приглашение на хлеб-соль принимаю.

Светешников со сдержанными поклонами проводил воеводу к коновязи.

— Прими, Богдан Матвеевич, от чистого сердца! — и десятник подвёл к Хитрово статного кракового жеребца. Конь покосился на воеводу горячим лиловым глазом, фыркнул, и у Богдана Матвеевича дрогнуло сердце.

— Хорош, всем взял! — произнес он, касаясь рукой морды коня. — Сёмка! А ну, пройдишь на нём по берегу.

Полусотник выхватил у Курдюка поводья, запрыгнул в седло, промчался несколько раз между пристанью и амбаром вокруг начальных людей и осадил жеребца перед воеводой.

— Справный конь, — сказал Сёмка. — В нашей сотне лучше не отыщется.

Путь к усадьбе Светешникова шёл через бобылью слободку, где жили мужики, не платившие поземельной подати и работавшие на соляном промысле. Поселение состояло из трёх десятков изб, и не у каждой из них имелся огород и постройки для содержания скота. Народ здесь жил сбродный, со всех краев Руси. Люди приходили сюда, жили, работали, затем уходили, но не все, некоторые оставались в Усолье навсегда, и население его понемногу прирастало.

— Это что у тебя? — спросил Хитрово, указывая на высокое строение в конце слободки.

— Боевая башня, — ответил Светешников. — Сейчас она пуста, но там всё к бою готово, — караульщик открыл им дверь башни, и они вошли на первый этаж. — Открой оружейню! — приказал хозяин. В помещении хранилось много копий, сабель, пицалей, пороха, свинец для пуль и картечи. — На втором ярусе устроены две большие пицали, — сказал Светешников.

Богдану Матвеевичу всё, увиденное им, понравилось.

— Хвалю! — сказал он. — Ты, Семён Надеевич, оказывается, не только промышленник, но и воин.

— А вот моя усадьба! — сказал Светешников, показывая на возвышенность, где за двухсаженной бревенчатой стеной возвышался громадный дом на каменных подклетах. Вокруг него были расположены службы: поварня, баня, два амбара, конюшня, ледник, две избы для проживания боевых людей, которые кормились за счёт хозяина и получали за свою службу по пятнадцать рублей в год. В проездных воротах и по углам стен были устроены башни, в которых находились шестнадцать медных и железных пицалей с запасами пороха, свинца и каменного дроба.

— Это же настоящая крепость! — поразился Богдан Матвеевич. — О твоём усердии по охране границы, Семён Надеевич, я обязательно скажу великому государю.

— Два года назад, — сказал Светешников, — налетели ногайцы, угнали табун коней, на полях и на хлебе поймали жёнок и детей. Всех в полон увели. В прошлом году опять пришли, но мои люди их ждали в засадах. С большим для них уроном отбили ногайцев. В этом лете ещё не приходили, ведают, что великий государь ставит крепость Синбирск, а в Арбугинских полях на их приход имеется посланная твоей милостью сотня.

— Мои казаки у тебя были? — живо спросил Хитрово.

— Приходили. Я их свёл со своими караульщиками, что поставлены вдоль речки Сызранки, они вместе и промышляют степняков.

У ворот усадьбы гостя встретила Антонина Светешникова, разнаряженная не хуже московской боярыни. Она была одета в летник из синего атласа, сотканного по полям с золотыми нитями, с вошвами по подолу из чёрного бархата, расшитыми канителью, на шее у хозяйки сияло жемчужное ожерелье, на голове была шапка с возвышением, так называемая кика, украшенная золотом и драгоценными камнями, с кики спадали, по четыре с каждой стороны, жемчужные нити, доходившие до плеч.

Управитель взял коня под уздцы, и Богдан Матвеевич сошёл на землю. Светешникова поясным поклоном приветствовала воеводу и окольного.

— Милости просим, господине Богдан Матвеевич, — нараспев произнесла Антонина Андреевна.

По выскобленному добела настилу Хитрово прошёл по двору, поднялся на крыльцо и ступил в нарядно убранную горницу. Здесь уже был накрыт стол с большим числом блюд из самой лучшей волжской рыбы и питья — хмельное, сладкое и кислое. В горнице Хитрово и Светешников остались одни, если не считать прислуживающего им человека. Богдан Матвеевич с дороги был голоден и отведал всего, что ему предлагалось, особо похвалил уху из раков, необычайно крупных и вкусных. Нелюбитель хмельного, он попробовал разные квасы, и все их одобрил.

После обеда Богдан Матвеевич приступил к тому, из-за чего он заехал в Усолье.

— Великая честь тебе выпала, Семён Надеевич! Великий государь велел мне спросить тебя, что ты желаешь получить за судейскую промашку с твоим отцом Надеей Андреевичем?

Слова, вымолвленные окольным, до глубины души поразили молодого Светеш-

никова своей неожиданностью. Гость объявил ему неслыханную царскую милость, о которой редко помышляют простые смертные, но одновременно эти слова всколыхнули в сыне Надеи Андреевича ещё не до конца пережитую боль. Семён долго молчал и, наконец, проговорил:

— Милость великого государя, объявленная тобой, окольный, так неожиданна, что я, худородный, пребываю в смятении и не нахожу слов, что ответить.

— Невелика трудность, — сказал Хитрово. — Ударь челом государю, проси дворянство. Вотчиной ты владеешь, не у всякого боярина такая сыщется.

— Не по Семке шапка, Богдан Матвеевич! Я ведь не воин, а купец и промышленник. Обык делом торговым заниматься, а не саблей махать. Да и моё ли это дело? Я и со своими боевыми людьми еле управляюсь, — Светешников поднялся с лавки, подошёл к шкафу и взял из него книгу. — Вот был в том году на Москве, приобрёл, «Хитрости ратного дела» называется. Мудрёная книга, не для моего слабого умишки. А вот эта книга, — хозяин достал её из шкафа, — как раз по мне и в моём деле большая помощь — «Книга сия глаголемая по-эллински и гречески арифметика, а по-русски цифирная счётная мудрость».

— Не хочешь быть дворянином, тогда проси почёта гостиной сотни. Стань тем же, кем был твой отец, — сказал Хитрово, удивляясь простоте Семёна Светешникова. Другой на его месте взял бы от государя всё, что тому по силам дать.

— В гости мне никак нельзя, — вздохнул хозяин. — Достаток не тот. Усолье у меня недавно, двух лет нет, да и то спасибо Василию Григорьевичу Шорину, что за меня поручился.

— Так ничего и не желаешь получить от великого государя? — спросил Хитрово.

— А что мне желать? — погрузился Светешников. — Здоровья? Так в том государь не мочен. Слаб я грудью, Богдан Матвеевич. Одно слово, не жилец. Скажи великому государю, что всем-де Светешников доволен и молит Бога, чтобы продлились дни его царствования во славу единого Бога и спасителя рода человеческого.

— Добро, — промолвил Хитрово. — Так и скажу великому государю и знаю, это его порадует, что есть такой честный и прямодушный человек, как ты.

— Прости меня, недостойного, если что сказал не так.

— Пустое. Ты мне пришёлся по сердцу. И помни, что через меня ты можешь в любой час обратиться к великому государю.

— Спасибо на добром слове, — сказал Светешников. — Изволишь, Богдан Матвеевич, пройти в опочивальню, отдохнуть после обеда?

— На границе я отвык жить по-московски, — усмехнулся Хитрово. — Хотя смолodu спешил после обеда залечь на перину, а другой сверху накрыться. Посему удовлетвори мое любопытство, покажи соляные промыслы и то, как они устроены.

Светешников кликнул ключника Савельева и приказал ему готовить коней для поездки на промыслы. В комнате было душно, и они вышли на крыльцо, с которого открывался богатый вид на волжский плес. От усольской пристани уходил купеческий струг с солью, а на его место встала громадная, нагруженная лесом лодка.

— Варницы страх как прожорливы, — сказал Светешников. — Вблизи дровяного леса почти нет, возим из Заволжья.

Десятник Курдюк подвёл к крыльцу заседанных коней. Светешников и Хитрово выехали со двора и наезженной дорогой направились к Усолке. Вечерело, но было тихо, сентябрьское солнце не палило, а оевало землю приятным теплом. Осины кое-где вспыхнули радужным цветом листьев, рябины пожелтели, и красные гроздья ягод стали заметнее взгляду, пахло сыростью палой листвы. Но вскоре вид леса стал меняться: стало больше попадаться неживых безлистных деревьев, запахло, сначала чуть ощутимо, но затем всё сильнее прогорклым дымом. Семён Светешников закашлялся и виновато посмотрел на Богдана Матвеевича.

— На варницах всегда всегда смрадно, — сказал он. — Может, не пойдём туда?

— Невелика помеха — дым, — возразил Хитрово. — Синбирская гора всё лето горела. Я к дыму привычен.

Соляной промысел открылся весь сразу за поворотом высокого берега. На пустом ровном месте невдалеке друг от друга стояли четыре большие и высокие рубленые избы, из каждой через отверстие вверху стен в пять-шесть ручьёв валил дым, который растекался по округе густой сизой пеленой.

— Да у тебя тут, Семён Надеевич, чисто преисподняя, — сказал Хитрово. — Видно, недаром соль солана.

— Вот эта варница называется «Гостеня», далее «Любим» и «Хорошава», — указал Светешников. — А новый сруб назван по имени батюшки «Надея».

Возле каждой варницы стояли громадные поленницы дров, а под дощатыми навесами лежали сложенные друг на друга рядами рогожные кули с солью.

— Показывай всё, от начала и до конца, — сказал Хитрово.

Приезд хозяина с важным гостем был замечен, к ним поспешил человек в грязной рубахе до колен, его голые ноги были всунуты в короткие валенки.

— Самый важнейший на промысле человек, — сказал Светешников. — Трубный мастер Васька Осётр.

— А почему сей знаменитый муж ходит без штанов? — удивился Богдан Матвеевич.

— Отвечай, Васька, куда штаны дел? — строго спросил хозяин. — Ещё вчера они на тебе были.

— Сгорели, Семён Надеевич, возле варницы. Стрельнуло полено, и штаны вспыхнули, сам еле жив остался.

— Знаю, где они сгорели, — сказал Светешников. — Веди к трубе и показывай. А за штаны и вчерашний запой спиной ответишь!

Осётр сник и побрёл к соляной трубе.

О том, что река Усолка солона, люди знали с давних пор. В её пойме вырывались родники, которые были тоже солонны. Однако из поверхностных вод добычу соли организовать было невозможно, требовалось делать скважины, чтобы добраться до насыщенных солью растворов, а они залегали всегда достаточно глубоко, и их добыча была непростым делом. Со временем пытливый ум русских умельцев разрешил задачу устройства буровых сооружений совершенно независимо от заграницы. Система древнего русского способа бурения напоминала способ извлечения воды из колодца при помощи журавля. Высота журавля достигала восьми саженей. Бурение начинали с устройства колодца, который укреплялся срубом, далее скважину начинали бурить и в неё осаживать деревянные трубы. Эта работа продолжалась до тех пор, пока из земли не начинал поступать насыщенный соляной раствор.

Богдан Матвеевич заглянул в трубу и увидел лишь темноту.

— Глубоко дыра? — спросил он трубного мастера.

— Сорок саженей, меньше никак нельзя, рассол не тот. Вот попробуй, боярин, — сказал Васька и пододвинул к Хитрово бадью.

Богдан Матвеевич окунул в раствор указательный палец, лизнул и сморщил лицо, язык обожгло горечью, сквозь которую стал проступать острый, как пламя, вкус соли.

— Крепка водица! — крикнул Хитрово. — Запить бы надо, — Васька уже держал наготове ковш с водой. Богдан Матвеевич несколько раз обильно прополоскал рот и сказал Осётру: — Вот где крепость настоящая. А ты, дурак, вино хлещешь, деньгами соришь!

— Я ведь ему двадцать рублей в год плачу, на всём готовом, — сказал Светешников.

— Такое жалованье не всякий воевода имеет, а он штаны заложил за чарку. Тьфу!.. Пойдём, Богдан Матвеевич, похвалюсь тебе «Надеей», новой варницей.

Васька Осётр, выскочивший навстречу именитым людям в надежде получить на опохмелку, остался возле соляной трубы в унылом разочаровании.

Варница встретила Хитрово и Светешникова сильным и частым звоном, её потолок не было видно из-за дыма от очагов, на которых стояли црены (железные корыта) с кипящим соевым раствором. Светешников неожиданно сильным и звучным голосом приказал прекратить шум, и мужики отложили в сторону молотки, которыми сбивали накипь с пустых цренов. Затем хозяин позвал к себе варщика соли. Тот вынул из црена мешалку, которой перемешивал раствор, отдал её помощнику-подварку и приблизился к хозяину и его гостю.

— Вот, Богдан Матвеевич, мой лучший варщик Ворошилко Власьев. Его мой батюшка, когда взял на себя Усолье, вывез из Костромы.

Ворошилко был измождён и бел, то ли от прожитых лет, то ли от соли, которая была здесь всюду. Холщевая, пропитанная насквозь солью рубаха на варщике не гнилась и висела колоколом.

— Давно на соли, дедушка? — с жалостливым участием спросил Хитрово.

— Никакой я не дедушка, боярин, — неожиданно весело блеснув глазами, сказал варщик, — мне пока тридцать три года, а мой сын ещё мал, чтобы жениться.

Богдан Матвеевич слегка смутился, но вида не подал. Однако в варнице ему вдруг стало тесно и неудобно.

— Пойдём отсель, Семён, — сказал он. — Достаточно того, что я видел, — они вышли из варницы, Богдан Матвеевич вдохнул несколько раз полной грудью свежего воздуха и почувствовал, что его нутро освободилось от соляного смрада. — Воистину, не варница, а преисподняя, — сказал Хитрово. — И огонь, и дым, и смрадный дух.

— Что поделать, — ответил Светешников. — Таков соляной промысел. Но они вольные люди, похотят — уйдут. Да не уходят — хорошо плачу. У варщика жалованье тридцать рублей в год, у подварка вполтину меньше. Едят и пьют задаром.

День уже вплотную подошёл к вечеру, Хитрово глянул на солнце и промовил:

— Я сюда не только по твоему делу приехал. Великий государь повелел мне извести

воров на Переволоке. Гость Гурьев и другие челом бьют, что на Самарской Луке не стало проходу от воров. Что скажешь?

— Эх, Богдан Матвеевич, — сказал Свешников, — не с теми силами ты явился. Сюда надо приходиться с пятью десятками стругов с воинскими людьми, да и то мало будет.

— Не твоего ума дело, как воевать! — осерчал Хитрово. — Ты мне скажи, такого вора, как Лом, знаешь?

— Как же, слышал.

— Вот он мне и надобен. В первую очередь по челобитной гостя Гурьева велено Лома изловить и лишить жизни! Буде попадутся иные, то с ними поступать так же.

— Пойдём, Богдан Матвеевич, в усадьбу, а по дороге я подумаю, чем тебе помочь.

Хитрово и Светешников сели на коней и пустились в обратный путь. Хозяин ехал в глубокой задумчивости, а Богдан Матвеевич поглядывал на Волгу и корил себя за то, что прогневался на него и обидел. Ещё в Синбирске он понял, что без помощи владельца Усолья ему не найти воров, и вот не выдержал, сорвался. «Не сдержан стал, — журил себя Хитрово. — И всё оттого, что тороплюсь в Москву. А промашку мне допустить нельзя, оступлюсь и смажу всё, что мной сделано почти за два года на границе».

Светешников на окольного не обижался, он окрик воеводы воспринял как должное и тоже упрекал себя, что нечаянно начал учить человека, стоявшего неизмеримо выше его по знатности.

Занятые каждый своим размыслом, они доехали до усадьбы, спешились, и Светешников, усадив Хитрово на лавку под шатром крыльца, сказал довольно неуверенным голосом:

— Есть одна худая мыслишка, Богдан Матвеевич. Вчера люди Курдюка поймали подле пристани бродягу. Говорят, что он уже шатался вокруг Усолья. Я велел посадить того бродягу в яму.

— Ну и что сказал он?

— Розыска ещё не вели. Сегодня не до того было.

— Веди в тюрьму! — приказал Хитрово.

— Курдюк! — крикнул Светешников. — Поди сюда!

Вместе с десятником подошел и Сёмка Ротов, рожа от пересыпа у него была мятой.

— Гляжу, здоров ты спать, полусотник! — сказал Хитрово.

Тюрьма была неприметной и поднималась из земли на половину человеческого роста. Но первое впечатление было обманчивым, внутри она оказалась не тесной, в две комнаты. В передней комнате стоял стол и лавка, в полу был вделан очаг, с потолка свисали верёвки и цепи. Хитрово это не удивило, у него в калужской усадьбе было точно такое же заведение, и оно редко пустовало.

Курдюк загремел железным засовом, открыл дверь, выволок из камеры тщедушного мужичонку и бросил его к ногам окольного.

— Кто будешь? — спросил Хитрово.

— Я? — бродяга встал на четвереньки. — Калика перехожий. Иду туда, куда ветер дунет.

— Говори дело! — Курдюк пнул его сапогом под рёбра.

— Когда-то, боярин, меня звали Пахомычем, а теперь и Иванычем не зовут.

— Я вижу у тебя, дурака, не только язык, но и спина чешется, — грозно промолвил Хитрово. — Сёмка! Курдюк! Взять вора на дыбу!

Ротов растерялся, его самого подвешивали, а он других нет. К его счастью, Курдюк был сведущим палачом, ловко связал бродяге руки и, перекинув верёвку через балку, крикнул Сёмке: «Тяни!» Казак упёрся ногами в пол, изо всех сил дёрнул верёвку, и вор взлетел вверх.

— Я пойду к себе, Богдан Матвеевич, — сказал тусклым голосом Светешников. — Муторно мне.

Хитрово недовольно взглянул на него, усольский хозяин и впрямь был нехорош — побледнел, будто покрылся плесенью.

— Ступай, Семён Надеевич. И собери всех своих боевых людей, караульщиков и приказчиков. Они мне скоро будут надобны, — Курдюк вытащил из бочки с водой ивовый прут и выжидающе посмотрел на Хитрово. — Начинай!

Курдюк встряхнул прут, пробуя его на изгиб, отступил на шаг и с полного замаха ударил бродягу по спине, затем ещё раз, ещё... После двух десятков шелепов тот перестал дёргаться и визжать, обвис на верёвке охалкой окровавленного тряпья.

— Сомлел, слабосилок, — проворчал Курдюк, но что-то его насторожило. Он подошёл к бродяге вплотную, приподнял ему веки, затем достал нож и кольнул в пах. Бродяга резко вскрикнул и задержался на верёвке. — Ах ты, притвора! — вскричал Курдюк. — Это точно вор — под шелепами засыпает. Разреш, воевода, угли распалить да побаловать ватажника огоньком?

— Неси, Сёмка, растопку! — приказал Хитрово. — А ты, Курдюк, опусти его вниз, — десятник ослабил верёвку, и бродяга шмякнулся мешком на пол. Воевода некоторое время пристально смотрел на него, затем промолвил равнодушным и тусклым голосом: — Мне нет часа возиться с тобой. Потому отвечай, или сожгут тебя, сначала одну руку, потом другую, затем дойдёт черед до ног...

Бродяга открыл глаза и прошептал:

— Что надо?

— Как зовут?

— Филька.

— Ты с чьей артели? Лома?

— Его.

— Что делал на пристани?

— Струг выглядывал. Куда идёт, что на нём...

— Покажешь воровской стан?

Филька, помолчав, прошептал:

— Укажу. Да вы его сами отыщете. Вёрст двадцать отсель, в Малиновом овраге.

Скорое признание вора, убоявшегося пытки огнём, обозлило Сёмку. Он надеялся, что Филька не выдаст своих сообщников, и сейчас был готов свернуть ему шею. Теперь встречи с братом Федышкой не избежать, а чем она закончится для него, Сёмка не знал.

— Я ведаю, воевода, про Малиновый овраг, — сказал Курдюк. — Бывал в тех местах. Там стоит изба старого бобыля.

— Добро, — сказал Хитрово. — Значит, ты и поведёшь своих людей и казаков берегом. А сейчас накормите вора и закройте покрепче. Если что не так, предам тебя, Филька, самой лютой смерти!

После ухода воеводы Курдюк подмигнул Сёмке и встряхнул Фильку за шиворот.

— Слышишь, казак, кажись, звенит. У вора всегда есть захоронка. Я бы её нашёл, да не хочу в грязных ремках шевыряться. Гони, Филька, золотой, и будет тебе жирная жратва и большая чарка вина!

В ответ послышался тихий дребезжащий смешок:

— Руки-то развяжите, ребята, как же я золотой выну?

Курдюк развязал верёвку и стал в оба глаза глядеть, откуда Филька вынет денежку. Однако ни он, ни Сёмка не заметили, как она появилась. Филька положил одну ладонь на другую, разнял — и вот он, золотой в пятьдесят копеек.

— Гуся хочу, — сказал Филька — Жареного с яблоками.

— Сейчас будет, — ответил Курдюк и, схватив золотой, вприпрыжку побежал на поварню.

Первой мыслью Сёмки, когда они остались одни, было пристукнуть вора до смерти, но, поразмыслив, он понял, что ни себя, ни Федышку этим не спасти. Курдюк знал дорогу к воровскому стану, а смерть Фильки объяснить было нельзя, и Хитрово тогда точно возьмёт казака на дыбу.

— Ты среди воров Федыку Ротова знаешь? — спросил Сёмка.

Филька пристально и изучающее на него посмотрел и усмехнулся.

— А ты кто сам-то будешь? Не его ли братан, что на Синбирске в казаках служит?

— Кто я — не твоё, сволочь, дело! — озлился Сёмка и ударил вора под душу. Филька скорчился и стал жадно хватать ртом воздух.

— Федыка у Лома в главных подручных ходит, а ведь я его к нему привёл, на свою голову. Как получил от атамана золотой на шапку, так Фильку знать не хочет. Страшный вор твой Федыка! На мне крови нет, а он да Лом в ней по горло!

Сёмка похолодел, он услышал о брате самое худшее и понял, что тому нет обратного пути к людям. Он и сам убил в недавнее время несколько человек, но это были басурмане, а они не в счёт. За каждую погубленную христианскую душу на страшном суде Федышке придётся давать ответ перед Богом, и участь его ужасна.

Хлопнула дверь, и вошёл Курдюк с корзиной в руке. Он был весел, улыбался, и Сёмку окатило хмельным духом.

— Вот тебе, Филька, обед, как на масленицу. Блины гречневые, пирог с капустой, щука, кисель, — сказал Курдюк. — Я слово держу, вот тебе кувшин с вином, правда, я отхлебнул чуток.

Филька схватил кувшин, заглянул в него и скривился.

— Чуток... Половину выжрал!

Курдюк приблизился к Фильке, явно намереваясь его ударить, но тут дверь резко отворилась, и на пороге появился запыхавшийся от спешки парень.

— Поспешай, Сафроньч! — крикнул он. — Тебя воевода требует и тебя, казак, тоже!

— Сейчас будем, — ответил Курдюк и повернулся к Фильке.

— Лезь в конуру, пададь! Ужо вернусь, тогда и потолкуем на дыбе! — Филька схватил корзину с едой, кувшин и шмыгнул за решётку. Курдюк запер за ним дверь, подошёл к бабье и, припав к ней лицом, напилсь воды. — Пошли, Сёмка! — сказал он и погрозил на прощанье Фильке кулаком. — Ужо я до тебя доберусь!

Возле дома владельца Усолья былолюдно. Здесь находились боевые люди хозяина, приказчики и казаки Сёмки Ротова. На крыльце стояли Светешников и Хитрово. Когда подошли Курдюк и Сёмка, Светешников оглядел всех и сказал:

— Пожалуй, все в сборе, Богдан Матвеевич.

Воевода подошёл к краю крыльца, и люди стихли.

— С этого часа вы все взяты под моё начало, — строго сказал Хитрово. — От меня вам и милость, и казнь. Посему никому со двора не уходить, сейчас пойдёте на поварню, и всех накормят. О выходе скажет десятник Курдюк, он вас поведёт, и его слово — это моё слово. Крепко запомните всё, что я сказал.

Люди зашевелились, зашущукались. Они не ведали, что им придётся делать, хотя все понимали, что с пищалями и саблями посылают не сено косить.

— Зачем идём? — выкрикнули из толпы.

— Про то вам Курдюк в своё время скажет. Идите туда, куда должны идти. Кто сомневается, может остаться. Есть такие? — желающих остаться не было, и Курдюк повёл людей к поварне, куда они всегда шли с большой охотой. Пошли туда и казаки, а Сёмку окликнул воевода. — Не в обиде, полусотник, что подначалил тебя десятнику? Так он здесь всё знает, каждый куст. Но ты держи своих людей близ себя. Не по нраву мне здешние боевые люди, рожи у всех воровские, посему будь настороже, чтоб не ударили в спину. Особо гляди, чтоб никто не убежал вперёд оповестить Лома, — Сёмка пошёл вслед за своими людьми, а Хитрово обратился к Светешникову: — Пора мне на пристань, Семён Надеевич, нужно торопиться с выходом, чтоб поспеть до того Малинового оврага как раз на рассвете.

— С Богом, Богдан Матвеевич! Я на струг определил самого знающего кормщика Андриюшку Корешкова, он Волгу вдоль и поперёк ведаёт.

На струге воеводу ждали. Стрельцы сидели за вёслами, оба кормщика, синбирский и усольский, были на месте. Хитрово ступил на струг, и тотчас пристанские караульщики оттолкнули его от причальных брёвен. Гребцы навалились на вёсла, и скоро судно подхватила волжская волна. Уже смеркалось, с разогревшегося за день берега дул лёгкий ветерок, на середине Волги он стал заметно сильнее, и над стругом распростёрлась холстина прямого паруса. Течение и ветер легко понесли струг мимо дымящихся варниц, бобылей слободки и усадьбы Светешникова, которая была не видна за большими забжевшими в Волгу деревьями.

Хитрово посмотрел в эту сторону обеспокоенно, ушли ли ратные люди на ватагу Лома вовремя, а если ушли, то всё ли у них ладно. Воевода предупредил Сёмку Ротова не по пустой подозрительности. Он хорошо знал, что здесь, в Диком поле, добрые люди встречаются редко, всё это сплошь беглые, у каждого из них свой воровской опыт, и в боевые люди к Светешникову они подрядились только из-за того, что жить воровством гораздо опаснее, чем караулить хозяйское добро в тепле и всегда сытым. Как они поведут себя при встрече с ватажной артелью, Хитрово не знал, но вполне мог предположить, что драться с ворами станут немногие, некоторые просто упадут на землю, притворившись, что они ранены или убиты, но могут быть и такие, что замыслили чёрное дело — ударить казакам, которых всего-то десяток, в спину.

Стараясь отвлечься от мрачных мыслей, Богдан Матвеевич встал с лавки и подошёл к борту струга. Над Волгой стояла полная луна, настолько большая, что её край не был чётко очерчен чернотой, и луна как бы растекалась вокруг себя ослепительно белым и подрагивающим, как студень, веществом. След от луны на всхолмленной воде был широкой накатанной до льдистых отсветов и высверков дорогой, в которой матово светилось расплывшееся отражение царицы ночного неба.

Стрельцам полная луна бередила разум, они не спали и слушали рассказы записного баюна, старого казака, известного Хитрово ещё по зимовой службе в Карсуне, о том, что больше всего бередит душу русского — о нечаянном счастье, выпавшем на долю Ивана-дурака, которое вполне может свалиться на каждого, кто верит в эту нехитрую сказку.

Полная луна сияла и над воровским станом в Малиновом овраге. Ближе к рассвету она перекадилась по небу до того места, откуда её яркий неживой свет упал прямо на лицо Федьки Ротова, который спал, разметавши руки, на лисьей шубе, подложив под голову собою шапку, взятую им с дувана после удачного набега на струг персидских купцов. Свет луны окрасил лицо Федьки в бледно-мертвенный цвет, его светлая

борода серебрилась, будто покрытая инеем, но спалось ему нехорошо, он скрипел зубами, ворочался и временами вскрикивал. Снилось Фёдке то, что и должно сниться в тягостную ночь — человеческая кровь, которой он пролил немало за своё воровское лето. Однако последний сон, который Фёдка увидел в эту ночь, был ещё страшнее, он увидел, как убивает родного брата Сёмку, и кровь свищет брызгами из его разорванного горла. Издав сдавленный вопль, Фёдка проснулся и возрадовался, никакого Сёмки и близко не было, но льдистый холодок в сердце остался, неужели, подумалось ему, этот сон сбудется, и он, прошептав с мольбой имя Божье, трижды перекрестился.

От Волги на воровской стан напознал предутренний туман, с высокого осокоря, под которым лежал Фёдка, на него просыпались тяжёлые капли росы, он поднялся на ноги и огляделся. Ватажники спали, и только на берегу виднелась фигура сидевшего на комле, вынесенном из Волги, человека. Это был Лом, ему не спалось в полночную ночь, и он коротал время, глядя на текучую воду и слушая звуки предутренней реки.

Фёдка подошел к Лому и встал рядом.

— Что не спишь? — просил атаман. — Не захворал ли часом?

— Занудило меня. Туга навалилась, стало мерещиться не знаю что.

— Эх, Фёдка! — тяжело вздохнул Лом. — Разве ты не знаешь, что день меркнет ночью, а человек печалью. Стоит закручиниться, и силы тебя покинут. Я такое видывал. Бывает, год-два — орёл казак, потом задумается и пропал. Тут его или сабля найдёт, или хворь. А ты о чём тужишь?

— Я об одном думаю, долго ли мне жить осталось такой жизнью?

— Добро, Фёдка, что ты правду молвил. Я ждал, соврёшь. Твоя туга мне ведома. И мне по первости иногда вольная жизнь клином вставала. И всё отчего? Да всё оттого, что и у тебя. Жил ты, Фёдка, до этого лета, как к нам пришёл, в крепости от отца с матерью, от начальных людей, привык каждый раз ждать, что тебя куда-то пошлют, что-то прикажут, а у нас в артели полная воля каждому, у нас ничего нет, кроме ватажного братства, никаких уз. Мы все равны своей вольностью и товариществом.

— И долго ты, Лом, мучился? — помолчав, спросил Фёдка. — Я ведь не пень, чтобы не вспомнить отца с матерью. Вот брат Сёмка седни привиделся в крови весь... К чему это?

— Эх, Фёдка! — воскликнул атаман. — Ярыжник должен верить не в сон и чох, а в свой нож острый, тогда ему завсегда удача будет. А кровь? Такая ли она для нас невидаль! А я недолго мучился твоей печалью, взлетел птицей на купеческий струг, схватил приказчика за бороду и отсёк ему напрочь голову! Вот и ты сегодня соверши это; Филька вот только где-то запропал, нет от него весточки из Усолья.

Резко скрипнула ржавыми петлями дверь, и Фёдка, чего с ним не случалось ранее, испуганно оглянулся. На крыльцо своей избы вышел ватажный старинушка Степан, широко зевнул и клацнул, как пёс, челюстями, огляделся по сторонам и, подтянув сползшие с тощего зада штаны, пошёл в кусты.

— Запомни, Фёдка, наш разговор, — сказал Лом. — Крепко запомни! А я за тобой приглядывать стану.

Из кустов вышел Степан, направился к воде, умылся и спросил Лома:

— Фильки всё нет?

— Загулял, видно, где-то, — ответил атаман. — С него станет.

— Седни три дня, как он ушёл, — задумчиво произнёс Степан. — А что если его изловили и сейчас щекочут огоньком да палками?

— Ране у него не бывало промашек, но всё случается, — сказал Лом. — Подождём день, если Филька не явится, пошлём кого-нибудь в Усолье, вот хотя бы Фёдку.

— Не дело это, ватаман, — возразил Степан. — Вам нужно уходить отсель. Вот развиднеется совсем, и уходите. Филька под палками всё расскажет, и быть беде.

— Ладно, — сказал Лом. — Ты хоть и стар, да башка у тебя светлая. Фёдка, поднимай людей!

Ватажники спали кто где, одни под кустами и деревьями, другие в амбаре и сарае, места на стане хватало всем. Просыпались они неохотно, ворчали на Фёдку, и почти все засыпали опять, когда он от них отходил. Атаман всё это видел и громко крикнул:

— Кто последний поднимется, того пожалую затрещиной! — ватажники сразу зашевелились, они знали тяжёлую руку своего предводителя. — Ты, Степан, пригляди за Фёдкой, — сказал Лом.

— Что так?

— Задумываться стал парень. Вот только сказал, что кровь его душит.

— Знаемое дело, — кивнул Степан. — Из мужика никогда ватажника не выйдет. Чтобы стать настоящим ватажником, как ты или я, нужно родиться от гулевых отца с матерью.

— Беда, если Фильку поймали. Большая помеха нашей гулевой путине, — сказал Лом. — Осень для нас самая страда, сейчас струги косяком попрут из Астрахани, бери

что хошь, не зевай.

— Не горюй, ватаман! Отойдёшь отсель вёрст на десять. А я тем временем схожу в Усолье, всё проведу.

Ватажники один за другим стали выходить на берег, забредали по колено в воду, умывались и подставляли мокрые бороды солнцу, которое всходило над левым берегом Волги.

— Ты, Влас, вычерпай воду из лодки! — велел атаман. — Остальным пройтись вокруг и собрать всё, что разбросали. Сей же час мы отсель уходим!

Гулевых людей приказ Лома удивил, они привыкли с утра на полный день наедаться до отвала.

— Не дело, атаман, на пустое брюхо за вёсла садиться! — зашумели ватажники.

— Сам знаю, что не дело, — сказал Лом. — Но нет часа здесь оставаться. Уйдём отсель, и жрите, сколько влезет!

Ватажники поняли, что атаман говорит не пустое, и быстро начали собираться, увязывали добычу в узлы, прячась друг от друга, доставали свои захоронки с деньгами, засыпали и заваливали ветками кострища, за этим строго следил Степан, ведь ему в случае прихода государевых людей придётся отвечать, посему промашки быть не должно.

Все уже собрались и ждали знака, чтоб садиться в лодку, как залаяла и стала злобно биться на цепи собака подле избы. Лом тревожно поглядел на Степана, а тот предупреждающе замахал рукой, чтоб не шумели и стояли молча. Собака затихла, и ватажники перевели дух.

— Все готовы? — спросил атаман. И тут послышался шум, будто верх береговой горы подломился и покатился вниз. Собака опять всполошилась и начала громко лаять.

— Что это? — спросил Лом, обращаясь к Степану, но того уже не было рядом. Ватажники стояли, сжимая в руках оружие, и ждали, что велит их атаман.

Опасения Хитрово относительно возможной измены кого-нибудь из боевых людей десятника Курдюка и приказчиков, к счастью, не оправдались. Весь путь до Малинового оврага Сёмка настороженно за ними приглядывал, держал казаков близ себя, готовый ко всякой неожиданности.

Полная луна облегчала путь отряду, вокруг было светло, и первые вёрст пять люди прошли бойко и скоро, переговариваясь между собой, порой довольно громко, так что Курдюк, шедший впереди усольского ополчения, останавливал движение и требовал прекратить шум. Однако скоро говоруньи сами утихомирились, начался крутой спуск в овраг, по дну которого текла узкая речка, оказавшаяся неожиданно глубокой, затем начался подъём в гору по сыпучему песку и скользкой глине. Один ратник оступился и покатился вниз, пришлось дожидаться, пока он влезет на верх оврага со второго раза.

Через две версты путь отряду пересёк другой овраг, такой же крутой и глубокий, как первый, и здесь случилась потеря, соляной приказчик сверзился с половины склона оврага и сильно расшибся. Идти дальше он не мог, сильно повредил ногу, скрипел зубами, стонал и потел от боли.

— Сиди здесь! — сказал Курдюк. — Навязали на мою голову слабосилков, теперь с тобой мучайся. Сиди здесь, пойдём обратно, захватим.

— Ты что, Сафроньч! — испуганно вскричал приказчик. — Я же здесь не доживу до утра. Кругом волки!

— Нужен ты волкам, — ответил Курдюк. — Сейчас самая пора им сытыми быть. А пищаль тебе на что?

Не обращая внимания на стоны и жалобы приказчика, десятник повёл людей дальше. Потеря приказчика была не зряшной, все поняли, что нужно беречься, а то окажешься в ночи один, и будешь выглядывать, из-за какого куста выпрыгнет на тебя волк или кикимора.

Сёмка со своими казаками шёл сзади отряда. Привычные ездить на лошадях, они восприняли пеший поход как незаслуженную кару и поначалу ворчали, но вскоре утомились и обречённо замолчали. Выход у них был только один — идти вперёд, не обращая внимания на свинцовую тяжесть в ногах и горячий пот, заливающий глаза.

Сёмка шёл, погружённый в ожидание теперь уже неизбежной встречи с братом, которой он смертельно боялся. Он не жалел Федьку, ставшего помехой ему в жизни, особенного после того, как стал полусотником. Прежние горячие чувства к Федьке остыли. Сёмка думал о нём с отчуждённостью как о недруге, и лишь временами его охватывала жалость, но не к брату, а к себе. Федька не только свою душу убийствами загубил, иногда думалось Сёмке, его смертный грех на мне камнем виснет. Не мог подале убежать, на Дон, в Астрахань, так нет, пристал к первым встречным ворах близ Синбирска. Теперь всем известно о его кровавых проделках, и кто ни встретит Сёмку — у него сразу на уме: вот он брат Федьки-убийца.

Из тяжких размышлений Сёмку вывел голос Курдюка, который собрал вокруг

себя всех людей и объявил, что до воровского стана осталось не более полутысячи саженей, и приказал всем отдыхать. Усольские ополченцы и казаки попадали на землю, отдых им был нужен, многих многовёрстый переход так вымотал, что они едва дышали. Люди собирались в спешке, воды не взяли, и всех мучила жажда. Сёмка уткнулся лицом в широкий травяной лист и жадно слизывал с него росу, то же делали и другие.

Конец отдыха указало солнце, оно начало всплывать над Волгой, как охваченный пламенем струг, и Курдюк велел всем подниматься и проверить оружие. Сёмка глянул на своих казаков, те готовились к бою молчаливо и сосредоточенно. Достав порох, палку и пули, они снаряжали пищали, проверяли, ладно ли сидит на ногах обувь, затем все стали молиться теми молитвами, которыми молились их отцы перед началом сражения.

По знаку Курдюка все двинулись к берегу Волги. Необстрелянные ополченцы не особо спешили, и казаки оказались впереди всех. Сёмка не обратил на это внимания, а Курдюк заметил нерадение своих людей и кинулся к ним с грозным видом, но это мало их расшевелило.

— Как идти за жалованием, так вприпрыжку бегут, — сказал он Ротову. — А на воров надо гнать палкой.

— Может, там пусто, в Малиновом овраге? — с надеждой спросил Сёмка.

— Вот выйдем на край верхнего берега и увидим.

Курдюк велел всем стоять на месте и пошел с Сёмкой вперёд. Продравшись через заросли, они в испуге отшатнулись от крутого обрыва и перевели дух. Внизу был виден мыс, на котором среди деревьев находилась изба, рядом с ней ещё какие-то срубы, наполовину вытасченная из воды большая лодка, вокруг неё стояли люди.

— Все здесь, — довольно сказал Курдюк. — Не зря мы ночь шли. А где же струг?

— Вот он, — сказал Сёмка. — За ближним островом.

— Точно, — подтвердил Курдюк. — Теперь и я вижу. Пойдём вниз прямо здесь.

— Тут же сажени полторы обрыва, — возразил Сёмка. — Не всяк решится прыгнуть.

— Ты с казаками иди вперёд, — сказал Курдюк и ощерился. — А я своих погоню сзади. Они у меня не то что прыгнут, а на крыльях полетят.

Казаки прыгнули, не раздумывая, сзади их слышались вскрики и сдавленная ругань, это десятник сталкивал вниз своих боевых людей и приказчиков. Большую часть пути вниз казаки промчались по песчаной осыпи юзом до первых росших на склоне кустов, чем произвели большой шум, сильно встревоживший воров, изготавившихся к отплытию. Они переполошились и стали метаться по берегу, а казаки тем временем продрались сквозь кусты к дому Степана, вскинули пищали и ударили дружным залпом по ярыжным людям. Несколько ватажников упали на землю, другие бросились к лодке и начали сталкивать её в воду, а остальные, покрепче духом, стали отвечать казакам пищальными выстрелами. Сёмкины люди спрятались за деревья, снарядили свои пищали и вновь ударили по ворам.

Через малое время Сёмка выглянул из своего укрытия и увидел, что лодка отошла от берега с немногими ярыжными людьми, а остальные вору бегут в разные стороны, ища спасения. Среди них был Федька, и Сёмка опрометью кинулся за ним следом. Погоня была недолгой, отбежав за Степанову избу, Федька встал и спросил Сёмку:

— Что гонишься за мной, брат? — Сёмка не ответил и стал медленно поднимать пищаль к плечу. Они были одни, с берега доносились крики и железный лязг оружия сражающихся людей. — Стреляй, Сёмка! — сказал Федька. — Что медлишь? Если помирать, так лучше от твоей руки, чем на рели, — руки у Сёмки задрожали, и он опустил пищаль. Федьку это обнадежило. — Отпусти, брат! — хрипло сказал он. — Уйду отсель навсегда, в Персию или Туретчину, больше обо мне слуху не будет.

— А как же я? — спросил Сёмка. — Ты уйдёшь, а меня спросят, где брат, почему его не взял. Меня за тебя дьяк Кунаков уже на дыбу подвешивал, огонь к ногам подгребал. Нельзя мне отпускать тебя, Федька!

— Тогда что медлишь, убей! Или лучше дай мне пищаль, я сам себя порешу, чтоб не было на тебе брагоубийства, — Сёмка задумался, Федька предложил ему выход из тупика, но можно ли ему верить? Он приподнял пищаль и поставил опять на землю, прикладом к ноге. — Всем святым клянусь, брат! — горячо заговорил Федька, упав на колени. — Зачем тебе о мою кровь мараться? Ведь я тогда буду являться к тебе всю твою жизнь. А тебе жить надо! Тебя невеста ждёт! Дай пищаль! — слова брата сумраком окутали голову Сёмки, и он кинул пищаль Федьке. Тот её подхватил на лету и поставил рядом с собой. — Я сейчас, Сёмка, — сказал Федька. — Ты отвернись. Негоже тебе видеть, как я себя убую.

Сёмка подошёл к молодому осокору, обнял его и закрыл глаза. Резко ударил выстрел. Сёмка обернулся и увидел, что недалеко от него стоит Курдюк, дуло его пищали дымилось.

— Ты что, парень, сдурел! — закричал Курдюк. — Он сейчас бы тебя убил!

Сёмка посмотрел в ту сторону, где находился брат. Фёдка лежал на земле, не выпустив из рук пицаль, пороховая затравка дымилась. Вдруг раздался выстрел, и пуля, вспахивая землю, прошла возле ног Курдюка.

— Кто это был? — спросил слегка побледневший десятник.

— Брат мой, Фёдка, — еле слышно ответил Сёмка.

— Ладно. Я пойду на берег, а ты долго здесь не будь. Струг на подходе.

— Знаешь, Сафроныч, — сказал Сёмка. — Сейчас ты спас мою душу от смертного греха.

Фёдка лежал, опрокинувшись навзничь, кафтан на груди, куда попала пуля, был пропитан начинавшей густеть кровью, лицо его было бледно, в волосах уже копошились мураши. Сёмка взял, разъяв кулак брата, свою пицаль и сел рядом на землю. В душе он ощущал пустоту, в голове — безмыслие, будто высквозило его целиком от всего, чем он жил последние полгода. Не стало брата-убийца, и нет тягостной обузы, мешавшей жить полной жизнью.

Подшли казаки и встали возле Фёдки, сняв шапки. Они были с ним односвободчане, жили бок о бок, и многие из них подумали о том, насколько каверзна людская судьба — одного баюкает и нежит, а другого терзает и калечит.

— Тебя, Сёмка, воевода спрашивал.

Ротов встал с земли, посмотрел на брата и сказал:

— Похоронить бы надо Фёдку по-людски.

— Иди, Сёмка, — сказали казаки. — Всё делаем.

От Надеиного Усолья струг Хитрово до полуночи шёл под парусом, потом ветер начал слабеть, стрельцы сели за вёсла и гребли до рассвета почти без отдыха, пока не достигли острова, недалеко от которого располагался воровской стан. Хитрово тотчас выслал разведку, стрельцы всё высмотрели и, вернувшись, доложили воеводе, что вору на месте, к берегу причалена лодка и близ неё сидят два человека, судя по всему, люди Лома.

Поразмыслив, Богдан Матвеевич решил не лезть на рожон, а дожидаться Курдюка с его людьми и ударить на воров с обеих сторон, чтобы тем было некуда деться. Так оно и вышло, казаки свалились на воровской стан с горы; услышав залп пицалей, Хитрово велел стрельцам грести что есть силы к берегу, а сам пошёл на нос струга к пицали. Пушкарь уже грел на углях железный прут, пицаль была снаряжена к бою, и Хитрово встал за неё, развернул направо и налево, затем направил её по ходу струга.

Воеводе было хорошо видно, как казаки схватились с ворами, которые вздумали сопротивляться, и то, как другие во главе с вором громадного роста отпихнули лодку от берега и решили уйти рекой, не замечая, что на них идёт струг. Пока вору разбирали вёсла, вставляли их в ключины, Хитрово был уже в десяти саженьях.

— Жги! — крикнул, направив пицаль на лодку, воевода.

Пушкарь запалил порох, пицаль выстрелила, выметнув на воров четыре фунта мелко нарубленного свинца, и воров смело с лодки дробовым смерчем. Хитрово велел остановить струг и выловить из воды тех воров, что были ещё живы. Стрельцы достали четырёх человек, и среди них был тяжело раненный в левую руку и живот атаман. Остальные вору пошли камнем на дно.

Схватка на берегу тоже закончилась. Трое воров были убиты, а двое бросили сабли и ушли, сдаваясь, ничком на землю.

— Все ли ратные люди живы? — спросил Хитрово, сойдя со струга.

— Двое мертвы, — ответил Курдюк. — Есть и пораненные.

— Не зрю полусотника Ротова, — сказал он. — Курдюк! Отыщи его немедленно!

Со струга на берег вынесли искалеченных воров и положили на траву возле огромного осокоря, туда же поместили и сдавшихся на милость воеводе ярыжных людей.

— Берите топоры! — приказал Хитрово стрельцам. — Срубите с дерева все ветви, кроме двух, самых толстых, что растут в разные стороны.

Скоро на осокоре застучали несколько топоров, на землю посыпались листья и щепки, начали падать срубленные ветви.

— Сёмка жив, — сказал вернувшийся из поисков полусотника Курдюк. — Погнался за братом, тот чуть было его не убил, но я поспел вовремя.

— Где Фёдка? — спросил Хитрово. — Волоки его сюда.

— Вор мёртв, — ответил Курдюк. — А Сёмка подле него, печалится.

— Собаке собачья смерть, — строго молвил воевода. — Который тут Лом? — вору, торопясь, указали на атамана. Хитрово подошёл к нему и посмотрел в лицо, но Лом взгляда не отвёл, хотя и скрипел зубами, сдерживая готовый вырваться стон. — Знаешь, какой тебе будет учинён спрос? — спросил Богдан Матвеевич.

— Кабы не рана, ушёл бы я от тебя, воевода, — сказал Лом. — Щипцов и огня я не страшусь, жалею, что не сгинул сразу. И зачем я из воды вынырнул, ушёл бы камнем

на дно и век бы тебя не видел.

— Всякий человек за жизнь цепляется, и ты, как все, — сказал Хитрово. — Но я тебя и твоих дружка мучить не буду, не люблю этого.

— Что ты удумал, воевода? — настороженно спросил Лом, поглядывая на усольских приказчиков, которые сидели по обе стороны от ствола дерева на двух оставленных ветвях с верёвками в руках.

— А чем плохи рели? — сказал Хитрово и махнул рукой.

Стрельцы подхватили атамана и поволокли к осокорю. Приказчик сбросил верёвку по обе стороны ветви, за одну сторону был ухвачен петлёй за шею Лом, другую сторону верёвки стрельцы потянули на себя и вознесли над землей атамана, наводившего ужас на торговых людей не один год. Лом задёргался всем телом, простёр руки вверх, ухватился за верёвку и попытался ослабить петлю, но силы его оставили, и он, издав kloкочущий хрип, повис тряпичною куклой.

Следом за атаманом начали вешать других воров по два сразу на обеих ветвях. Некоторые, как Влас, сами шли к месту своей смерти, другие пытались яростно сопротивляться, но это никому не помогло. Скоро на осокоре висели все пойманные воры.

Казнь Сёмку не волновала, он сам был только что на волосок от гибели, и только сейчас это понял.

— Что, Сёмка, кончилась твоя мука? — сказал Богдан Матвеевич. — Бери казаков и уйми эту орду.

Хитрово указал на усольских боевых людей и приказчиков, которые начали грабёж воровского стана. Они сбили замок на амбаре и тащили оттуда запасы вагажной артели: меха, сукна, оружие, стопы кож, посуду, связки солёной рыбы, разную еду и пытались спрятать всё, до удобного часа, по кустам и ямам.

Казаки были рядом, Сёмка велел им зарядить пищали и выстрелить поверх голов мародёров, что сразу охладило их пыл.

— Возьми свою сволочь, — сказал Хитрово десятнику Курдюку. — И скорым шагом, не оглядываясь, иди в Усолье, пока я не повесил тебя рядом с Ломом.

Усольское воинство удалилось, Хитрово велел собрать всё ценное, что имелось на воровском стане, и погрузить на струг. Когда закончили работу, было уже заплотень, и воевода велел всем отдыхать и набираться сил для обратного пути на Синбирскую гору.

Вечером казаки и стрельцы собрались на берегу для погрузки на струги, и Хитрово велел Сёмке поджечь воровское становище. Казаки обложили стены избы, амбара и других построек сухим хворостом, подожгли его, и синбиряне отходили от берега при свете пожара.

Вслед стругу с воинскими людьми смотрел воровской старинушка Степан, который не первый раз спасся от нашествия государевых людей в тайном схроне, в который он юркнул, когда с берегового обрыва на воровской стан обрушились Сёмкины казаки. Схрон он устроил давным-давно, несколько десятков лет назад, за своим домом под собачьей конурой, где выкопал глубокую яму, оплёл в ней стены ивовыми прутьями, пол застелил жердями и всегда держал там запасы еды и воды на несколько дней. Это укрытие не однажды спасало Степана от неминуемой гибели во время прихода сюда государевых людей и набегов степных жителей. О нём он никому никогда не говорил, поэтому и дожил до седых волос, ведя воровскую жизнь.

Степан вылез из схрона, закрыв его за собой собачьей конурой, и побежал прочь от горящего дома к воде. Выскочив из кустов, он остановился, увидев дерево, на котором висели Лом и его побратимы.

— Эх, атаман! — вздохнул Степан. — Были у тебя сила и гулевое счастье, да, видать, кончились.

С шумом и треском обрушилась кровля дома, огонь от жилища перекинулся на деревья, к ногам Степана упала горящая головёшка и подожгла траву. Он затоптал огонь и побежал к небольшой будке, где у него хранились необходимые в хозяйстве вещи. Назад к дереву Степан вернулся с топором и начал ожесточенно рубить его в полусажени от земли.

— Погоди, Лом! Погоди, — приговаривал он время от времени. — Погоди чуток...

За спиной Степана уже запылали кусты и деревья, когда осокорь вместе с повешенными на нём людьми рухнул в Волгу. Степан бросил топор и, вынув нож, кинулся в воду. Первым он освободил от верёвки Лома и оттолкнул тело на глубину.

— Плыви, атаман! Погулял ты по Волге-матушке немало, нечего с ней расставаться, она тебя примет.

Освобождённых от верёвок, вслед за Ломом, мертвецов подхватила Волга и повлекла их, баюкая на своих волнах, неведомо куда.

## Эпилог

– 1 –

С трудом дойдя против ветра и течения реки до Надеино Усолья, Хитрово решил не тащиться дальше на бурлацкой бечеве, и, взяв Сёмку и двух казаков, Арбугинскими полями и через Сенгилеевские горы отправился в Синбирск посуху. На пути Богдан Матвеевич и его спутники не встретили ни одного людского жилища; благодатная земля, обильная водными источниками и красным лесом, была пуста, её ещё ни разу не касался плуг пахаря, никто не скашивал роскошный травяной покров, не вспугивал с озёр птиц, и звери в этих краях не слышали пищальных выстрелов охотников. Но Хитрово не особо радовали открывающиеся его взгляду природные богатства и красоты, он понимал, что это всё ещё долго будет лежать втуне, поскольку не было людей, готовых заселить эти пространства, и пройдёт ещё немало времени, пока в этих пределах затеплится жизнь.

Другие заботы занимали окольного, в мыслях он был уже на Москве, до открытия земского собора оставались считанные дни, и, прибыв в Синбирск, Хитрово немедля собрался и в сопровождении Васятки отправился в столицу. Дьяк Кунаков, оставленный синбирским воеводой на время, провожал окольного до речки Сельдь. Дальнейший путь Хитрово лежал через Ардатов на Владимир и Москву.

После участия в Земском соборе, известном тем, что на нём было принято Уложение, ряд статей которого окончательно закрепили крепостное право в России, Хитрово испросил у государя длительный отпуск и несколько месяцев посвятил устройству своих вотчин, число которых постоянно росло: жаловал окольного царь, и он сам вёл куплю-продажу своих сел и деревень с неизменным прибытком своей казны. В июле 1649 года Богдан Матвеевич был поставлен во главе Челобитного приказа, затем в июле 1651 года ему был доверен один из важнейших приказов — Земский, ведавший делами стольного града, ещё не до конца успокоенного после кровавых событий Соляного бунта.

В Земском приказе, размещавшемся возле Московского кремля в громадной избе, где рядом с крыльцом и на земляной крыше стояли по две всегда готовые к бою пушки, решались самые важные вопросы городской жизни: надзор за мерами веса и объёма товаров, продаваемых на московских торгах, уплата с них пошлин, запись всех домов и земельных участков, какие в Москве продаются и покупаются, сбор налогов на жильё, воротные, мостовые, крепостные деньги, надзор за общественным порядком на улицах.

С именем Хитрово связано устройство Новой Немецкой слободы. Иностранцы проживали в Москве издавна. При Василии III они были поселены отдельно от русских в Замоскворечье, где им, в отличие от москвичей, разрешалось пить вино, поэтому это место называлось Налевки. В Смуту иностранцы расселились по всему городу. «Московиты относятся терпимо и ведут сношения с представителями всех наций и религий, как-то: с лютеранами, кальвинистами, армянами, персиянами и турками», — отмечал Олеарий в своём «Путешествии в Московию». Добавим, что русские нетерпимо относились к иудеям и католикам. Наиболее благожелательными были отношения с лютеранами и кальвинистами, те имели в Белом городе две церкви, но в начале 1640-х годов произошло несколько событий, которые вызвали недовольство государя и патриарха.

Лютеране потеряли церковь из-за ссоры и драки женщин, споривших о первенстве. Немецкие офицеры женились на купеческих служанках, а те, став жёнами капитанов и поручиков, уже не хотели сидеть ниже своих барынь, которым уступать своим бывшим служанкам показалось постыдным. Началась ссора, переросшая в драку. На беду мимо церкви проезжал патриарх. Он приказал сломать лютеранскую кирху, и какое-то время у лютеран церкви не было. Кальвинисты начали строить свой храм, но действовали без разрешения, и его сломали тоже.

Многие иностранцы, прижившись в Москве, стали носить русскую одежду, из чего произошла неприязнь. Патриарх, благословляя народ, вышел из собора. Все православные стали на колени, однако несколько человек остались стоять, поскольку они иностранцы. Сразу же вышел запрет иностранцам одеваться в русские платья. После этого немцам запретили носить русскую одежду.

Со временем начали поступать челобитные, что немцы, живущие в городе, купили самые лучшие и большие площади из приходских земель и лишили-де попов их доходов. Царь, чтобы не обострять положения с иностранцами, издал строгий приказ: «Кто из немцев хочет перекреститься по русскому обряду, тот пусть останется жить в городе, но кто отказывается поступить так, тот обязан в течение короткого времени

вместе с жилищем своим выбраться из города за Покровские ворота, в Кокуй...» Это место нарекли Новой Немецкой слободой. Здесь каждому по его личному состоянию выделялась земля. Ответственным за возведение новой слободы был назначен окольный Богдан Хитрово, видимо, государь учёл его предыдущую службу на строительстве Синбирска.

Земли для иноземцев, примерно на четыреста дворов, были отведены на берегу Яузы. Участки раздавались бесплатно. Во время этой работы Богдан Хитрово близко познакомился с иностранными специалистами, которые стали жить на Кокуе: оружейниками, мастерами пушечного дела, ювелирами, врачами. Он присматривался к обустроенному быту иноземцев, к их способности сообща решать важные вопросы жизни общины.

– 2 –

Царь Алексей Михайлович легко сходилась с людьми верующими, а если они ещё имели высокий духовный сан, то к их мнению он прислушивался с сугубым вниманием. Взойдя на царство, государь познакомился с игуменом Кожеозёрской пустыни Никоном (Никитой). Вскоре Никон становится настоятелем Ново-Спасского монастыря в Москве, где была родовая усыпальница Романовых. Царь и Никон стали часто встречаться, потому что Алексей Михайлович был из породы таких сердечных людей, которые не могут жить без дружбы, всей душой привязываются к людям, если они нравятся им по своему складу, — вот он и приказал новоиспечённому архимандриту Никону приезжать для беседы каждую пятницу во дворец. За короткое время Никон сделал стремительную карьеру: в 1652 году царь и окружающие его со слезами стали упрашивать Никона, уже Новгородского митрополита, не отказываться от патриаршего престола. Никон согласился, но с условием, если царь, бояре, священный собор и все православные будут слушаться Никона «яко начальника, пастыря и отца краснейшего». Требуемая клятва была дана.

Это было трудное для русского православия время. В 1649 году Иерусалимский патриарх, присмотревшись к нашим богослужебным обрядам, указал царю и патриарху на многие «новшества». Нужно было немедленно приводить всё в канонические рамки и тут-то и пошли разногласия, которые, в конце концов, привели к расколу. Никон, став патриархом, начал именовать себя «великим государем» и «собинным» другом царя. Это позволило ему провести церковную реформу быстро и решительно. Уверовав в свою силу, Никон почёл себя ровней царя и часто любил порассуждать о преимуществах церковных государей над земными владыками.

Тем временем царь Алексей Михайлович повзрослел, возмужал, и его чувства к «собинному» другу начали тускнеть, хотя тот возносился всё выше и выше. Он стал крупнейшим феодалом в стране, имел свой особый патриарший двор, мало-помалу Никон встал в центре не только церковного, но и государственного управления. Бояре в деловых отношениях с патриархом именовали себя перед ним, как перед царём, полуименем (например, в грамоте: «Великому государю святейшему Никону патриарху... Мишка Пронский с товарищами челом бьют...»). Сам Никон величал себя «великим государем», в грамотах писал своё имя рядом с царским.

Бывший мордовский крестьянин забыл, что всё его влияние основывается не на законе и не на обычае, а на единственно благоволении к нему Алексея Михайловича. Царь, в силу своего тишайшего характера, неизвестно сколько терпел бы его выходки, но помог случай.

Приезд иноземных послов, тем более государей, а Теймураз был царём Кахетии, вызвал в Москве оживление, как среди простого люда, так и среди знати. Власти не препятствовали этому, показывая многолюдство государства. На случай приёма гостей все те, кто находились в ближайшем от них окружении, получали дорогую одежду, драгоценные украшения из государевой казны. Каждому придворному было определено его место во время дипломатического приёма. За этим следил специально назначенный думский чин. Окольный Богдан Матвеевич Хитрово очищал путь царевичу; он это делал по известному обычаю, надевая палочными ударами тех, кто слишком высовывался из толпы; случилось, что попался ему под палку патриарший дворянин князь Мещерский. «Не дерись, Богдан Матвеевич! — закричал дворянин. — Ведь я не просто сюда пришёл, а с делом». — «Ты кто такой?» — спросил окольный. «Патриарший человек, с делом посланный», — отвечал дворянин. «Не чванься!» — закричал Хитрово и с этими словами ударил его в другой раз по лбу.

Дворянин побежал жаловаться к патриарху, и тот своею рукой написал царю, прося разыскать дело и наказать Хитрово. Алексей Михайлович ответил также собственноручной запиской, что велит сыскать и сам повидается с патриархом. Но события развивались по другому пути. Через несколько дней к патриарху пришёл князь Юрий

Ромадановский и от имени царя запретил ему называться «великим государем».

И тут Никон обнаружил превеликую гордыню. Он отслужил обедню в Успенском соборе, потом, после возвышенной проповеди, произнёс: «Лучше с сего времени не буду патриарх». Принесла мешок с простым монашеским платьем. Пока толпа отнимала мешок, Никон пошёл в ризницу и написал письмо царю: «Отхожу ради твоего гнева...» Во дворце встревожились. Послали переговорщиком князя Алексея Трубецкого, но Никон требовал, чтобы царь к нему пожаловал в келью. Трубецкой ушёл во дворец, Никон продолжал бузить, но враги патриарха не дремали. Они показывали царю его неправды, его грехи, его недостойность, что-де напрасно Никон старается внушить, будто удалился вследствие гонения несправедного. Никон увидел перед собой бездну, в которую его в одночасье столкнуло государево неблагоприятное положение. Начался сыск уже по Никонову делу: изъяли его бумаги, стали проверять траты, и много чего нашлось в обвинение.

1 апреля 1659 года Никону было объявлено, что он от патриаршества отказался и в дела церковные не имеет право вмешиваться. Собрали собор из своих архипастырей, но влез некий грамотей и доказал, что лишать Никона патриаршества вправе только другие православные патриархи. Срочно послали, снабдив деньгами, посыльных за ними, чтобы поспешали на собор.

А что наш герой, зачинщик всего этого церковного перетряса, Богдан Матвеевич Хитрово?.. О нём, если где и слышно, то только в устных и письменных речах Никона. Пишет Никон константинопольскому патриарху Паисию и обязательно начинает описывать свои беды с Хитрово, который прибил во дворе слугу патриаршего и остался без наказания. В рассуждениях Никона была своя логика: оттащала бы царь за промашку с патриаршим слугой Хитрово за бороду, и ничего бы не случилось. Не было бы указа о запрещении называться «великим государем», сысков, читки личных бумаг, соборов с требованием отречения. В глазах Никона Хитрово был первопричиной всех его бед.

Но вот приехали антиохийский и александрийский патриархи. Стали читать Никоновы отписки на вопросы собора. «...Оставил патриаршество вследствие государева гнева». — «Допросите, — прервал царь, — какой гнев и обида?» Никон: «На Хитрово не дал обороны, в церковь ходить перестал...» Патриархи: «Хотя Богдан Матвеевич зашиб твоего человека, то тебе можно было бы потерпеть и последовать Иоанну Милостливому, как он от раба терпел...» Тут послышался голос Хитрово, ободрённого словами патриархов. «Во время стола я царский чин исполнял, — начал Богдан Матвеевич. — В это время пришёл патриархов человек и учинил мятеж, и я его зашиб не знаячи...» Патриархи продолжали: «Когда Теймураз был у царского стола, то Никон послал человека своего, чтобы смуту учинить, а в законах написано, кто между царём учинит смуту, тот достоин смерти, а кто Никонова человека ударил, того Бог простит, потому что подобает так быть». При этих словах антиохийский патриарх встал и осенил Хитрово крестным знамением.

Никона сослали в Ферапонтов монастырь, но и оттуда он умудрился ещё раз дотянуться до Хитрово. К исполнению своей задумки он привлёк старца Флавиона и послал письмо, смысл которого заключался в том, что некий чёрный поп показывал: «Богдан Хитрой мне друг и говорил мне, чтоб я государя очаровал, чтоб государь любил больше всех его, Богдана, и жаловал, и я, помня государеву милость к себе, ему отказал, и он мне сказал: «Нишкни же!» — и я ему молвил: «Да у тебя литовка то умеет; здесь на Москве нет её сильнее». И Богдан говорил: «Это так, да лихо запросы велики, хочет, чтоб я на ней женился, и я бы взял её, да государь не велит».

Устроили сыск, дело было нешуточное в ведовстве, призвали в застенки всех этих чернокнижников и травников. Они сказали: «Вольно старцу Никону на нас клепать, он это затевать умеет» С тем и отступились, тем более, что из Ферапонтова монастыря доходили странные слухи о поведении Никона.

В то время как Никон объявлением великого государева дела на Хитрово хотел положить себе дорогу к возвращению из ссылки, про него самого объявилось великое государственное дело, давшее торжество Хитрово с товарищами и отягчившее участь заточника. Из Ферапонтова приехал архимандрит Иосиф и донёс: «Весною 1668 года были у Никона воры, донские казаки, я сам видел у него двух человек, и Никон говорил мне, что это донские казаки, и про других сказывал, что были у него в монашеском платье, говорили ему: «Нет ли у тебя какого утеснения: мы тебя отсюда опростаем».

От греха подальше Никона затворили в келье, приставив крепкий караул. В церковь на службу он ходил в сопровождении стрельцов. И вообще Никон сильно изменился. Много значения стал придавать еде, жаловался царю, что его плохо содержат, хотя всего у него было в избытке. Царь жаловал его деньгами, осётрами, именными пирогами, посылал собольи меха. И всё для того, чтобы смягчить безвыходное положение бывшего патриарха, который так и умер, не увидев Москвы.

## – 3 –

Церковная реформа вызвала в русском обществе глубочайший раскол. Явились пророки, возвещавшие о приходе сатаны и конце света.

«Понеже антихрист прииде ко вратам дворца, — писал вернувшийся из сибирской ссылки протопоп Аввакум, — и народилось выблядков его полная небесная...»

С душевным трепетом ступил в окаянный 1666 год и синбирский протопоп Никифор, знавший о предсказаниях Кирилла и о том, что на приход антихриста указывает число 666, упомянутое в «Откровении» Иоанна Богослова.

Немного лет прошло со дня счастливого 1648 года, когда он, молодой священник, стал служить в соборной церкви Живоначальной Троицы строящегося града Синбирска. Какие это были счастливые годы, наполненные смыслом ежедневного соприсутствия с Богом! Но явился Никон, затмил очи царю, встал с ним вровень, даже именовать себя стал Великим Государем, и вошел в русскую православную церковь разор и смятение.

Никифор вступил в новый год своей жизни с ощущением, что этот год будет его Голгофой, потому что решил стоять до конца за древнее благочестие, за истинную веру. Единственное, чего боялся поп, была его физическая слабость, он не знал, как достойно вынести мучения, которым его подвергнут. Не отречётся ли от своего решения после первого удара кнута, выдержит ли глад и холод, вынесет ли хоть малую толику страданий, которые уже испытали первые новомученики? Он искал опору в душе, сокрушался, что Бог не дал ему крепости в членах, а сотворил небольшим, мягкотелым, любящим покойную жизнь человеком. Но ещё он боялся, что на него крикнет какой-нибудь приезжий никонианский Пилат, и вздрогнет он от страха и онемееет от ужаса. Боялся он и за судьбу своих сыновей, которые служили с ним в храме. Их ведь тоже покарает антихрист Никон: сошлёт простыми иноками в дальний монастырь, а то и запечатает в подземную тюрьму.

Матушка протопопица уже два года как скончалась, похоронена возле церкви. И хорошо, что так, что не увидит она его близких страданий. Каждый день он проходит возле её могилки и целует деревянный крест. Часто сидит на скамеечке рядом, шепчет слова покаяния перед ней, горюет, что пережил её, голубку, дожид до лихолетья.

Старый друг Никифора диакон Ксенофонт отошёл от церкви, обмирщился. Как началась раскольничья замятня, ударился Ксенофонт в питье хмельное. Года два ещё служил, но как-то дыкнул на воеводу перегарищем, и тот, добрая душа, взял Ксенофонта в приказную избу, ибо грамотеем диакон был изрядным и языки местные знал.

Недавно пришёл Ксенофонт к протопопу вполпьяна, но рассуждал здраво. Сначала Никона всё поносил, не зная, что патриарх ждёт собора и суда над собой. Потом задал Никифору вопрос: почему нас называют раскольниками, мы ведь этот раскол не затевали? Греки, хохлы учёные, афонские старцы-сидни затеяли раскол, что-де русские молятся неправильно, а нам ведь и до их открытий хорошо было.

— Какая, скажи, разница — двугубую или трегубую аллилуйю петь? Двумя или тремя перстами креститься? Вот дурак безграмотный перевёл вместо «смертию смерть поправ» — «смертию смерть наступив», так почто об этой глупости извещать весь крещёный мир и драку устраивать? Ну, выпороли бы толмача, и вся недолга. Так нет, кому-то умствовать захотелось!

— Эх, Ксенофонтушка! — вздыхал отец Никифор.

— А я так мыслю, — загрохотал басом Ксенофонт, — что стала наша православная святая Русь поперёк дороги антихристу! Вот он и начал обходить её кругами, выбирая, в какой бок вцепиться. Теперь не оставит нас антихрист на веки вечные до второго пришествия! — диакон жалобно посмотрел на отца Никифора и молвил: — Я ведь поспрачаться с тобой, отче, пришёл. Ухожу с казаками на Низ, уломали меня они. Нам, говорят, как людям православным, свой пастырь нужен. Благослови, святой отец! — и Ксенофонт опустил перед протопопом на колени.

— На что благословить-то, Ксенофонтушка? Твои воровские казаки людей, как курей, режут! Ты, если хочешь, сам себя благослови. Вон церковь открыта. Иди и молись. Не мне тебя учить!

Диакон сморщился, заплакал пьяными слезами и сказал:

— Не обессудь, отец, а я благословлюсь чаркой медовухи!.. — достал из-за пазухи склянку и выпил одним духом. — Так-то оно лучше! Жди нас, Никифор! Придём с Дона с несметной силой!

Никифор проводил диакона, долго смотрел ему вслед, как тот, спотыкаясь, брёл по Смоленскому спуску к Волге, где у берега стояли казацкие струги и слышались раздольные песни. Он не осуждал Ксенофонта за крутую перемену в жизни, просто жалко было ещё одного талантливого русского человека, впавшего в пьяное язычество.

Протопоп хоть и жил уединяясь, но и до него доходили важные вести. Православные, отвергшие никонианство, стали объединяться, помогать друг другу, изредка приносили весточку, что случилось где-нибудь за тыщу вёрст. И ночами при мерцающем свете лампы к Никифору приходили качающимися призраками те, кто уже пострадал за веру.

...Костромской протопоп Даниил, расстриженный в церкви посреди народа в Астрахани, — в земляной тюрьме заморили; муромского протопопа Логина сослали в Муром, где он и погиб в чумной мор; Гавриле — священнику в Нижнем — голову отсекали; протопопа Аввакума сослали в Даурию, где много мучили, вернули и вновь сослали на Мезень. «Ныне ревнители сожигаются огнём своей волей...»

Протопоп Никифор забывается, и ему снится, как к нему в комнату с шумом и угрозами врывается толпа пёстрообразно одетых людей. Впереди всех два уродца в патриарших одеждах и рогатых шапках, рядом с ними стрельцы, воевода Дашков.

— Хватайте! Стригите прямо здесь!..

Отец Никифор в ужасе хватается руками за голову и просыпается. В окне светит утреннее солнце, а с улицы его кто-то зовёт.

Вернулся из дальней поездки духовный сын протопопа купец Колокольников, зашёл поделиться новостями. А известия были удивительные. Наконец-то в Москве собирается продолжить свою работу засевавший ещё в прошлом году церковный собор, решавший судьбу Никона. Важная новость была в том, что к собору приведут самых отъявленных раскольников, чтобы низвергнуть их из лоно православия и объявить анафему.

Долго утрясался вопрос с патриархами, которых на востоке под турками было ажно четверо. Никакой реальной власти эти патриархи не имели, но высоко ставились в Москве как потомки вселенского константинопольского православия. По этой причине они довольно сильно чванились перед русскими духовными пастырями и свою учёность считали непререкаемой. По случаю войны в Европе они ехали в Москву через Персию и Астрахань, поднимаясь по Волге.

11 марта 1666 года царь Алексей Михайлович писал астраханскому архиепископу Иосифу: «Как патриархи в Астрахань приедут, то ты бы ехал из Астрахани в Москву вместе с ними и держал честь и бережение; если они начнут тебя спрашивать, для каких дел вызваны в Москву, то отвечай, что Астрахань далеко, поэтому не знаешь... Думаешь, что велено быть в Москве по поводу ухода бывшего патриарха Никона и других великих церковных дел. Своим людям накажи накрепко, чтобы они с патриаршими людьми не говорили и были осторожны...»

Конечно, патриархи Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский хорошо знали, зачем они едут в Москву и что от них требуется. Знали и другое, зачем главным образом и ехали, что будут осыпаны золотом и соболями за поддержку позиции Алексея Михайловича в весьма скверном внутрицерковном деле.

Издержек для дорогих гостей не щадили: под патриархами и свитой было 500 лошадей. Но скоро царю дали знать, что патриархи везут с собой наборщика печатного двора Ивана Лаврентьева, который был сослан на Терек за латинское воровское согласие, а также захватили с собой грамотея, писавшего воровские грамотки воровским казакам, разграбившим царский струг. Царь написал, чтобы воров в Москву не возили, а отдали воеводам.

В Синбирск патриархи прибыли, когда начинался ледостав, и со стругов надо было пересаживаться в сани. Это вызвало недолгую задержку патриархов в городе, которая и привела к губельным для протопопа Никифора последствиям.

За несколько дней до их отъезда к протопопу домой пришёл воевода Иван Иванович Дашков. Зайдя в горницу, перекрестился на образа трёхперстно, сел на стул к столу и, сипло дыша, спросил:

— Что делать думаешь, протопоп? Завтра твой последний день. Астраханские сыщики нашептали патриархам, что ты держишься раскола. Я тебя, Никифор, покрывал, сколько мог, и здесь на тебя доносили, и из Москвы запрашивали. Я всегда отписывался, что лучше пастыря мне на воеводстве не надо. Завтра патриархи решили посетить службу в церкви и запросили от меня пятнадцать стрельцов, помоложе и поздоровее. Может, одумаешься? Проведи обедню по-никониански, церковь сынам оставишь, а сам на покой.

Никифор весь окаменел от напряжения, на лбу выступили капли пота. Он сжал кулаки и выдохнул: «Нет!»

Всё случилось по словам воеводы. Едва протопоп двуперстно благословил паству, как перед ним выскочили двое в рогатых шапках, патриархи что-то заверещали, указывая на священнослужителя. На Никифора обрушились несколько стрельцов. Затем его волоком дотащили до воеводской избы и бросили в подвал. Патриархи протопопом не ограничились: остригли диакона подгорного монастыря, в Уренске остригли попа

по челобитной его дочери духовной. Но этих под караул не взяли.

Вечером воевода Дашков принёс в подвал тёплую одежду, бросил её на попа и просипел:

— Ещё неделю будешь здесь сидеть, потом в Москву на голой телеге покатишь. Ну, чего ты добился?

— Я устоял супротив антихриста!

Дашков вытаращил на него глаза, перекрестился, сплюнул в угол и вышел, загремев железом двери.

Из Синбирска патриархов снарядили по высшему разряду. Лучшие каретных дел мастера исполняли для священных особ: для патриархов — две кареты, для Трапезундского митрополита и архиепископа Синайской горы — два рыдвана больших, да переводчику старца милетского рыдванец небольшой. На обивку пошли материалы: «анбургское сукно, епанча серая и чёрная, 20 аршин зелёного шёлка».

Наконец, в середине октября 1666 года патриарший обоз двинулся на Москву. Многие вышли провожать его, но не заезжих патриархов, а своего протопопа, отца Никифора. Город был немногочислен, и в нём не было ни одного человека, с кем бы священник не сталкивался в жизни: одного крестил, другого венчал, третьего увещал.

На соборе синбирский протопоп Никифор был осуждён вместе с Аввакумом, Лазарем и Епифанием к ссылке в Пустозерск, место «тундряное, льдистое и безлюдное».

В Пустозерск прибыли 12 декабря 1667 года. «Меня и Никифора протопопа, — пишет Аввакум, — не казня, сослали в Пустозерск». Сам указ о ссылке подписан 26 августа 1667 года. На следующий день Лазаря и Епифания казнили на Болоте (Замоскворечье), урезав им языки.

В четвёртой челобитной царю Алексею протопоп Аввакум пишет: «Прости же, государе, уже рыдаю и сотерзаюся страхом, а недоумением содержим есмь; помышляю мои деяния и будущего судища ужас. Брат наш синбирский протопоп Никифор, сего светного света отоуди; посём та чаша и меня ждёт...»

Это случилось около 1668 года.

14 апреля 1682 года в Пустозерске были сожжены Аввакум, Епифаний, Лазарь и Фёдор.

— 4 —

Столкновение с патриархом Никоном не повредило служебному возвышению Хитрово и, возможно, даже помогло этому. Руководя Земским приказом, он время от времени привлекался к выполнению важных посольских и военных поручений. Когда обострились отношения с Польшей, Хитрово участвовал в военных действиях, а затем в переговорах об условиях перемирия. В 1653 году его назначили в состав «великого посольства» и направили в Варшаву вместе с князем Б.А. Репниным. С началом новых военных действий Хитрово стал товарищем полкового воеводы Я.К. Черкасского и принимал участие во взятии Минска, Ковно, Гродно. А в 1656 году государь доверил Хитрово один из самых важных постов — назначил руководителем Оружейной палаты, которая занималась вооружением русской армии. Богдану Матвеевичу были подчинены Ствольный приказ, Серебряная и Золотая палаты. Вскоре количество оружейников, которые тогда работали по своим домам, увеличилось в три раза, были произведены большие закупки пищалей и пистолетов у иностранных государств. Это позволило к 1680 году создать около тридцати солдатских, рейтарских и драгунских полков иноземного строя.

Своими первоначальными функциями хранилища и мастерской царского оружия палата ограничивалась очень недолго. В неё вслед за оружейниками и кузнецами со временем вошли чеканщики, златописцы, ювелиры, золотых и серебряных дел мастера, художники по церковной росписи и украшению книг, мастера басменного и финифтяного дела, знатные живописцы — от тех, кто занимался расписыванием знамён, стягов, «палаток», до иконописцев, наконец, строители — каменных дел мастера и плотники. Оружейная палата занималась вооружением русской армии, выполняли заказы для царской семьи, крупнейшие заказы городов и монастырей. Здесь была налажена система учёта мастеров по всему государству. Все они в своё время проходили при Оружейной палате испытания в мастерстве и в случае необходимости вызывались в Москву или другие города для выполнения ответственных работ по своей специальности.

По заказам Оружейной палаты в те годы трудились известные живописцы — С. Ушаков, И. Владимиров, С. Лопуцкий, оружейники К. Давыдов, братья Вяткины, серебряники Г. Евдокимов, Т. Греков, Ф. Фробос. Их произведения сохранились и являются гордостью наших музеев. В руководстве дворцовыми палатами проявилась многогранность личности Хитрово: он крупный администратор, способный координировать

деятельность оружейных заводов и тонкий ценитель редких художественных произведений, умеющий заметить дарование, создать условия для творчества.

Хитрово принадлежал к поколению властных людей, которые своей деятельностью готовили проведение реформ Петра I. Они были ещё не готовы разорвать связи с прошлым и безоглядно устремиться в будущее, и к ним вполне можно отнести слова историка В.О. Ключевского: «Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело: одной ногой он ещё крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занёс, было за её черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении»

Богдану Матвеевичу эти душевные метания государя были ведомы очень хорошо, с каждым годом его отношения с Алексеем Михайловичем становились всё ближе и задушевнее. Ломая сложившиеся местнические обычаи, царь назначает его ведать приказом Большого дворца, хотя прежде такого не бывало. Большим дворцом всегда заведовали представители первых боярских родов. В 1667 году Хитрово был пожалован в бояре и дворецким, а по сути, был включён в самый близкий круг лиц, посвящённых в семейные тайны государя. Его отношения с Алексеем Михайловичем приобретают характер дружбы, основанной на внутреннем духовном родстве. На заседаниях боярской думы Богдан Матвеевич сидит на первом месте после царя — по левую его руку. А при частых выездах Алексея Михайловича на богомолье занимает место в царской колымге. Возвысился, стал окольничим его брат Иван, которому было доверено воспитание наследника престола Фёдора Алексеевича.

При исключительной занятости служебными делами Хитрово не забывает и о собственных интересах. Милостью государя он стал владельцем семнадцати тысяч десятин земли и трёх тысяч крестьянских дворов в нескольких ближних к Москве уездах. Много внимания уделяет подмосковной усадьбе Братцево, строит там каменный господский дом и каменную церковь Покрова с приделом Алексея Божьего человека, тезоименного царю Алексею Михайловичу, «да в селе двор боярский и около двора задворных крепостных деловых людей русских и иноземцев 37 человек»

Царь Фёдор Алексеевич сохранил высокое положение Хитрово при дворе и пожаловал его так называемым «дворчеством с путём» и передал ему к прежним обязанностям ведение бывшего Монастырского приказа со всеми его несметными богатствами. При молодом царе Богдан Матвеевич занял первенствующее положение при дворе. Позже таких отмеченных фортуной людей стали называть временщиками, но кажется, Хитрово, имея необъятную власть, никогда не пользовался ей для личного обогащения и не вредил людям. Сохранились известия, что он был в общении доступен и прост и не отказывал в помощи нуждающимся людям. В одной из рукописей того времени Хитрово описывается как «знатный боярин Московского царства, который не затыкает ушей своих от просителей, который столь великодушно и искусно поддерживает славу царского венца благотворною рукою, что почти совершенно уничтожил господствующее здесь тиранство и на его развалинах основал храм Граций». Конечно, «храм Граций» Богдану Матвеевичу не удалось основать, да и вряд ли он ставил перед собой такую задачу, но он был во всех отношениях достойным государственным мужем, способствовавшим возвышению России.

Радость от постоянных успехов по службе и расточаемые ему царские милости не смогли смягчить для Богдана Матвеевича огорчения и разочарования в семейной жизни. Сыновей у него не было, из двух дочерей одна умерла в младенчестве, вторая вышла замуж за князя Троекурова и умерла при жизни родителей. В 1680 году не стало и самого Хитрово. Погребённый едва ли не с царскими почестями в московском Новодевичьем монастыре, он оставил наследницей своего громадного имущества жену Марию Ивановну. Любопытно, что Фёдор Алексеевич это завещание утвердил, хотя в нём было неодобряемое властью распоряжение освободить кабальных и пленных людей. Последовал царский указ: «Кабальных и пленных людей, которые за ним (Хитрово) жили в крестьянстве по судным и в родовых и в выслуженных им поместьях и в вотчинах, а которые крестьянские дети и во двор взяты из поместий и вотчины его, освободить на волю и впредь никому то за образец и на пример не ставить»

Всё наследство боярыни Хитрово после её смерти было взято в царскую казну и было впоследствии роздано другим служилым людям. Скоро стало забываться и имя Богдана Хитрово, которому не повезло быть особо отмеченным историческими писателями, но осталось, как оказалось, главное детище его жизни — град Синбирск — Симбирск — Ульяновск.